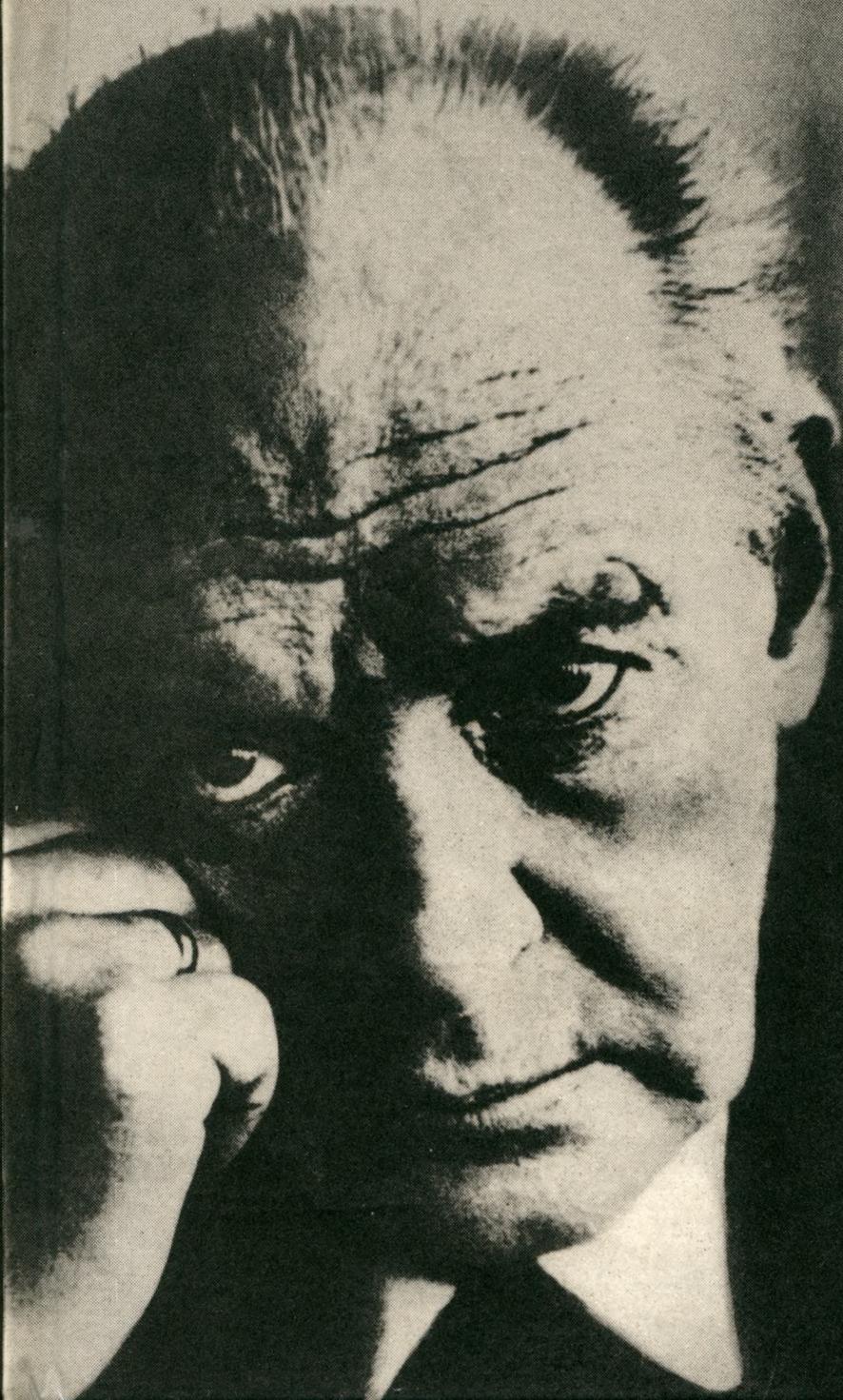


# Владимир Набоков



*А Муза и глохла и слеpla,  
В земле истлевала зерном,  
Чтоб после, как Феникс из пепла,  
В эфире восстать голубом.*

Анна Ахматова

**ФЕНИКС**

**Из поэтического наследия XX века**

**Серия выходит с 1989 года**

**Редакционная  
коллегия:**

**Дудин М. А.**

**Иванов Вяч. Вс.**

**Карелин А. П.**

**Скатов Н. Н.**

**Чухонцев О. Г.**

**Шайтанов И. О.**

**Владимир Набоков**

**СТИХОТВОРЕНИЯ  
И ПОЭМЫ**

**МОСКВА «СОВРЕМЕННОК»  
1991**

**ББК 84Р7  
Н14**

**Составление, вступительная статья,  
подготовка текстов и примечания  
В. С. Федорова**

**Н  $\frac{4702010000-107}{M106(03)-91}$  20-91**

**ISBN 5-270-00565-4**

**© В. С. Федоров, составление,  
вступительная статья, при-  
мечания, 1991**

## О ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРНОЙ СУДЬБЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Владимир Владимирович Набоков родился 23 апреля 1899 года (в один день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина — это любил подчеркивать сам Набоков, и еще одно упоминание об этом будет приятно набоковской тени и его почитателям) в семье известного юриста и общественного деятеля, одного из основателей партии народной свободы, чаще называвшейся кадетской.

До революции Набоков успел окончить Тенишевское училище, отличавшееся внесловной демократичностью (уже тогда Набокову это претило) и высоким уровнем преподавания (с этим он мирился). Среди преподавателей выделялся Владимир Васильевич Гиппиус, двоюродный брат Зинаиды Гиппиус и сам превосходный поэт, попавший дуплетом не только в набоковскую автобиографию «Другие берега», но и, еще ранее, «в не по чину барственной шубе», в мандельштамовский «Шум времени». Среди других преподавателей отметим Альберта Петровича Пинкевича, учителя геологии, оказавшегося большевиком<sup>1</sup> (здесь можно усмотреть намек на геологические последствия для России грядущего переворота) и так же эхом дошедшего к нам из хроники Мандельштама.

Еще в училище Набоков издал за свой счет первый сборник стихов, который В. Гиппиус не замедлил растерзать прямо на уроке («Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин»). Сборник был целиком посвящен первой любви Набокова («Тамара» в «Других берегах») и представлял собой, по его собственному признанию, «банальные любовные стихи». Позже воспоминание о ней отзовется в «Машеньке» — его первом романе, она еще десятки раз будет возникать в набоковских стихах и прозе, а свой завершенный и совершенный образ обретет лишь в «Других берегах».

После октябрьского переворота семья Набоковых оказывается в Крыму; одно время В. Д. Набоков был министром юстиции Крымского краевого правительства, а весной 1919 года на грузовом греческом судне, которое словно в из-

---

<sup>1</sup> Сообщено О. В. Волковым, учившимся в Тенишевском в одно время с Набоковым. (Здесь и далее примеч. сост.)

девку называлось «Надеждой», семья, в числе других беженцев, покидает Россию, как выяснилось позже, навсегда. Осознание потери всего, чем была для Набокова Россия, пришло в Кембридже, где он учился в 1919—1922 годах. Именно здесь он начинает разрабатывать золотые, — хотя сам Набоков вряд ли так думал, — копии ностальгии, которых ему хватило на всю жизнь.

Последующие пятнадцать лет (1922—1937) Набоков живет в Германии. В начале 20-х годов Берлин был литературной и интеллектуальной столицей эмиграции; русских было очень много, они занимали целые кварталы Берлина, и среди эмигрантов был популярен анекдот о немце, повесившемся на Курфюрстендамм от тоски по родине.

В 1922 году на одном из эмигрантских собраний в Берлине был убит В. Д. Набоков, заслонивший П. Милкова от пули монархиста. Смерть отца потрясла Набокова и поставила его в иные, во многом неясные для нас, отношения с потусторонним; вера в Бога впервые была поставлена под сомнение, которое в дальнейшем привело к нарочито прокламируемому атеизму.

В 1925 году он женился на Вере Слоним, которой посвятил все свои книги. Жена стала «вторым я» писателя, что, по мнению некоторых литературоведов-«логиков», удвоило свойственный Набокову и ранее эгоцентризм, а на деле это оказалось его самой большой жизненной и литературной удачей.

В 1934 году родился сын Дмитрий — лучший, после отца, переводчик русских книг Набокова на английский язык.

Берлинский период жизни Набокова — самый плодотворный в его литературной биографии. В это время написаны почти все его русские вещи — вежами, на русский взгляд, окажутся «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». В берлинской газете «Руль» — до самого ее закрытия в 1931 году — он печатает стихи, переводы, рассказы, рецензии, в парижском журнале «Современные записки» и газете «Последние новости» — романы, стихи и рассказы.

В 1937 году Набоков переехал в Париж, где жил и работал до отъезда в Америку в 1940 году.

Роман «Дар», оказавшийся и завершением, по словам Набокова, его «романа» с русским языком и литературой (позже, когда он перешел на английский, были мучительные попытки писателя этот «роман» возобновить), был напечатан в 1938 году в «Современных записках» без четвертой, с жизнеописанием Н. Г. Чернышевского, главы. Ненапечатанная глава оказалась неразорованной бомбой — она сработала лишь в 1952 году (издательство имени Чехова в Нью-Йорке), а

в 1988 году «Дар» был полностью опубликован и у нас.

Из эпизодов европейской жизни писателя обращают на себя внимание довольно ранние попытки агентов от литературы (вроде Тарасова-Родионова) уговорить Набокова возвратиться в советскую Россию, соблазняя прелестями новой жизни и положения инженера человеческих душ. Среди литературных барачков, построенных к тому времени в официальной советской литературе, книги Набокова стояли бы вызывающим особняком, и уже одно это предвещало его человеческую и литературную судьбу в новой России. Можно только порадоваться, что это приглашение на казнь не было принято.

Война в Европе и отъезд в Америку, накануне гитлеровской оккупации Парижа, ускорили превращение Набокова не скажем — в американского, но в англоязычного писателя и положили начало новому витку его писательской судьбы. Ее апогеем были публикация «Лолиты» и всемирная слава, избавившая Набокова к исходу шестого десятка лет от забот о внелитературном заработке (до тех пор он преподавал в университете).

Последние 17 лет жизни в Европе, с одной стороны, вернули Набокова к русским литературным интересам, никогда, впрочем, не пропадавшим совсем (4-томные перевод и комментарий к «Евгению Онегину», стихи, перевод «Лолиты» на русский язык), а с другой, дали читателю такие книги, которые можно условно отнести к американско-европейско-русской литературе, написанной на английском языке, — «Бледный огонь», «Ада», «Прозрачное», «Посмотри, арлекины!». Английские книги Набокова для нашего читателя — почти неподнятая целина. И наших критиков и литературоведов еще ждет изучение «воздушного моста», перекинутого Набоковым между русской, американской и европейской литературами, что обещает немало открытий.

Умер писатель в лозаннском госпитале 2 июля 1977 года.

По мнению Набокова, настоящее искусство отражает не жизнь, а наскоки жизни на искусство; то, чем занимается писатель, есть не описание «настоящей» жизни (это он оставляет блиц-публицистике), а лишь ее многочисленных моделей, которые своим правдоподобием могут сбить с толку доверчивого читателя. Теплое мерцание деталей и их согласный ход в повествовании завораживают (замораживают) взгляд читателя, в чистом поле зрения которого начинает прорастать созданная писателем дивная галлюцинация. Этот замороженный взгляд и создает иллюзию холодности самого автора, его внечеловеческих и даже бесчеловечных (по мнению иных кри-

тиков) интересов. Холодность, отчужденность Набокова — общее место, на которое «салятся» его критики. Осторожно: окрашено.

Писатель — не печка (эта реплика, брошенная в споре антиподом Набокова Маяковским, здесь вполне приемлема), и, вместо того чтобы греть читателя, Набоков нередко предпочитает его огреть (классический пример — «Лолита»). И все же: редкий читатель не обожжет душу о такой, скажем, «холодный» набоковский текст: «Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Сaney нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев».

Отношение к Набокову как к писателю холодного блеска, лишенному человеческого тепла, разделялось, за немногими исключениями (Айхенвальд, Ходасевич), всей эмигрантской критикой. И весьма влиятельный критик Георгий Адамович (Христофор Мортус в «Даре»), многие годы в своих статьях о Набокове переливавший «из густого в порожнее», когда писал: «Читаешь его и восхищаешься: как искусно, как блестяще! Но тут же и недоумеваешь, чуть ли не пожимаешь плечами: к чему этот блеск? что за ним? к чему — в особенности — это постоянное, назойливое стремление удивить?» — был похож на нищего, возмущенного тем, что ему дали золотой вместо медной полушки. Таких литературных нищих в эмиграции было, к сожалению, немало — история с четвертой главой «Дара» доказывает это. Можно было бы не возвращаться к этим оценкам полувекковой давности, если бы они не были в ходу и поныне.

Еще более живучи представления о Набокове исключительно как о писателе формы, ставящем вопросы «формального мастерства и изыска над содержательной стороной литературы». Тот же Адамович писал: «Его вдохновение не силится подняться над словом, а, наоборот, с упоением в нем утопает: он ворожит, бормочет, приговаривает, заговаривает и все дальше уходит от того, что можно было бы назвать поэтическим чудом, от двух-трех волшебного светящихся строк, к которым нечего прибавить, в которых нечего объяснять». Требование критика «подняться над словом» равносильно желанию увидеть известный трюк Мюнхгаузена, поднявшего себя

за волосы, и предполагает, конечно, внешнее отношение к слову, характерное, скажем, для злободневной литературы. А ворожба, бормотание, приговаривание, заговаривание — это и есть настоящее дело поэта, и чудо происходит не тогда, когда «возникают две-три волшебные светящиеся строчки», а когда «из песни слово — не выкидыш», и живые, теплые стихи признает своими, наряду с поэтом, и читатель-повитуха.

Чуждость, странность, холодность и пустота Набокова — все это было для эмигрантской критики настолько привычно и «свое», что появлялись и такие утверждения, которые и противникам Набокова покажутся сейчас нелепыми, например: «Предположить, что Набоков хотел бы потрудиться на «ниве русской словесности», можно было бы лишь с намерением заведомо юмористическим» (увы, все тот же Адамович; я цитирую его столь часто по двум причинам: во-первых, — авторитет, во-вторых, его оценки начинают находить сочувственный отклик в советской критике). Теперь, через полвека после тех критических баталий и через десять с лишним лет после смерти писателя, устанавливающаяся ретроспектива позволяет с удивлением обнаружить, что так называемый вопрос времени («время покажет», «время рассудит») оказался в случае с Набоковым и вопросом «пространства» в смысле полного несовпадения масштабов писателя и современной ему критики.

Отношение советской критики к Набокову во многом повторяет зады критики эмигрантской. А в эпоху сталинского «мерзозоя» Набоков для нас попросту не существовал.

Теперь, когда и самого Набокова стало «многовато» — опубликована уже почти вся его русская проза — можно ожидать появления и у нас серьезных критических работ, однако сделать это без освоения лучших зарубежных исследований Набокова невозможно. На Западе Набокову, большей частью его английским книгам, посвящены десятки книг и сотни статей. На русском языке в 1979 году в Париже вышла небольшая книга Зинаиды Шаховской «В поисках Набокова». К сожалению, книга, на мой взгляд, испорчена стремлением автора объяснить книги Набокова известными ей подробностями его жизни и, таким образом, «найти» Набокова, по ее словам, «игравшего при жизни и посмертно играющего с читателями в прятки». Найти Набокова можно только в написанных им книгах — все остальные поиски, по существу, обречены на неудачу при всем кажущемся правдоподобии деталей; даже если вы вдруг почувствуете «горячо» — это будет внушенный вам ожог от холодного утюга. Для внимательного читателя Набоков редкостно ясен, открыт и «прост, как Пруст».

Вышедшая в 1987 году книга Эндрю Филда «Жизнь и искусство Владимира Набокова» привлекает внимание тем, что автор, один из первых серьезных и добросовестных исследователей русского Набокова, на этот раз вслед за Шаховской решил «найти» его в различных обстоятельствах личной жизни, особо подчеркивая, что личные бумаги Набокова, по завещанию, будут опубликованы лишь через пятьдесят лет после смерти его жены и сына. Полагая, что писателю было что скрывать, и используя различные свидетельства и документы (большой частью отвергавшиеся писателем и его семьей), он обещает читателю раскрыть «тайную» жизнь Набокова. «Тайна» эта, по Филду, состоит в том, что Набоков был Нарциссом и поэтому, в частности, он так яростно отвергал Фрейда. Жаль, что богатый материал книги использован на небогатую идею. Вероятно, сиротская доля истины в изысканиях Филда есть. Следует, однако, помнить, что к а ж д ы й писатель — Нарцисс, это есть условие его существования как художника («себе, любимому, посвящает эти строки автор»), без этого его занятия лишены личного смысла и психологического оправдания. Но, вероятно, этого недостаточно, чтобы понять художника. Нарцисс, Тантал («ни съесть, ни выпить, ни поцеловать») и Сизиф (тютчевский камень, как о том догадался Мандельштам,— это слово, «низринутое мыслящей рукой») — вот та мифологическая троица, которая с достаточной полнотой описывает судьбу поэта.

Набоков вошел в русскую литературу на излете серебряного века. Его ранние стихи напоминают начальные репетиции оркестра, когда еще даже не определены его возможности. Многие критики отмечали его строгую классическую школу (даже называя его «поэтическим старовером») и необыкновенную переимчивость, то есть писание «под». Набоков начал писать, примеряя разные поэтические одежды, «и все привередничал».

После Кембриджа он окунается в литературную жизнь эмиграции, бурлившую в то время в Берлине. Основным местом, где он тогда печатался под псевдонимом «Владимир Синрин», становится газета «Руль», основанная его отцом вместе с И. Гессеном и А. Каминкой в 1920 году. В первом же номере, содержавшем литературно-художественные материалы, наряду с «Третьими петухами» И. Бунина было опубликовано стихотворение «Лес» (вошедшее затем в сборник «Горный путь»). Одновременно он печатался в «Сполохах», «Жар-Птице», «Веретене», «Гранях», рижской газете «Сегодня» и других изданиях. Одно время он пишет в соавторстве с И. С. Лукашом (1892—1940), литератором, известным своими повестями из истории России,— вместе они написали ряд стихотворных текстов к музыкально-литературным постановкам («Агасфер»,

«Китайский веер», «Кавалер лунного света»); некоторые из них имели большой успех и у немецкой публики.

Интересно, что в это время у Набокова сильно выражена так называемая общественная жилка. Он активно участвовал в различных литературных собраниях, чтениях и, обладая определенным актерским даром, принимал участие в полулюбительских спектаклях, вечерах и даже литературных «судах» — например, над героем толстовской «Крейцеровой сонаты», где он так убедительно сыграл роль Позднышева, что заставил значительную часть аудитории оправдать своего героя. На одном из вечеров Набоков появляется загримированным под известного режиссера Н. Н. Евреинова, и даже в 1930 году (уже после «Защиты Лужина») в отчете о литературном вечере «Веселыми ногами» можно было прочитать: «Неумолчным смехом сопровождалась сцена бокса между В. Сириным и Г. Гессеном» (сыном редактора «Руля», одним из ближайших друзей Набокова).

Особо надо сказать об одном эпизоде эмигрантской жизни Набокова, который эхом откликнется в его американском периоде творчества. В 1925 году Набоков деятельно участвует в юбилее Н. В. Плевичкой, известной исполнительницы русских народных песен, талант которой он очень ценил. В отчете о вечере «Руль» писал: «...мы чествовали в Н. В. некий высокий символ. Имя ему — Россия... То была демонстрация национального единства, демонстрация чувства родины, которой лишены все — и мы на чужбине, и те, кто остались в России... В заключение В. Сирин прочел свое стихотворение, посвященное Н. В. Плевичкой». К сожалению, стихотворение пока не найдено; известно, что оно было напечатано в берлинском еженедельнике «Эхо» (1925, № 1(75)). Через десять с лишним лет этот эпизод имел неожиданное продолжение — в 1938 году Плевичкая была осуждена французским судом на 20 лет каторжной тюрьмы как соучастница похищения генерала Е. Миллера, руководителя Российского общевойскового Союза, объединявшего белых офицеров — участников гражданской войны в России. Похищение было организовано заместителем Миллера генералом Скоблиным, мужем Плевичкой, который также исчез после того, как у него потребовали объяснения случившегося. И муж, и жена оказались агентами ГПУ (недавно это подтвердилось публикациями и нашей прессой).

Это дело, как и похищение предшественника Миллера генерала Кутепова в Париже в 1930 году (оно тоже было делом рук ГПУ), обрело размеры громкого скандала и потрясло русскую эмиграцию. В 1943 году, уже в Америке, Набоков написал на английском языке рассказ «Помощник режиссера», в котором довольно подробно изложил свою версию

обстоятельств похищения и «рассчитался» с Плевицкой, изображенной в рассказе под именем Славской. Можно с уверенностью сказать, что «дело Плевицкой» способствовало дальнейшему отчуждению Набокова от эмиграции, в которой он и так уже довольно долго чувствовал себя белой вороной.

Просматривая газеты и журналы эмиграции первых после-революционных лет, сразу отмечаешь весьма малую степень «политизированности» эмигрантской художественной литературы, причем совершенно очевидна обратная зависимость между масштабом таланта и злободневностью темы.

В эти годы Набоков почти еженедельно публикует стихи в «Руле» и других изданиях. Как правило, он пишет стихи и по случаю — к определенным литературным собраниям и датам (стихи о России, Пушкине, Толстом, Некрасове и другие). В своих ранних стихах он как бы осуществляет поэтическую «инвентаризацию» мира, жадно черпая из него всей «пятерней чувств».

В 1923 году выходят сразу два сборника его стихов — «Горный путь» и «Гроздь». В статье «Памяти А. М. Черного» («Последние новости», 13 августа 1932 года) Набоков писал: «Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем, я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно». Саша Черный оказался вторым (после М. Волошина, который, по словам Набокова, в Крыму научил его писать стихи) — и последним литературным наставником молодого поэта. В той же статье Набоков отмечал: «Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший род помощи — я и получил от А. М.... Я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в «Жар-Птице», «Гранях», еще где-то». Много интересного, связанного с ранним Набоковым, читатель найдет в «Даре», однако следует помнить, что автор и его герой всегда, по выражению Набокова, «ззорны» (в смысле зазора между ними).

У раннего Набокова своей интонации в стихах нет — это отмечали многие, подробнее и аргументированнее других Глеб Струве. Среди образцов для подражания можно найти поэтов от Державина и Пушкина, которого Набоков боготворил, до

Пастернака и Цветаевой; позже эта редкая переимчивость будет сознательно использоваться Набоковым, часто в пародийных целях,— так, например, в стихотворении «О правителях» он окажется не прочь даже спародировать Маяковского. Некоторые его строчки — например, в «Университетской поэме»: «Там мяса розовые глыбы, сырая вонь блестящей рыбы, ножи, кастрюли...» — звучат, как «воспоминание о будущем» — так отчетлива здесь интонация Н. Заболоцкого периода «Столбцов», которые в то время еще не были напечатаны.

В ранних стихах Набокова бросается в глаза явное злоупотребление восклицательными знаками и многоточиями — это придает стихам экзальтированность, рыхлость и ложную многозначительность, — а также неумеренное использование того, что сам Набоков позже называл «откидным оборотом»: «О, как стремительно и бойко...», «О, сколько прелести родной...» и т. д. В издании 1979 года снято большинство восклицательных знаков и отточий — и как мало оказалось нужным для того, чтобы стихи преобразились, приобрели упругость и благородную сдержанность интонации. Конечно, неудачных стихов у Набокова не меньше, чем, например, у Блока или Гумилева, однако уже в самых ранних можно найти то, что позже всегда пребудет с ним — необычайная зоркость взгляда, непривычность ракурса, внимание к деталям, впервые замеченным и услышанным. Еще в 1926 году известный критик Ю. И. Айхенвальд (его авторитет подтверждают гордые слова А. Грина: «Обо мне Айхенвальд писал») в рецензии на «Машеньку» — а мы целиком отнесем это и к лучшим стихам — отмечал: «Да, он зорко видит, он чутко слышит, и каждый кусок времени и пространства для него, приметливого, гораздо содержательнее и интереснее, чем для нас. Микроскопия доступна ему, россыпь деталей, роскошь подробностей; он жизнью, и смыслом, и психологией наполняет мелочи, одухотворяет вещи; он тонко подмечает краски и оттенки, запахи и звуки, и все приобретает под его взглядом и от его слова неожиданную значительность и важность». (Читая это, Набоков, вероятно, чувствовал то же самое, что и герой «Дара», читавший рецензию Кончеева, когда «вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть».) Эта оценка не разделялась, как мы видели выше, большинством эмигрантской критики; так, В. Вейдле писал уже в 1930 году: «Хороших стихов у Сирина и вовсе нет», считая их, вероятно, «не совсем законной забавой человека, обреченного писать прозой», как определил сам Набоков отношение эмигрантской критики к стихам И. Бунина.

В 1930-е годы Набоков пишет значительно меньше стихов,

но они получают уже иное качество — в них совершенно отсутствует сентиментальность, свойственная некоторым ранним его стихам, они обретают кристальную чистоту и ясность. Однако той пропасти, которая, по мнению Г. Струве, отделяет поздние стихи Набокова от ранних, мы не видим; вернее, она есть, эта пропасть, но преодолевается поэтом совершенно естественным и удивительным для нас образом. Когда Набоков пишет:

*Мы с тобою так верили в связь бытия,  
но теперь оглянулся я — и удивительно,  
до чего ты мне кажешься, юность моя,  
по цветам не моей, по чертам недействительной! —*

мы понимаем, что это — взгляд любезной его сердцу бабочки (Набоков был известным ученым-энтомологом), оглянувшейся на оставшуюся после куколки шкурку. Образ, «имидж» Набокова-поэта, складывающийся в сознании читателя, совпадает с «имаго» — взрослой стадией в метаморфозе бабочки. В эту книгу мы включили все стадии поэтических превращений Набокова, и присутствие даже слабых стихов оправдано стремлением показать эти стадии.

Не удержавшись от энтомологических сравнений, отметим еще одно поразительное сходство творческого поведения Набокова с поведением бабочки — его постоянное кружение над избранным образом, мыслью, метафорой, которые переходят из одной книги в другую, создавая в контексте всего набоковского творчества удивительные миражи; в поведении бабочки мы имеем в виду ее дневной жизненный цикл, который подчинен, оказывается, определенной точке пространства — вокруг нее бабочка и совершает свои концентрически расширяющиеся полеты. Похоже, что Набоков, подобно древнему китайцу, увидел себя во сне бабочкой, а проснувшись, не мог решить (и так и не решил), кто он — человек, которому приснилась бабочка, или бабочка, которой снится, что она человек? И острый, цепкий взгляд Набокова идет, конечно, от его пожизненных занятий чешуекрылыми, так же как его редкий композиционный дар подкреплен и развит его другим коньком — шахматным.

В 1931 году во вновь организованном парижском журнале «Числа» была опубликована статья Георгия Иванова, в которой Набоков был определен как «тип способного, хлесткого пошляка-журналиста, «владеющего пером» и на страх и удивление обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть

от плоти, «закручивающего» сюжет с «женщиной», выворачивает тему «как перчатку», сыплет дешевыми афоризмами и бесконечно доволен» (только большим раздражением Г. Иванова можно объяснить и эту фразу, и всю статью в целом). И это не худшая брань из всего написанного в статье. Это выступление, вызванное отрицательной рецензией Набокова на роман «Изольда» И. Одоевцевой, жены Г. Иванова, сыграло, надо думать, немаловажную роль в начавшемся внутреннем отчуждении писателя от эмиграции, а с другой стороны, «подрезало» и без того уже ослабевшую «общественную жилку». Кстати, его последним общественным выступлением перед отъездом в Америку стало подписание протеста — вместе с И. Буниним, Н. Бердяевым, С. Рахманиновым и другими — против вторжения советских войск в Финляндию в 1939 году.

Вот как сам Набоков говорил о своих стихах в предисловии к сборнику «Poems and Problems»: «То, что можно несколько выспренно назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз: первоначальная, банальные любовные стихи...; период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии — интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, художочной «парижской школы» эмигрантской поэзии); и, наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий, внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля». Наверное, следует с осторожностью отнести к его словам о «ретроспективно-ностальгическом кураторстве» и интересе к религии, ограничивавшемся литературной стилизацией,— его ранние стихи говорят о глубине и искренности этих чувств и интереса.

Литература — это, перефразируя Набокова, овчинка, которая стоит выделки, и позднее высокомерие Набокова — объяснявшееся высокой мерой, предъявляемой искусству,— заставляло его предпочесть «выделку» вещи доброму к себе отношению социально озабоченных критиков. Его мысль о том, что писатель — это человек, волнующийся по пустякам, верна именно потому, что в литературе мелочи играют роли Гулливера. Поразительно ясный и чистый язык делает незаметной его глупину, создает у читателя иллюзию, что стоит протянуть руку —

и ты достанешь таинственно мерцающие и переливающиеся камешки на дне горного потока; этим объясняются попытки многих критиков преодолеть Набокова «вброд». С другой стороны, бесполезно искать скрытый смысл в его книгах, он не изготовлял литературных чемоданов с двойным дном, в нем все на виду, но найти это «все» не так просто — как в упоминаемой им детской картинке «Найдите, что спрятал матрос».

Высказываясь о ком-нибудь с похвалой — о Бунине, Ходасевиче, немногих других,— Набоков часто говорит о них то, что можно сказать о нем самом или что он, возможно, хотел бы услышать о себе. Когда он пишет: «Свобода Ходасевича в выборе тем не знает границ. Временами кажется, что он шалит, играет, холодно наслаждается своим даром воспевать невоспеваемое»,— Ходасевич становится той указкой, которая помогает нам найти самого Набокова. Если до появления Гоголя и Пушкина, по мнению Набокова, русская литература была подслеповатой — и соответственно таким же был и читатель, то сам он пошел еще дальше в преобразовании художественного зрения, заставляя читателя видеть то, что «нормальным» взглядом увидеть трудно, — для этого нужны оптические снаряды от лупы часовщика до телескопа, помогающего забираться «в серую от звезд даль». Используя его же определение-бумеранг, данное гоголевскому читателю, скажем, что набоковский читатель — «читатель творческий, одаренный особым, читательским вдохновением». Главное, что делает Набоков с читателем — он «ставит» ему слух и зрение, делает его более зорким и чутким, позволяя видеть и слышать мир так, как видит и слышит он своими огромными глазами стрекозы или бабочки, в новых цветовых и словесных диапазонах, сохраняя, однако, способность различать мельчайшие детали, сводя читателя «к одному исполинскому оку». В то же время он дает нам понять, что «слово — не воробей, а жар-птица, которую писатель стремится поймать, чтобы она, в свою очередь, пленила читателя». Убедиться в этом нетрудно — обратимся к стихам.

Валентин Федоров

## ГОРНИЙ ПУТЬ

### Памяти моего отца

*...Погиб и кормщик и пловец!  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнце под скалою.*

Пушкин

## ПОЭТУ

Болота вязкие бессмыслицы певучей  
покинь, поэт, покинь и в новый день проснись!  
Напев начни иной — прозрачный и могучий;  
словами четкими передавать учись  
оттенки смутные минутных впечатлений,  
и пусть останутся намеки, полутени  
в самих созвучиях, и помни — только в них,  
чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих  
был по гармонии таинственно-тревожный,  
туманно-трепетный; но рифмою трехсложной,  
размером ломаным не злоупотребляй.  
Отчетливость нужна и чистота и сила.  
Несносен звон пустой, неясность утомила:  
я слышу новый звук, я вижу новый край...

2 сентября 1918

\* \* \*

Живи. Не жалуйся, не числи  
ни лет минувших, ни планет,  
и стройные сольются мысли  
в ответ единый: смерти нет.

Будь милосерден. Царств не требуй.  
Всем благодарно дорожи.  
Молись — безоблачному небу  
и василькам в волнистой ржи.

Не презирая грез бывалых,  
старайся лучшие создать.  
У птиц, у трепетных и малых,  
учись, учись благословлять!

14 февраля 1919

\* \* \*

Звени, мой верный стих, витай, воспомянь!  
Не правда ль, все — как встарь, и дом — все так же тих —  
стоит меж старых лип? Не правда ли, страданье,  
сомненье — сон пустой? Звени, мой верный стих...  
Пусть будет снова май, пусть небо вновь синеет.  
Раскрыты окна в сад. На кресло, на паркет  
широкой полосой янтарный льется свет,  
и дивной свежестью весенний воздух веет.  
Но чу! Вдыхает парк... Там — радость без конца,  
там вольные мечты сулят мне рай зеленый.  
Туда, скорей туда! Встречаю у крыльца  
старушку мирную с корзинкою плетеной.  
Меня приветствуя, лохматый черный пес  
визжит, и прыгает, и хлопает ушами...  
Вперед! Широкий парк душистыми листьями  
шумит пленительно. Виляют меж берез  
тропинки мшистые; дубовая аллея  
пересекает их и, влажно зеленея,  
стрелой уходит вдаль; средь трепетных ветвей,  
склоненных до земли, вся белая, сияет  
скамейка. Ярких мух беспечный рой играет  
над спинкой вырезной, и решето лучей  
желтеет на песке. Последняя тропинка  
окаймлена волной сиреневых кустов.  
Я выхожу на луг. Здесь тени облаков  
бегут по мураве. Здесь каждая былинка  
живет по-своему; таинственно звенит  
в прозрачном воздухе жужжанье насекомых.  
Вперед! Сквозь белизну молочную черемух  
зеленая река застенчиво блестит,  
кой-где подернута парчою тонкой тины...  
Спешу к тебе, спешу, знакомая река!  
Неровный ветерок несет издалека  
крик сельских петухов и мерный шум плотины.  
Напротив берега я вижу мягкий скат,  
на бархатной траве разбросанные бревна,  
а дале — частокол, рябин цветущих ряд,  
в лучах, над избами, горящий крест церковный  
и небо ясное... Как хорошо! Но вот

мой слух певучий скрип уключин различает.  
Вот лодка дачная лениво проплывает,  
и в лодке девушка одной рукой гребет...  
Склоненного плеча прелестно очертанье;  
она, рассеянно, речные рвет цветы.  
Ах, это снова ты, все ты и все не ты!

Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье...

31 января 1918

\* \* \*

Когда с небес на этот берег дикий  
роняет ночь свой траурный платок,  
полушутя, дает мне Сон безликий  
небытия таинственный урок.

Я крепко сплю, не чая пробужденья;  
но день встает, и в лучезарный миг  
я узнаю, что б ы л и сновиденья  
и что конца еще я не постиг.

28 февраля 1918

## ЭЛЕГИЯ

Я помню влажный лес, волшебные дороги,  
узорные лучи на дышащей траве...  
Как были хороши весенние тревоги!  
Как мчались облака по вольной синеве!  
Сквозная стрекоза, мой жадный взор чаруя,  
легко покоилась на освещенном пне.  
Со струнами души созвучья согласуя,  
чудесно иволга сочувствовала мне:  
я чутко различал в зеленой вышине —  
то плач прерывистый, то переливы смеха.  
Березы, вкрадчиво шумящие вокруг,  
учили сочетать со звуком точный звук,  
и рифмы гулкие выдумывало эхо,  
когда, средь тишины темнеющего дня,  
бродя по прихоти тропы уединенной,  
своими кликами даль мирную дразня,  
я вызывал его из рощи отдаленной.

18 января 1918

## ДВА КОРАБЛЯ

У мирной пристани, блестя на солнце юга,  
с дремотной влагой в лад снастями шевеля,  
задумчивы, стояли друг близ друга  
два стройных корабля.

Но пробил час. Они пустились в море,  
и молчаливо разошлись они.  
Стонали ветры на просторе;  
текли за днями дни.

Знакомы стали им коварные течения,  
знакома — верная, сияющая ночь;  
а берега вдали вставали, как виденья,  
и отходили прочь...

Порой казалось им: надежда бесполезна.  
Катился бури гром, и быстрой чередой  
сменялась черная зияющая бездна  
всплывающей волной.

А иногда с тревогою угрюмой  
они оглядывались вдруг,  
и каждый полон был одной и той же думой:  
«Где ты, мой бедный друг?»

Да, много было бурь, да, много снов печальных,  
обманнных маяков и скрытых скал,  
но ангел вещей, ангел странствий дальних,  
их строго охранял.

И срок иной настал... Угомонились бури;  
а корабли куда-то вновь спешат,  
и с двух сторон выходят из лазури,  
и вот — плывут назад!

Они сошлись и снова рядом встали,  
о шири шелестя изведанных морей,  
а волны слушали, но нет, — не узнавали  
тех старых кораблей...

26 марта 1918

\* \* \*

Цветет миндаль на перекрестке,  
мерцает дымка над горой,  
бегут серебряные блески  
по глади моря голубой.

Щебечут птицы вдохновенней,  
вечнозеленый ярче лист.  
Блажен, кто в этот день весенний  
воскликнет искренно: «Я чист!»

24 марта 1918

\* \* \*

О ночь, я твой! Все злое позабыто,  
и жизнь ясна, и непонятна смерть.  
Отражена в душе моей раскрытой  
блистательная твердь...

И мнится мне, что по небу ночному  
плыву я вдаль на призрачном челне,  
и нет конца сиянью голубому;  
я — в нем, оно — во мне.

Плыву, плыву. Проходят звезды мимо;  
к одной, к другой причаливает челн  
и вновь летит под шум неуловимый  
алмазно-чистых волн.

Я твой, о ночь! В душе — твое сиянье;  
все грешное осталось на земле,  
и ангелов я чувствую дыханье  
на поднятом челе!

18 апреля 1918

\* \* \*

Ты войдешь и молча сядешь  
близ меня, в вечерний час,  
и рассеянно пригладишь  
на груди атлас.

Тихо книгу я закрою,  
тихо подниму глаза,  
пронесется надо мною  
прежняя гроза.

Ты устало усмехнешься,  
я коснусь твоей руки,  
побледнеешь, отвернешься,  
полная тоски.

«Жизнь моя,— скажу я властно,—  
не сердись — ты не права!»  
Но пойму я, что напрасны  
старые слова.

Ты ногтем забарабанишь:  
поздно, поздно уж теперь!  
Оглядишься, быстро встанешь...  
Скрипнет, стукнет дверь...

Отодвину занавески,  
головой прижмусь к стеклу:  
ты мелькнешь в закатном блеске  
и уйдешь во мглу.

23 мая 1918

\* \* \*

Вот дачный сад, где счастливы мы были:  
стеклянный шар, жасмин и частокол.  
Как некогда, каймою рдяной пыли  
верхи берез день тающий обвел.

Все тот же вьется мотылек капустный  
(он опоздал — беспечный — на ночлег).  
Сегодня мне как будто и не грустно,  
что кануло все прежнее навек.

Уж светляки зеленые лампадки  
зажгли в траве, и нежно — как тогда —  
мне шлет привет свой девственный и сладкий  
алмаз вечерний — первая звезда.

24 мая 1918

## БЕРЕЗА В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ

Среди цветущих, огненных деревьев  
грустит береза на лугу,  
как дева пленная в блистательном кругу  
иноплеменных дев.

И только я дружу с березкой одинокой,  
тоскую с ней весеннею порой:  
она мне кажется сестрой  
возлюбленной далекой.

27 апреля 1918

## ОРЕШНИК И БЕРЕЗА

Два дерева... одно — развесистый орешник —  
листвою изнеженной, как шелком, шелестит,  
роскошным сумраком любви и лени льстит...  
Остановись под ним, себялюбивый грешник!

Ляг, позови подруг, беспечных, как и ты.  
Не слушай совести, не прекословь мгновенью,  
пей темное вино, пой песни упоенью —  
да будут в лад шуметь широкие листы.

Но если, путник, ты — душою чист и светел  
и если долго ты дорогою крутой  
неутомимо шел и на пути не встретил  
ни друга верного, ни радости простой,

тогда не позабудь: есть дерево другое.  
Близ дерева греха березу ты найдешь...  
На озаренный дождь наряд ее похож,  
ее жемчужный ствол — что облачко прямое.

Садись в тень жидкую, но продолжай в мечтах  
свой путь, и шепотом невинным и тревожным  
расскажет каждый лист о милом невозможном,  
о дальней родине, о ветре, о лесах...

2 июля 1918

## ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Все реже, реже влажный звон;  
кой-где светлеет небосклон;  
отходят тучи грозовые,  
жемчужным краем бороздя  
просветы пышно-голубые,  
и падают лучи косые  
сквозь золотую сеть дождя.

4 июля 1918  
Олеиз

\* \* \*

Как пахнет липой и сиренью,  
как золотеет серп луны!  
Неторопливо, тень за тенью,  
подходят сумерки весны.  
Я возвращаюсь, молодею,  
мне прошлого не превозмочь!  
Вплывает в узкую аллею  
незабываемая ночь.  
И в полутьме — то завлекая,  
то отступая, веешь вновь  
ты — призрак северного мая,  
ты — отроческая любовь!  
И памятного сновиденью  
я предаюсь средь тишины...  
Как пахнет липой и сиренью,  
как золотеет серп луны!

27 декабря 1918

## ЛЕСТНИЦА

Ты — лестница в большом, туманном доме. Ты устало вьешься вверх среди мягкой темноты: огонь искусственный — и то ты редко видишь. Но знаю — ты живешь, ты любишь, ненавидишь, ты бережешь следы бесчисленных шагов: уродливых сапог и легких башмачков, калош воркующих и валенок бесшумных, подошв изношенных, но быстрых, неразумных, широких, добрых ног и узких, злых ступней... О да! Уверен я: в тиши сырых ночей, кряхтя и охая, ты робко оживаешь и вспомнить силишься и точно повторяешь всех слышанных шагов запечатленный звук: прыжки младенчества и палки деда стук, стремительную трель поспешности любовной, дрожь нисходящую отчаянья и ровный шаг равнодушья, шаг немощи скупой, мечтательности шаг, взволнованный, слепой, всегда теряющий две или три ступени, и поступь важную самодовольной лени, и торопливый бег вседневного труда... Не позабудешь ты, я знаю, никогда и звон моих шагов... Как, разве в самом деле они — веселые — там некогда звенели? А луч, по косяку избегающий впотьмах, а шелест шелковый, а поцелуй в дверях? Да, сердце верило, да, было небо синее... Над ручкой медною — другое имя ныне, и сам скитаюсь я в далекой стороне. Но ты, о лестница, в полночной тишине беседуешь с былым. Твои перила помнят, как я покинул блеск еще манящих комнат и как в последний раз я по тебе сходил, как с осторожностью преступника закрыл одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной таинственно ушел — свободный, безнадежный...

30 июля 1918

\* \* \*

Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь,  
как черный этот сад, и дальний плеск волны,  
и в небе облачном зеркальный блеск луны...  
Но — думается мне — ты счастлива не будешь.  
Быть может, я не прав. Я только ведь поэт,  
непостоянный друг печали мимолетной  
и краткой радости, мечтатель беззаботный,  
художник, любящий равно и мрак и свет.  
Но ясновиденье подобно вдохновенью:  
презреньем окрылен тревожный голос мой!  
Вот почему твой путь и ясный и прямой  
туманю наперед пророческою тенью.  
Предсказываю я: ты будешь мирно жить,  
как вдруг о пламенном в тебе тоска проснется,  
но, видишь ли, другой тех звезд и не коснется,  
которыми тебя могу я окружить!

10 августа 1918

## ОЗЕРО

Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда,  
ни мощные дубы, ни тонкая осока,  
хоть отражаются так ярко, так глубоко,  
не оставляют в нем следа.

Взгляни и в душу мне: как трепетно, как ясно  
в ней повторяются виденья бытия!  
Как в ней печаль темна, как радость в ней прекрасна...  
— и как спокоен я!

24 августа 1918

\* \* \*

О чем я думаю? О падающих звездах...  
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,  
алмазною стезей прорезывает воздух,  
и вот уж путь ее — потух...

Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.  
О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!  
Я чувствую — она лучисто раздробилась  
на глубине моей души.

26 августа 1918

\* \* \*

*(Евангелие Иакова Еврея,  
гл. 18)*

И видел я: стемнели неба своды,  
и облака прервали свой полет,  
и времени остановился ход...  
Все замерло. Реки умолкли воды.  
Седой туман сошел на берега,  
и, наклонив над влагою рога,  
козлы не пили. Стадо на откосах  
не двигалось. Пастух, поднявши посох,  
оцепенел с простертою рукой,  
взор устремляя ввысь, а над рекой,  
над рощей пальм, вершины опустивших,  
хоть воздух был бестрепетен и нем,  
повисли птицы на крылах застывших.  
Все замерло. Ждал чутко Вифлеем...

И вдруг в листве проснулся чудный ропот,  
и стая птиц звенящая взвилась,  
и прозвучал копыт веселый топот,  
и водных струй слышался мне шепот,  
и пастуха вдруг песня раздалась!  
А вдалеке, развея сумрак серый,  
как некий Крест, божественно-светла,  
звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,  
где в этот миг Мария родила.

30 августа 1918

## СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ

Sun of the sleepless  
(из Байрона)

Печальная звезда, бессонных солнце! Ты  
указываешь мрак, но этой темноты  
твой луч трепещущий, далекий, — не рассеет.  
С тобою я сравню воспоминаний свет,  
мерцанье прошлого — иных, счастливых лет —  
дрожащее во мгле; ведь, как и ты, не греет  
примеченный тоской бессильный огонек, —  
лучист, но холоден, отчетлив, но далек...

7 сентября 1918

## ЛУННАЯ НОЧЬ

Поляны окропил холодный свет луны.  
Чернеющая тень и пятна белизны  
застыли на песке. В небесное сиянье  
вершиной вырезной уходит кипарис.  
Немой и стройный сад похож на изваянье.  
Жемчужною дугой над розами повис  
фонтан, журчащий там, где сада все дороги  
соединяются. Его спокойный плеск  
напоминает мне размер сонета строгий;  
и ритма четкого исполнен лунный блеск.  
Он всюду — на траве, на розах, над фонтаном —  
бестрепетный, а там, в аллее, вдалеке,  
тень черная листвы дробится на песке,  
и платье девушки, стоящей под каштаном,  
белеет, как платок на шахматной доске...

18 сентября 1918

## БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Был грозен волн полночный рев...  
Семь девушек на взморье ждали  
невозвратившихся челнов  
и, руки заломив, рыдали.

Семь звездочек в суровой мгле  
над рыбаками четко встали  
и указали путь к земле...

23 сентября 1918

\* \* \*

Вдали от берега, в мерцании морском,  
я жадной глубиной был сладостно влеком.  
Я видел небосвод сквозь пену золотую,  
дрожащий серп луны, звезду одну, другую...  
Тускнел далекий свет, я медленно тонул.  
Манил из глубины какой-то чудный гул.  
В волшебном сумраке мой призрак отражался.  
В блестящий траур волн я тихо погружался.

10 октября 1918

## ПОЭТ

Среди обугленных развалин,  
среди унижительных могил —  
не безнадежен, не печален,  
но полон жизни, полон сил —

с моею музою незримой  
так беззаботно я брожу  
и с радостью неизъяснимой  
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу  
и сладостные слезы лью,  
и никого я не обижу,  
и никого не полюблю.

Иное счастье мне доступно,  
я предаюсь иной тоске,  
а все, что жалко иль преступно,  
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,  
там, сполохами окружен,  
мир сотрясается, и старый  
переступается закон.

Там опьяневшие народы  
ведет безумие само,—  
и вот на чучеле свободы  
бессменной пошлости клеймо.

Я в стороне. Молюсь, ликую,  
и ничего не надо мне,  
когда вселенную я чую  
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,  
то с ветром, с птицей уношусь  
и со святыми небесами  
мечтами чистыми делюсь.

23 октября 1918

## ЖУРАВЛИ

Шумела роща золотая,  
ей море вторило вдали,  
и всхлипывали, пролетая,  
кочующие журавли

и в небе томном исчезали,  
все тише, все нежней звеня.  
Мне два последних рассказали,  
что вспоминаешь ты меня...

24 октября 1918

\* \* \*

За полночь потушив огонь мой запоздалый,  
в притворном забытьи покоюсь я, бывало,  
и вот, преодолев ревнивый сумрак туч,  
подкрадывается неуловимый луч  
и разгорается и освещает странно  
картины на стене. Доносится неожиданно  
до слуха моего необъяснимый звук  
и повторяется отчетливей, и вдруг —  
все оживляется! Волшебное — возможно:  
халат мой с вешалки сползает осторожно  
и, протянув ко мне пустые рукава,  
перегибается, и чья-то голова  
глядит, лукавая, из мусорной корзины,  
под письменным столом, а по стене картины  
кружатся, вылетев из неподвижных рам,  
как попугайчики, и шкаф дубовый сам  
завистливо кряхтит, с волненьем наблюдая,  
как по полу бежит одна туфля ночная  
вдогонку за другой.

Но только двинусь я,—  
глядь,— все рассеялось, и комната моя  
мгновенно приняла свой вид обыкновенный.  
В окне дрожит луна невинно и смиренно,  
халат — на вешалке, повсюду тишина...  
Ах, знаю я тебя, обманщица луна!

\* \* \*

Разгорается высь,  
тает снег на горе.  
Пробудись, отзовись,  
говори о заре.  
Тает снег на горе  
пред пещерой моей,  
и вся даль в серебре  
осторожных лучей.  
Повторяй мне, душа,  
что сегодня весна,  
что земля хороша,  
что и смерть не страшна,  
что над первой травой  
дышит горный цветок,  
наряженный в живой  
мягко-белый пушок,  
что лепечут ручьи  
и сверкают кругом  
золотые струи,  
что во всех и во всем  
тихий Бог, тайный Бог  
неизменно живет,  
что весенний цветок,  
ветерок, небосвод,  
нежных тучек кайма,  
и скала, и поток,  
и, душа, ты сама —  
все одно, и все — Бог.

11 ноября 1918

\* \* \*

В хрустальный шар заключены мы были,  
и мимо звезд летели мы с тобой,  
стремительно, безмолвно мы скользили  
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели,  
нас вечности восторг соединил,  
по небесам, обнявшись, мы летели,  
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,  
остановил наш огненный порыв,  
и поцелуй прервал наш безначальный,  
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:  
лишь изредка вспомнится во сне  
и трепет наш, и трепет звездной пыли,  
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,  
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,  
могу узнать по этой пыли звездной,  
оставшейся на кончиках ресниц...

1918  
Крым

\* \* \*

*Лишь то, что писано  
с трудом — читать легко.*

Жуковский

Если вьется мой стих, и летит, и трепещет,  
как в лазури небес облака,  
если солнечный звук так стремительно плещет,  
если песня так зыбко-легка,

ты не думай, что не было острых усилий,  
что напевы мои, как во сне,  
незаметно возникли и вдаль поспешили,  
своевольные, чуждые мне.

Ты не знаешь, как медлил восход боязливый  
этих ясных созвучий — лучей...  
Долго-долго вникал я, бесплотно-пытливый,  
в откровенья дрожащих ночей.

Выбирал я виденья с любовью холодной,  
я следил и душой и умом,  
как у бабочки влажной, еще не свободной,  
расправлялось крыло за крылом.

Каждый звук был проверен и взвешен прилежно,  
каждый звук, как себя, сознаю,  
а меж тем назовут и пустой и небрежной  
быстролетную песню мою...

23 августа 1918

## ОСЕННЯЯ ПЛЯСКА

Кружитесь, падайте...

Мы — смуглые дриады —  
осенним шорохам и рады и не рады:  
лес обнажается, и фавны видят нас,  
и негде спрятаться от их янтарных глаз.

Шуршите, блеклые...

Вчера мы на поляне  
плясали в розовом предутреннем тумане,  
подбрасывали мы увядшие листья,  
и осыпались они так мягко с высоты,  
холодным золотом на плечи нам спадали...

Шуршите, блеклые...

Вчера нас увидали,  
и встрепенулись мы, и разбежались вмиг,  
за нами топот был, и чей-то звучный клик  
то рядом, то вдали — звенел и повторялся...

Шуршите, блеклые...

Край неба разгорался,  
и шумно мчались мы, то плача, то смеясь,  
и пестрые листья, за нами вслед кружась,  
летели, шелестя, по рощам и по скатам  
и дальше — по садам, по розам, нами смятым —  
до моря самого...

А мы — опять назад,  
в леса да на холмы — куда глаза глядят!

8 августа 1918

## БАШМАЧОК

Ты его потеряла в траве замирающей,  
в мягком сумраке пряных волн.  
Этот вечер был вздохов любви умоляющей  
и любви отвечающей полн.

Отклонившись с улыбкой от ласок непрощенных,  
от моих непонятных слов,  
ты метнулась, ты скрылась в тумане несокошенных  
голубых и мокрых лугов.

Я бежал за тобою сквозь дымку закатную,  
но догнать я скоро не мог...  
Ты вздыхала, раздвинув траву ароматную:  
«Потеряла я башмачок!»

Наклонились мы рядом. Твой локон взволнованный  
чуть коснулся щеки моей;  
ничего не нашли мы во мгле заколдованной  
шелестящих, скользких зыбей.

И, счастливый, безмолвный, до садика дачного  
я тебя донес на руках,  
и твой голос звенел чище неба прозрачного  
и на сонных таял цветах.

Как теперь далеко это счастье душистое!  
Одинокий, в чужой стране,  
вспоминаю я часто минувшее чистое,  
а недавно приснилось мне,

что, бродя по лугам несравненного севера,  
башмачок отыскал я твой —  
свежей ночью, в траве, средь туманного клевера,  
и в нем плакал эльф голубой...

20 ноября 1918

\* \* \*

Сторожевые кипарисы  
благоуханной веют мглой,  
и озарен Ай-Петри лысый  
магометанскою луной.  
И чья-то тень из-за ограды  
упорно смотрит на меня,  
и обезумели цикады,  
в листве невидимо звеня.  
И непонятных, пряных песен  
грудь упоительно полна,  
и полусумрак так чудесен,  
и так загадочна луна!  
А там — глаза Шехерезады  
в мой звездный и звенящий сад  
из-за белеющей ограды,  
продолговатые, глядят.

25 ноября 1918.

\* \* \*

Ты многого, слишком ты многого хочешь!  
Тоскливо и жадно любя,  
напрасно ты грезам победу пророчишь,  
когда он глядит на тебя.

Поверь мне: он женщину любит не боле,  
чем любят поэты весну...  
Он молит, он манит, а сердце — на воле  
и ценит лишь волю одну!

И зори, и звезды, и радуги мая —  
соперницы будут твои,  
и в ночь упоенья, тебя обнимая,  
он вспомнит о первой любви.

Пусть эта любовь мимолетно-случайно  
коснулась и канула... Пусть!  
В глазах у него замечается тайна,  
тебе непонятная грусть...

Тогда ты почувствуешь холод разлуки.  
Что ж делать! Целуй и молчи,  
сияй безмятежно, и в райские звуки  
твои превратит он лучи!

Но ты... ты ведь любишь властительно-душно,  
потребуешь жертв от него,  
а он лишь вздохнет, отойдет равнодушно —  
и больше не даст — ничего...

26 ноября 1918



Фейна дочь утонула в росинке,  
ночью, играя с влюбленным жучком.  
Поздно спасли... На сквозной паутинке  
тихо лежит. Голубым лепестком  
божьи коровки ей ноги покрыли,  
пять светляков засияли кругом,  
ладаном синим ей звезды кадили,  
плакала мать, заслонившись крылом.  
А на заре пробудилась поляна:  
бабочка скорбную весть разнесла...  
Что ей — до смерти? Бела и румяна,  
пляшет в луче и совсем весела.  
Все оживляются... «Верьте не верьте,—  
шепчут друзьям два нескромных цветка,—  
фейна дочь на мгновенье до смерти  
здесь, при луне, целовала жучка!»  
Мимо идет муравей деловитый.  
Мошки не поняли, думают — бал.  
Глупый кузнечик, под лютиком скрытый,  
звонко твердит: так и знал, так и знал...  
Каждый спешит, кто — беспечно, кто мрачно.  
Два паука, всех пугая, бегут.  
Фейна дочь холодна и прозрачна,  
и на челе чуть горит изумруд.  
Как хороша! Этот тоненький локон,  
плечики эти — кто б мог описать?  
Чуткий червяк, уж закутанный в кокон,  
просто не вытерпел, вылез опять.  
Смотрят, толкаются... Бледная фея  
плачет, склонившись на венчик цветка.  
День разгорается, ясно алея...  
Вдруг спохватились: «Не видно жучка!»  
Фейна дочь утонула в росинке,  
и на заре, незаметен и тих,  
красному блику на мокрой былинке  
молится маленький черный жених...

1 декабря 1918

\* \* \*

Ты на небе облачко нежное,  
ты пена прозрачная на море,  
ты тень от мимозы на мраморе,  
ты эхо души неизбежное...  
И песня звенит безначальная.  
Зову ли тебя — откликаешься,  
ищу ли — молчишь и скрываешься,  
найду ли? Не знаю, о Дальняя.

Ты сон навеваешь таинственный.  
Взволнован я ночью туманною,  
живу я мечтой несказанною,  
дышу я любовью единственной.  
И счастье мне грезится дальнее,  
и снится мне встреча блаженная,  
и песня звенит вдохновенная,  
свиваясь в кольцо обручальное.

10 ноября 1918  
Крым

## НА КАЧЕЛЯХ

В листву узорчатую зыбко  
плеснула тонкая доска,  
лазури брызнула улыбка,  
и заблестали небеса.

И на мгновенье, над ветвями,  
я замер в пламени весны,  
держась простертыми руками  
за две звенящие струны.

Но ослепительно метнулась  
ликующая синева,  
доска стремительно качнулась,  
и снизу хлынула листва.

И лиловеющая зелень  
вновь заслонила небосвод,  
и очарованно-бесцелен  
дугообразный стал полет.

Так реял я, то опускаясь,  
мелькая тенью по листьям,  
то на мгновенье приближаясь  
к недостижимым облакам.

15 декабря 1918

## НОВЫЙ ГОД

«Скорей,— мы говорим,— скорей!»  
И звонко в тишине холодной  
захлопнулись поочередно  
двенадцать маленьких дверей...  
И удалившихся не жаль нам:  
да позабудутся они!  
Прошли те медленные дни  
в однообразии печальном.  
А те, другие, что вошли  
в полуоткрывшиеся двери,  
те не печали, не потери,  
а только радость принесли.  
Но светлые дары до срока  
они, туманные, таят,  
столпились и во мгле стоят,  
нам улыбаясь издалёка...

1 января 1919

Как ты, я с отроческих дней  
влюблен в веселую опасность...  
Друг милый, родственную ясность  
я узнаю в душе твоей.

Мы беззаботно сердцем юны...  
(Пусть муза хмурится моя!)  
На хрупкой арфе бытия  
перебираем те же струны

и в соловьином забытии  
поем, беспечно принимая  
от неба жизненного мая  
грозу и радугу любви.

Нам до грядущего нет дела,  
и прошлое не мучит нас.  
Дверь черную в последний час  
мы распахнем легко и смело.

Я верю сказкам вековым  
и откровеньям простодушным:  
мы встретимся в краю воздушном  
и шуткой звезды рассмешим.

Январь 1919

## УТРО

Как светозарно день взошел!  
Ну, не улыбка ли Господня?  
Вот лапки согнутые поднял  
нежно-зеленый богомол.

Ведь небеса и для него...  
Гляжу я, кроткий и счастливый...  
Над нами — солнечное диво,  
одно и то же Божество!

1 февраля 1919

\* \* \*

На ярком облаке покоясь,  
ты проплываешь надо мной.  
Под липами, в траве сырой  
я отыскал твой узкий пояс.  
Он ослепляет серебром...  
Я удаляюсь... В песне четкой  
я расскажу дриаде кроткой  
об одиночестве моем...  
Под липами — ручей певучий,  
темнеют быстрые струи...  
Подкидывают соловьи  
цветные шарики созвучий...  
Вот и янтарная луна.  
В луче вечернем, чародейном,  
ты дуновеньем легковейным  
на небеса унесена...

## СКИФ

Ночь расплелась над Римом сытым,  
и голубела глубь амфор,  
и трепетал в окне раскрытом  
меж олеандров звезд узор.

Как бы струя ночной лазури,  
плыл отдаленной лиры звон.  
Я задремал на львиной шкуре  
среди обнаженных, сонных жен.

И сон мучительный, летучий  
играл и реял надо мной.  
Я плакал: чудились мне тучи  
и степи Скифии родной!

\* \* \*

Я был в стране Воспоминанья,  
где величаво, средь сиянья  
Небес и золота песков,  
проходят призраки веков  
по пирамидам смугло-голым,  
где вечность, медленным глаголом  
вникая в сумерки души,  
волнует путника — в тиши  
пред сфинксом мудрым и тяжелым.  
Ключ неразгаданных чудес  
им человечеству завещан...  
О, глаз таинственный разрез!

На глыбе голубой, средь трещин,  
застыл божественный Рамзес  
в движенье тонко-угловатом...  
Изиды близится закат;  
и пальмы жестко шелестят,  
и туч — над Нилом розоватым —  
чернеют узкие струи...

Там — на песке сыром, прибрежном,  
я отыскал следы твои...  
Там, в полудымке, в блеске нежном,  
пять тысяч лет тому назад,  
прошла ты легкими шагами  
и пела, глядя на закат  
большими, влажными глазами...

17 февраля 1919

\* \* \*

О, встречи дивное волнение!  
Взгляд заревой... Крылатый крик...  
Ты осязаемо, виденье!  
К тебе я трепетно приник...

Я по морям туманным плавал,  
томился в пасмурной стране,  
и скучный бог и скучный дьявол  
бесцельно спорили во мне.

И на полночных перепутьях  
Страсть появлялась предо мной —  
босая, в огненных лоскутьях,  
с закинутою головой...

Но не просил я ласок ложных,  
я тосковал в садах земных...  
Среди сомнительных и сложных  
искал я верных и простых.

О достижение, крылья, зори!  
Мечта оправдана вполне!  
С алмазной песнею во взоре  
ты наклоняешься ко мне...

## ПЧЕЛА

По ночам, во мгле лазурной,  
вспоминаю жизнь мою;  
поцелуев мед пурпурный  
в сотах памяти таю.

На заре, в тени росистой,  
о грядущем сны мои,  
о цветах — в траве душистой  
по краям путей любви.

А уж в полдень полновластный —  
в ту весеннюю страну  
прилечу пчелою красной  
и к твоим устам прильну!

2 марта 1919

## ПЕТР В ГОЛЛАНДИИ

Из Московии суровой  
он сюда перешагнул.  
Полюбил он моря гул,  
городок наш изразцовый

и бродил вдоль берегов,  
загорелый, грубый, юный.  
Ветер. Пепельные дюны.  
Стук далеких топоров.

Разноцветные заплаты  
парусов над рябью вод.  
Стая чаек. Небосвод,  
как фаянс, зеленоватый.

Были мудры вечера.  
Кружки. Сонные соседи.  
Думы голосом победы  
звали плотника — Петра.

У стола мечтал он важно.  
Четко тикали часы.  
Помню: жесткие усы,  
взор жестокий и отважный,

тень локтей и головы,  
полки в маленькой таверне,  
а на печке — блеск вечерний  
и квадраты синевы.

17 марта 1919

## РОССИЯ

Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей  
иль просто безумной тебя назовут?  
Ты светишь... Взгляну — и мне счастье вспомнится.  
Да, эти лучи не зайдут.

Ты в страсти моей и в страданиях торжественных,  
и в женском медлительном взгляде была.  
В полях озаренных, холодных и девственных,  
цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным,  
весной целовала ресницы мои.  
Ты в душных церквах повторяла за дьяконом  
слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами,  
в день зимний я в инее видел твой лик.  
Ты ночью склонялась со мной над страницами  
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь. Таинственно создан я  
из блеска и дымки твоих облаков.  
Когда надо мною ночь плещется звездная,  
я слышу твой реющий зов.

Ты — в сердце, Россия. Ты — цепь и подножие,  
ты — в ропоте крови, в смятенье мечты.  
И мне ли плутать в этот век бездорожья?  
Мне светишь по-прежнему ты.

5 марта 1919  
Крым

\* \* \*

Эту жизнь я люблю иступленной любовью...

По заре выхожу на крыльцо.

Из-за моря багряною пламенной кровью  
солнце буйно мне плещет в лицо.

Дуновенья весны, как незримые девы,  
с ярким смехом целуют меня.

Многозвучная жизнь! Лепестки и напевы,  
и на всем — паутина огня!

И когда все уйдет, и томиться я буду  
у безмолвного Бога в плену,  
о, клянусь, ничего, ничего не забуду  
и на мир отдаленный взгляну.

С сожаленьем безмерным и с завистью чудной  
оглянусь — и замру я, следя,  
как пылает и катится шар изумрудный  
в полосе огневого дождя!

И я вспомню о солнце, о солнце победном,  
и о счастье каждого дня.  
Вдохновенье я вспомню, и ангелам бледным  
я скажу: отпустите меня!

Я не ваш. Я сияньем горю беззаконным  
в белой дымке бестрепетных крыл,  
и мечтами я там, где ребенком влюбленным  
и ликующим богом я был!

9 марта 1919

## КИПАРИСЫ

Склонясь над чашею прозрачной —  
над чашей озера жемчужной,  
три кипариса чудно-мрачно  
шумят в лазури ночи южной.

Как будто черные монахи,  
вокруг сияющей святыни,  
в смятенье вещем, в смутном страхе,  
поют молитвы по-латыни.

22 марта 1919

\* \* \*

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.  
Созданий будущих заоблачные грани  
еще скрываются во мгле моей души,  
как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.  
Все шире, шире даль, светлей, разнообразней  
и на звенящую на первую ступень  
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

23 марта 1919  
Крым

## СТАМБУЛ

Всплывает берег на заре,  
летает ветер благовонный.  
Как бы стоит корабль наш сонный  
в огромном, круглом, янтаре.

Кругами влагу бороздя,  
плеснется стая рыб дремотно,  
и этот трепет мимолетный,  
как рябь от легкого дождя.

Стамбул из сумрака встает:  
два резко-черных минарета  
на смуглом золоте рассвета,  
над озаренным шелком вод.

6 апреля 1919  
Золотой Рог

\* \* \*

По саду бродишь и думаешь ты.  
Тень пролилась на большие цветы.

Звонкою ночью у ветра спроси:  
так же ль березы шумят на Руси?

Страстно спроси у хрустальной луны:  
так же ль на родине реки ясны?

Ветер ответит, ответят лучи...  
Все ты узнаешь, но только смолчи.

27 апреля 1919

Фалер

\* \* \*

Что нужно сердцу моему,  
чтоб быть счастливым? Так немного...  
Люблю зверей, деревья, Бога,  
и в полдень луч, и в полночь тьму.

И на краю небытия  
скажу: где были огорченья?  
Я пел, а если плакал я —  
так лишь слезами восхищенья...

5 марта 1919

## ВЕРБА

Колоколов напев узорный,  
волнение мартовского дня,  
в спирту зеленом чертик черный,  
и пестрота, и толкотня,  
и ветер с влажными устами,  
и почек вербных жемчуга,  
и облака над куполами,  
как лучезарные снега,  
и красная звезда на палке,  
и писк бумажных языков,  
и гул, и лужи, как фиалки,  
в просветах острых меж лотков,  
и шепот дерзких дуновений:  
лети, признаний не таи!  
О юность, полная видений!  
О песни первые мои!

26 июня 1919  
Париж

## РУСАЛКА

Пахнуло с восходом огромной луны  
сладчайшею свежестью в плечи весны.

Колеблясь, колдуя в лазури ночной,  
прозрачное чудо висит над рекой.

Все тихо и хрупко. Лишь дышит камыш;  
над влагой мелькает летучая мышь.

Волшебно-возможного полночь полна.  
Река предо мною зеркально-черна.

Гляжу я — и тина горит серебром,  
и капают звезды в тумане сыром.

Гляжу — и, сияя в извиистой мгле,  
русалка плывет на сосновом стволе.

Ладони простерла и ловит луну:  
качнется, качнется и канет ко дну.

Я вздрогнул, я крикнул: взгляни, подплыви!  
Вздохнули, как струны, речные струи.

Остался лишь тонкий сверкающий круг,  
да в воздухе тает таинственный звук...

13 июля 1919

\* \* \*

Разбились облака. Алмазы дождевые,  
сверкая, капают то тише, то быстрее  
с благоухающих, взволнованных ветвей.  
Так Богу на ладонь дни катятся людские,  
так — отрывается дыханьем бытия  
и звучно падает в пределы неземные  
        песнь каждая моя...

23 августа 1919

\* \* \*

Мне так просто и радостно снилось:  
ты стояла одна на крыльце  
и рукой от зари заслонилась,  
а заря у тебя на лице.

Упадали легко и росисто  
луч на платье и тень на порог,  
а в саду каждый листик лучистый  
улыбался, как маленький бог.

Ты глядела, мое сновиденье,  
в глубину голубую аллея,  
и сквозное листья отраженье  
трепетало на шее твоей.

Я не знаю, что все это значит,  
почему я проснулся в слезах...  
Кто-то в сердце смеется и плачет,  
и стоишь ты на солнце в дверях

13 августа 1919

## ПАМЯТИ ДРУГА

В той чаше, где тысяча ягод  
краснели, как точки огня,  
мы двое играли; он на год,  
лишь на год был старше меня.

Игру нам виденья внушали  
из пестрых, воинственных книг,  
и сказочно сосны шуршали,  
и мир был душист и велик.

Мы выросли... Годы настали  
борьбы, и позора, и мук.  
Однажды мне тихо сказали:  
«Убит он, веселый твой друг...»

Хоть проще все было, суровой,  
играл он все в ту же игру.  
Мне помнится: каплями крови  
краснела брусника в бору.

\* \* \*

Простая песня, грусть простая,  
меж дальних веток блеск реки,  
жужжат так густо, пролетая,  
большие майские жуки.

Закатов поздних несказанно  
люблю алеющую лень...  
Благоуханна и туманна,  
как вечер выцветший, сирень.

Ночь осторожна, месяц скромн,  
проснулся филин, луг росист.  
Берез прелестных четко-темен  
на светлом небе каждый лист.

Как жемчуг в раковине алой,  
мелькает месяц вдалеке,  
и веет радостью бывалой  
девичья песня на реке.

17 августа 1919

## ВЬЮГА

Тень за тенью бежит — не догонит,  
вдоль по стенке... Лежи, не ворчи.  
Стонет ветер? И пусть себе стонет..  
Иль тебе не тепло на печи?

Ночь лихая... Тоска избяная..  
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?  
Это — Русь, а не вьюга степная!  
Это корчится черная Русь!

Ах, как воеет, как бьется — кликуша!  
Коли можешь — пойди и спаси!  
А тебе-то что? Полно, не слушай..  
Обойдемся и так, без Руси!

Стонет ветер все тише и тише..  
Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи..  
Завтра будут сугробы до крыши..  
То-то вьюга! Да ну ее! Спи.

30 августа 1919

\* \* \*

Катится небо, дыша и блистая...  
Вот он — дар Божий, бери не бери!  
Вот она — воля, босая, простая,  
холод и золото звонкой зари!

Тень моя резкая — тень исполина.  
Сочные стебли хрустят под ступней.  
В воздухе звон. Розовеет равнина.  
Каждый цветок — словно месяц дневной.

Вот она — воля, босая, простая!  
Пух облаков на рассветной кайме...  
И, как во тьме лебединая стая,  
ясные думы восходят в уме.

Боже! Воистину мир Твой чудесен!  
Молча, собрав полевую росу,  
сердце мое, сердце, полное песен,  
не расплескав, до Тебя донесу...

13 сентября 1919

## ОСЕНЬ

И снова, как в милые годы  
тоски, чистоты и чудес,  
глядится в безвольные воды  
румяный редеющий лес.

Простая, как Божье прощенье,  
прозрачная ширится даль.  
Ах, осень, мое упоенье,  
моя золотая печаль!

Свежо, и блестят паутины...  
Шурша, вдоль реки прохожу,  
сквозь ветви и гроздья рябины  
на тихое небо гляжу.

И свод голубеет широкий,  
и стаи кочующих птиц —  
что робкие детские строки  
в пустыне старинных страниц.

25 сентября 1919

Часы на башне распевали  
над зыбью ртутной реки,  
и в безднах улиц возникали,  
как капли крови, огоньки.

Я ждал. Мерцали безучастно  
скучающие небеса.  
Надежды пели ясно-ясно,  
как золотые голоса.

Я ждал, по улицам блуждая,  
и на колесах корабли,  
зрачками красными вращая,  
в тумане с грохотом ползли.

И ты пришла, необычайна,  
меня приметила впотьмах,  
и встала бархатная тайна  
в твоих языческих глазах.

И наши взгляды, наши тени  
как бы сцепились на лету,  
и как ты вздрогнула в смятенье,  
мою предчувствуя мечту!

И в миг стремительно-горящий,  
и отгоняя, и маня,  
с какой-то жалобой звенящей  
оторвалась ты от меня.

Исчезла, струнно улетела...  
На плен ласкающей любви  
ты променять не захотела  
пустыни вольные свои.

И снова жду я, беспокойный,  
каких чудес, какой тиши?  
И мечется твой ветер знойный  
в гудящих впадинах души.

Лондон  
Marble Arch

\* \* \*

Звон, и радугой росистой  
малый купол окаймлен...  
Капай, частый, капай, чистый,  
серебристый перезвон...

Никого не забывая,  
жемчуг выплесни живой...  
Плачет свечка восковая,  
голубь дымно-голубой...

И ясны глаза иконок,  
и я счастлив, потому  
что церковенка-ребенок  
распевает на холму...

Да над нею, беспорочной,  
уплывает на восток  
тучка вогнутая, точно  
мокрый белый лепесток...

\* \* \*

Будь со мной прозрачнее и проще:  
у меня осталась ты одна.  
Дом сожжен и вырублены рощи,  
где моя туманилась весна,

где березы грезили и дятел  
по стволу постукивал... В бою  
безысходном друга я утратил,  
а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,  
наяву с блудницами блуждал,  
и в горах я вымыслы развеял,  
и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне  
тосковать у твоего огня.  
Будь нежней, будь искреннее. Помни,  
ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919

## ЗИМА

Только елочки упрямы —  
зеленеют — то во мгле,  
то на солнце. Пахнут рамы  
свежим клеем, на стекле  
перламутровый и хрупкий  
вьется инея цветок,  
на лазури, в белой шубке  
дремлет сказочный лесок.

Утро. К снежному сараю  
в гору повезли дрова.  
Крыша искрится, по краю —  
ледяные кружева.  
Где-то каркает ворона,  
чьи-то валенки хрустят,  
на ресницы с небосклона  
блестки пестрые летят...

1 декабря 1919

\* \* \*

Мой друг, я искренно жалею  
того, кто, в тайной слепоте,  
пройдя всю длинную аллею,  
не мог приметить на листе  
сеть изумительную жилок,  
и точки желтых бугорков,  
и след зазубре́нный от пилок  
голуборогих червяков.

2 января 1920

## ВЕСНА

Взволнован мир весенним дуновеньем, /  
вернулись птицы, и звенят ручьи  
бубенчиками влаги. С умилением  
я разбираю мелочи любви  
на пыльных полках памяти. Прохладно  
в полях, и весело в лесу, куда  
ни ступишь — крупный ландыш. Как вода,  
дрожит лазурь — и жалобно, и жадно  
глядит на мир. Березы у реки —  
там, на поляне, сердцем не забытой,  
столпились и так просто, деловито  
развертывают липкие листки,  
как будто это вовсе и не чудо,  
а в синеве два тонких журавля  
колеблются, и может быть, оттуда  
им кажется зеленая земля  
неспелым, мокрым яблоком...

17 января 1920

\* \* \*

Маркиза маленькая знает,  
как хороша его любовь.  
В атласный сад луна вступает,  
подняв напудренную бровь.  
Но медлит милый, а былинке  
былинка сказывает сон:  
на звонком-тонком поединке  
он шпагой мстительной пронзен.  
Фонтаны плещут, и струисто  
лепечет жемчуг жемчугу:  
лежит он, мальчик серебристый,  
комочком шелка на лугу.  
Она бледнеет и со страхом,  
ища примет, глядит на птиц,  
полет их провожая взмахом  
по-детски загнутых ресниц.  
А все предчувствие живет;  
рыданий душит горький зной,  
и укорачивает веер  
полупрозрачный, вырезной,  
то смутно-розовый, то сизый,  
свою душистую дугу,  
а рот у маленькой маркизы —  
что капля крови на снегу...

22 января 1920

## СМЕРТЬ

Выйдут ангелы навстречу,—  
многорадужная рать,  
на приветствия отведу:  
не хочу я умирать!

Надо мной сомкнутся крылья,  
заблестят, зазвенят...  
Только вспомню, что любил я  
теплых и слепых щенят.

5 февраля 1920

## КАПЛИ КРАСОК

### 1

#### ВСЕПРОЩАЮЩИЙ

Он горстью мягкою земли  
и кровь и слезы многим вытер;  
Он милосерден. В рай вошли  
блудница бледная и мытарь.

И он своим святым простит,  
что золотые моли гибли  
в лампадах и меж слитых плит  
благоуханно-блеклых библий.

### 2

#### JOIE DE VIVRE<sup>1</sup>

И в утро свежее любви  
на берег женственно-отлогий  
мы выбегали, и твои  
босые вспыхивали ноги.

Мы задыхались в серебре  
осоки сочной, и, бывало,  
подставя зеркальце к заре,  
ты отраженье целовала.

### 3

#### КРЫМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Черешни, осы — на лотках;  
и, точно отсвет моря синий,  
на знойно-каменных стенах  
горят глаза глициний.

---

<sup>1</sup> Радость жить (фр.).

Белы до боли облака,  
ручей звездой в овраге высох,  
и, как на бархате мука,  
седеет пыль на кипарисах.

4

БЫЛИНКИ

Мы пели в поле, и луны  
блуждало блещущее диво.  
Былинки были так бледны,  
так колебались боязливо.

Мы шли, и, может быть, цветок,  
между былинками, в тревоге  
шепнул: «Я вижу — я высок:  
блуждают блещущие боги...»

5

ХУДОЖНИК

Он отвернулся от холста  
и в сад глядит, любуясь свято  
полетом алого листка  
и тенью клена лиловой;

любуюсь всем, как сын и друг,  
без недоверья, без корысти,  
и капля радужная вдруг  
спадает с вытянутой кисти.

## 6

## ЯБЛОНИ

Где ты, апреля ветерок,  
прелестный, в яблони влюбленный?  
Цветут, цветут, а ты снежок  
сдуваешь этот благовонный...

В былые, благостные дни,  
в холодном розовом тумане,  
да, сладко сыпались они,  
цветы простых очарований.

## 7

## РЕЧНАЯ ЛИЛИЯ

На лодке выцветшей вдвоем  
меж камышей мы проплываем.  
Я вялым двигаю веслом,  
ты наклоняешься над краем.

И зеленеет глубина,  
и в лени влаги появленье  
лилеи белой, как луна,  
встречаешь всхлипом восхищенья...

## 8

## В ЛЕСУ

Шептала, запрокинув лик,  
ты о разлуке предстоящей,  
а я глядел, как бился блик  
на дне шушукающей чащи,

как — в дымке — ландыша душа  
дышала, и как с тонкой ношей  
полз муравей, домой спеша,  
такой решительный, хороший...

9

ВДОХНОВЕНЬЕ

Когда-то чудо видел я;  
передаю созвучьям ныне  
то чудо, но душа моя —  
как птица белая на льдине,

и хоть горит мой стих живой,  
мне чуждо самому волненье.  
Я скован. Холод заревой  
кругом. И это — вдохновенье...

10

LA MORTE DE ARTHUR<sup>1</sup>

Все, что я видел, но забыл,  
ты, сказка гулкая, напомни;  
да: робким рыцарем я был,  
и пражка резала плечо мне.

Да. Злая встреча у ручья  
в тот вечер шелково-зеленый,  
кольчуги вражьей чешуя,  
и конь под траурной попоной.

---

<sup>1</sup> Смерть Артура (фр.).

DECADENCE<sup>1</sup>

Там, говорят, бои, гроза...  
 А в Риме сумеречном, тонко  
 подкрасив грустные глаза,  
 стихи расплескиваю звонко.

Но завтра... Сердца стебелек  
 я обнажу, из нежной раны  
 в воде надушенной дымок  
 возникнет матово-румяный...

## КРЕСТОНОСЦЫ

Когда мы встали пред врагом,  
 под белоснежными стенами,  
 и стрелы взвизгнули кругом,  
 Христос явился между нами.

Взглянул — и стрелы на лету  
 в цветы и звезды превратились  
 и роем радостным Христу  
 на плечи плавно опустились.

## КИМОНО

Дыханье веера, цветы,  
 в янтарном небе месяц узкий...

---

<sup>1</sup> Упадок (фр.).

Зевая, спрашиваешь ты,  
как слово happiness<sup>1</sup> по-русски.

А в тучках нежность хризантем,  
и для друзей я отмечаю,  
что месяц тающий — совсем  
лимона ломтик в чашке чаю.

14

MERETRIX<sup>2</sup>

Твой крест печальный — красота,  
твоя Голгофа — наслажденье.  
Скользишь, безвольна и чиста,  
из сновиденья в сновиденье,

не изменяя чистоте  
своей таинственной, кому бы  
ни улыбались в темноте  
твои затравленные губы.

15

ДОСТОЕВСКИЙ

Тоскуя в мире, как в аду,  
уродлив, судорожно-светел,  
в своем пророческом бреду  
он век наш бедственный наметил.

Услыша вопль его ночной,  
подумал Бог: ужель возможно,  
что все дарованное Мной  
так страшно было бы и сложно?

---

<sup>1</sup> Счастье (англ.).

<sup>2</sup> Блудница (лат.).

## АЭРОПЛАН

Скользнув по стоптанной траве,  
взвился он звучно, без усилия,  
и засияли в синеве  
давно задуманные крылья.

И мысли гордые текли  
под музыку винта и ветра...  
Дно исцарапанной земли  
казалось бредом геометра.

## НАПОЛЕОН В ИЗГНАНИИ

Дом новый, глухо-знойный день  
и пальма, точно жестяная...  
Вот он идет, глядит на тень  
свою смешную, вспоминая

тень пестрых шелковых знамен  
у сфинкса тусклого на лапе...  
Остановился; жалок он  
в широкополой этой шляпе...

6—24 декабря 1919

## ДЕТСТВО

### 1

При звуках, некогда подслушанных минувшим,  
любовью молодой и счастьем обманувшим,  
пред выцветшей давно, знакомою строкой,  
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,  
порой мы говорим: ужель все это было?  
и удивляемся, что сердце позабыло,  
какая чудная нам жизнь была дана...

### 2

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:  
братишка мой в саду, Бог весть во что играя,  
клат камни на карниз. Вдруг, странно замирая,  
подумал я: ужель и я таким же был?  
И в этот миг все то, что позже я любил,  
все, что изведал я — обиды и успехи —  
все затуманилось при тихом, светлом смехе  
восставших предо мной младенческих годов.

### 3

И вот мне хочется в размер простых стихов  
то время заключить, когда мне было восемь,  
да, только восемь лет. Мы ничего не просим,  
не знаем в эти дни, но многое душой  
уж можем угадать. Я помню дом большой,  
я помню лестницу, и мраморной Венеры  
меж окон статую, и в детской полусерый  
и полузолотой непостоянный свет.

## 4

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,  
предпочитал я сон действительности ясной.  
Конечно, не всегда: как торопил я страстно  
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)  
Потом до десяти, склонившись над столом,  
писал я чепуху на языке Шекспира,  
а после шел гулять...

## 5

Отдал бы я полмира,  
чтоб снова увидеть мир яркий, молодой,  
который видел я, когда ходил зимой  
вдоль скованной Невы великолепным утром!  
Снег, отливающий лазурью, перламутром,  
туманом розовым подернутый гранит,—  
как в ранние лета все нежит, все пленит!

## 6

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...  
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!  
А горка изо льда меж липок городских,  
смех девочек-подруг, стук санок удалых,  
рябые воробьи, чугунная ограда?  
О сказка милая, о чистая отрада!

## 7

Увы! Все, все теперь мне кажется другим:  
собор не так высок, и в сквере перед ним  
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,  
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,

на серой площади никто не продает...  
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

8

Зато остались мне тех дней воспоминанья:  
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,  
позавтракав, ложусь в кроватьку на часок.  
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...  
Садилась рядом мать и мягко целовала  
и пароходики в альбом мне рисовала...  
Полезней всех наук был этот миг тиши!

9

Я разноцветные любил карандаши,  
пахучих сургучей густые капли, краски,  
бразильских бабочек и английские сказки.  
Я чутко им внимал. Я был героем их:  
как грозный рыцарь, смел, как грустный рыцарь, тих,  
коленопреклонен пред смутной, пред любимой...  
О, как влекли меня Ричард непобедимый,  
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

10

Картинку помню я: по озеру плывет  
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,  
на траурном шелку, средь белых роз, а слева  
от мертвой, на корме, таинственный старик  
седою головой в раздумии поник,  
и праздное весло скользит по влаге сонной,  
меж лилий водяных...

Глядел я, как влюбленный,  
 мечтательной тоски, видений странных полн,  
 на бледность этих плеч, на этот черный челн,  
 и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:  
 к каким он берегам неведомым причалит,  
 и дева нежная проснется ли когда?

Назад, скорей назад, счастливые года!  
 Ведь я не выполнил заветов ваших тайных.  
 Ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,  
 прожитых без борьбы, забытых без труда.  
 Иль нет, ошибся я, далекие года!  
 Одно в душе моей осталось неизменным,  
 и это — преданность виденьям несравненным,  
 молитва ясная пред чистой красотой.  
 Я ей не изменил, и ныне пред собой  
 я дверь минувшего без страха открываю  
 и без раскаянья былое призываю!

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.  
 День мирно протекал. Я вспоминаю вновь  
 безоблачных небес широкое блистанье,  
 в коляске медленной обычное катанье  
 и в предзакатный час — бисквиты с молоком.  
 Когда же сумерки сгущались за окном,  
 и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,  
 спускались, шелестя, и свет полупечальный,  
 полутрадный ламп даль комнат озарял,  
 безмолвно, сам с собой, я на полу играл,  
 в невинных вымыслах, с беспечностью священной,  
 я жизни подражал по-детски вдохновенно:

из толстых словарей мосты сооружал,  
и поезд заводной уверенно бежал  
по рельсам жестяным...

14

Потом — обед вечерний.  
Ночь приближается, и сердце суеверней.  
Уж послана постель, потушены огни.  
Я слышу над собой: Господь тебя храни...  
Кругом чернеет тьма, и только щель дверная  
полоской узкою сверкает, золотая.  
Блаженно кутаюсь и, ноги подобрав,  
вникаю в радугу обещанных забав...  
Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

15 .

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,  
что я проснулся — лишь теперь, и что во сне,  
во сне младенческом приснилась юность мне;  
что страсть, тревога, мрак — все шутка домового,  
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова  
и в уголку свой мяч и паровоз найду...  
Мечты!..

16

Пройдут года, и с ними я уйду,  
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,  
и после, может быть, потомок любопытный,  
стихи безбурные внимательно прочтя,  
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!

21—22 августа 1918

## АНГЕЛЫ

О лучезарных запою,  
лазурь на звуки разбивая...  
Блестит лестница в раю,  
потоком с облака спадая.  
О, дуновенье вечных сил!  
На бесконечные ступени  
текут волнующихся крыл  
цветные, выпуклые тени.  
Проходят ангелы в лучах.  
Сияют радостные лики,  
сияют ноги, и в очах  
Бог отражается великий.  
Струится солнце им вослед;  
и ослепителен и сладок  
над ступенями свежий свет  
пересекающихся радуг...

### 1

#### СЕРАФИМЫ

Из пламени Господь их сотворил, и встали  
они вокруг Него, запели, заблестали  
и, ослепленные сияньем Божества,  
расправили крыла и заслонились ими,  
и очи вспыхнули слезами огневыми.  
«Бог — лучезарная, безмерная Любовь!» —  
шестикрылатые запели Серафимы;  
метнулись, трепеща, приблизились и вновь  
откликнулись, огнем божественным палимы,  
и слезы райские из ангельских очей  
свободно полились, блеснув еще светлей...  
Одни на небесах остались, и звезды  
их люди назвали. Они горят над нами,  
как знаки Вечности... Другие — с высоты  
упали в этот мир, и на земле их много:

живые отблески небесной красоты,  
хвала, предчувствие сияющего Бога,  
и пламенной любви блаженная тревога,  
и вдохновенья жар, и юности мечты.

2

ХЕРУВИМЫ

Они над твердью голубой,  
покрыв простертыми крылами  
Зерцало Тайн, перед собой  
глядят недвижными очами  
и созерцают без конца  
глубокую премудрость Бога;  
и, содрогаясь вокруг Творца  
и нагибаясь, шепчут строго  
друг другу тихое: «Молчи!»,  
и в сумрак вечности вникают,  
где жизнью тонкие лучи  
из мира в мир перелетают,  
где загораются они  
под трепетными небесами,  
как в ночь пасхальную огни  
свеч, наклонившихся во храме.  
И бытие, и небосвод,  
и мысль над мыслями людскими,  
и смерти сумрачный приход —  
все им понятно. Перед ними,  
как вереницы облаков,  
плывут над безднами творенья,  
плывут расчисленных миров  
запечатленные виденья.

22 сентября 1918

## ПРЕСТОЛЫ

Стоял он на скале высокой, заостренной...  
В широкой утопала мгле  
земля далекая. Стоял он на скале,  
весь солнцем озаренный.

От золотых вершин равнину заслонив,  
клубились тучи грозовые,  
и только вдалеке сквозь волны их седые  
чуть вспыхивал залив.

И на горе он пел, задумчиво-прекрасный,  
и видел под собой грозу,  
извивы молнии, сверкнувшие внизу,  
и слышал гром неясный.

За тучей туча вдаль торжественно текла.  
Из трещин вылетели с шумом  
и пронеслись дугой над сумраком угрюмым  
два царственных орла.

Густая пелена внезапно встрепенулась,  
и в ней блеснул просвет косой.  
Прорвал он облака. Волшебнo пред горой  
равнина развернулась.

И рощи темные, и светлые поля,  
и рек изгибы и слиянья,  
и радуги садов, и тени, и сиянья —  
вся Божия земля!

И ясно вдалеке виднелась ширь морская,  
простор зеркально-голубой.  
И звучно ангел пел, из мира в край иной  
неспешно улета.

И песнь растаяла в блуждающих лучах,  
наполнила все мирозданье.  
Величие Творца и красоту создання  
он славил в небесах...

26 сентября 1918

## ГОСПОДСТВА

Заботлива Божественная мощь.  
 Ей радостный дивится небожитель.  
 Оберегает мудро Промыслитель  
 волну морей и каждый листик рощ.

Земных существ невидимый Хранитель,  
 послушных бурь величественный Вождь,  
 от молнии спасает Он обитель  
 и на поля ниспосылает дождь.

И ангелы глядят, как зреет нива,  
 как луг цветет. Когда ж нетерпеливо  
 мы предаемся гибельным страстям

и поздняя объемлет нас тревога,  
 слетает в мир посланник чуткий Бога  
 и небеса указывает нам.

26 сентября 1918

## СИЛЫ

Поведал ангел мне: порочная жена  
 для ветреных утех покинула супруга,  
 и вскоре умер он, жестокого недуга  
 недолгий, кроткий раб... Из-за морей она,  
 вину свою познав, тревожно возвратилась,  
 прощенья жаждала и только прах нашла...  
 Ночь беспросветная, печали ночь сошла.  
 Вдова бессонная рыдала и молилась,  
 томима памятью блистательных грехов,  
 и медленно брела по дому. Звон шагов,  
 скрип половиц гнилых в покоях одиноких,  
 все было как упрек, и слезы без конца

лились и сердце жгли. Исчез с ее лица  
румянец радостный. В ее мольбах глубоких,  
в дрожанье сжатых рук смерть ранняя была.  
Тускнели впалые, заплаканные очи,  
но скорбная душа ответа все ждала.  
Воистину она раскаялась в те ночи!  
И это видел Бог, и Он меня призвал  
и чудо совершить позволил: я из рая  
спустился в некий сад, могилу отыскал,  
как вихорь, пролетел над гробовым крестом,  
и сила дивная, мне данная Творцом,  
вдохнула снова жизнь в безобразное тело...  
Земля растрескалась. Могила опустела.  
Передо мной стоял недавний труп, теперь —  
широкоплечий муж; и я, взмахнув крылами,  
«Иди!» сказал ему, и твердыми шагами  
он к дому подошел, раскрыл бесшумно дверь,  
вошел, как некогда, высокий, тихий, стройный,  
благословил ее, в чело поцеловал  
и вновь ушел во мрак с улыбкою спокойной.

27 сентября 1918

6

ВЛАСТИ

Чу! Крыльев шум... и слуги сатаны  
рассеялись пред ангелами Власти.  
И в нас самих, как бурей, сметены  
виденья зла, виденья темной страсти.  
Шум крыльев, клик... Летят они, трубя,  
могучие, багряно-огневые.  
Стремясь, гремят их песни грозовые.  
Летят они, все грешное губя.  
Спускаются, неправых строго судят,  
и перед ними падаем мы ниц.  
Они блестят, как множество зарниц,  
они трубят и души сонных будят.  
Открыло им закон свой Божество,

Царь над царями грозно-величавый,  
и в отблеске Его безмерной славы,  
шумя, кружатся ангелы Его.

28 сентября 1918

7

НАЧАЛА

На чьем плече, как голубь, спит луна  
и чья ладонь под облаком румяным?  
Кем ставится стеклянная стена  
перед волной, на берегу песчаном?

Гул наших струн, и жизни каждый вздох,  
и бред земли — кто, кроме смертных, слышит?  
Вот — ночь, вот — день; скажи, кто там колышет  
кадило зорь? — Я вижу четырех:

на четырех цветных вершинах горных  
они стоят, и ты не знаешь, чей  
прекрасней лик, и тысяча очей  
горят у них на крыльях нежно-черных.

Один — всю твердь, как чашу, поднимает,  
отхлынуть тот велит волнам морским,  
один — земле взывающей внимает,  
тот — властвует над пламенем благим.

23 сентября 1918

8

АРХАНГЕЛЫ

Поставь на правый путь! Сомнения развеи...  
Ночь давит над землей, и ночь — в душе моей.  
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.  
Небытия намек я чую в эту ночь.

И страшно мне уснуть.

Я верю, ты придешь, наставник неземной,  
на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.

Я верю, ты придешь!

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,  
невидимого мне попутчика ты дашь.

Ты знаешь мира ложь.

И вот подходишь ты. Не мею и дрожу,  
движенье верное руки твоей слежу.

И вот отходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.  
О, дух пророческий, ты говоришь, он — мой?

Средь чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.  
И льстива, и страшна ночного беса власть.

О, я боюсь идти...

«Не бойся: по пути ты не один пойдешь.  
Не будешь ты один и если соскользнешь  
с высокого пути...»

28 сентября 1918

9

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

В часы полуночи унылой  
отчетливее сердца стук,  
и ближе спутник яснокрылый,  
мой огорченный, кроткий друг.

Он приближается, но вскоре  
я забываюсь, и во сне  
я вижу бурю, вижу море  
и дев, смеющихся на дне.

Земного, темного неверья  
он знает бездны и грустит,  
и светлые роняет перья,  
и робко в душу мне глядит.

И веет, крылья опуская,  
очарованьем тишины,  
и тихо дышит, разгоняя  
мои кошунственные сны...

И я, проснувшись, ненавижу  
губительную жизнь мою,  
тень отлетающую вижу  
и вижу за окном зарю.

И падают лучи дневные...  
От них вся комната светла:  
они ведь — перья золотые  
с его незримого крыла.

## КРЫМ

Назло неистовым тревогам,  
ты, дикий и душистый край,  
как роза, данная мне Богом,  
во храме памяти сверкай!..  
Тебя покинул я во мраке:  
качаясь, огненные знаки  
в туманном небе спор вели  
над гулом берегов коварных.  
Кругом, на столбиках янтарных,  
стояли в бухте корабли.

В краю неласковом скучая,  
все помню — плавные поля,  
пучки густые молочая,  
вкус теплых ягод кизилля;  
я любовался мотыльками  
степными — с красными глазками  
на темных крылышках... Текла  
от тени к тени золотистой,  
подобна музыке волнистой,  
неизъяснимая яйла!

О, тиховейные долины,  
полдневный трепет над травой,  
и холм — залет перепелиный...  
О, странный отблеск меловой  
расщелин древних, где у края  
цветут пионы, обагрив  
чертополоха чешую,  
и лиловеет орхидея...  
О, рощи буковые, где я  
подслушал, Пан, свирель твою!

Воображаю грань крутую  
и прихотливую яйлы,  
и там — таинственную тую,  
а у подножия скалы —  
сосновый лес... С вершины острой  
так ясно виден берег пестрый,

хоть наклонись да подбери!  
Там я не раз, весною дальней,  
встречал, как счастье, луч начальный  
и ветер сладостный зари...

Там, ночью звездной, я порою  
о крыльях грезил... Вдалеке,  
меж гулким морем и горою,  
огни в знакомом городке,  
как горсть алмазных ожерелий,  
небрежно брошенных, горели  
сквозь дымку зыбкую, и шум  
далеких волн и шорох бора  
мне посылали без разбора  
за роем рой нестройных дум!

Любил я странствовать по Крыму...  
Бахчисарая тополя  
встают навстречу пилигриму,  
слегка верхами шевеля;  
в кофейне маленькой, туманной,  
эстампы английские странно  
со стен засаленных глядят,  
лет полтора ста им — и боле:  
бои былые — тучи, поле  
и куртки красные солдат.

И посетил я по дороге  
чертог увядший. Лунный луч  
белел на каменном пороге.  
В сенях воздушных капал ключ  
очарованья, ключ печали,  
и сказки вечные журчали  
в ночной прозрачной тишине,  
и звезды сыпались над садом.  
Вдруг Пушкин встал со мною рядом  
и ясно улыбнулся мне...

О, греза, где мы ни бродили!  
Там дни сменялись, как стихи...  
Баюкал ветер, а будили  
в цветущих селах петухи.  
Я видел мертвый город: ямы  
былых темниц, глухие храмы,

безмолвный холм Чуфуткалэ...  
Небес я видел блеск блаженный,  
кремнистый путь, и скит смиренный,  
и кельи древние в скале.

На перевале отдаленном  
приют — старик полуслепой  
мне предложил, с поклоном сонным.  
Я утомлен был. Над тропой  
сгущались душные потемки;  
в плечо впивался мне котомки  
линючий, узкий ремешок;  
к тому ж над лысиною горной  
повисла туча, словно черный,  
набухший, бархатный мешок.

И тучу, полную жемчужин,  
проткнула с хохотом гроза,  
и был уютен малый ужин  
в татарской хижине: буза,  
черешни, пресный сыр овечий...  
Темнело. Тающие свечи  
на круглом низеньком столе,  
покрытом пестрой скатереткой,  
мерцали ласково и кротко  
в пахучей, теплой полумгле.

И синим утром я обратно  
спустился к морю по пятам  
своей же тени. Неопратно  
цвели на кручах, тут и там,  
деревья тусклые Иуды,  
на камнях млели изумруды  
дремотных ящериц, тропа  
вилась меж садилов веселых;  
пел ручеек, на частоколах  
белели козьи черепа.

О, заколдованный, о, дальний  
воспоминаний уголок!  
Внизу, над морем, цвет миндальный,  
как нежно-розовый дымок,  
и за поляною поляна,  
и кедры мощные Ливана,

аллей пленительная мгла  
(приют любви моей туманной!),  
и кипарис благоуханный,  
и восковая мушмула...

Меня те рощи позабыли...  
В душе остался мне от них  
лишь тонкий слой цветочной пыли...  
К закату листья дум моих  
при первом ветре обратятся,  
но если Богом мне простятся  
мечты ночей, ошибки дня,  
и буду я в раю небесном,  
он чем-то издавна известным  
повеет, верно, на меня!

30 июня 1920

## СОН НА АКРОПОЛЕ

Я эти сны люблю и ненавижу.  
Ты знаешь ли их странную игру?  
На миг один, как стая птиц роскошных,  
в действительность ворвется вдруг былое  
и вокруг тебя, сверкая, закружится  
и улетит, всю душу взволновав.

Я в первый раз Акрополь посещал...  
Убогий грек со стразом на мизинце,  
все добросовестно мне объясняя,  
вводил меня в разрушенные храмы  
своих непостижимых предков. Маки  
алели меж камней, и мимолетно  
подумал я, что мраморные глыбы,  
усеянные маками, похожи  
на мертвецов с пурпурными устами...

Мы миновали желтые колонны  
и с вышины увидели окрестность.  
Взглянул я вниз, и чудо совершилось...  
То южное ли солнце подшутило  
над северной, тоскующей душой,  
иль слишком жадные глаза поэта  
мучительно и чудно обманулись,  
не ведаю... Но вдруг исчезли горы,  
гладь синяя мерцающего моря  
в цветущую равнину превратилась:  
ромашек золотистые сердца,  
и вдовый цвет лиловый и пушистый,  
и колокольчики — я различал  
в траве густой, лоснящейся на солнце...

Преобразились белые Афины.  
Передо мной — знакомое село:  
все — сизые, полуслепые избы,  
кабак с зеленой вывеской, часовня,  
да мальчики, играющие в бабки,  
да жалобно мычащая корова,  
да пьяница, и пьяный русский ветер,  
вздувающий рубашку на спине...

А там, вдали, меж полем и деревней,  
я вижу лес, как молодость, веселый,  
березовый, бледно-зеленый лес,  
и просветы тропинок своенравных...  
Как хочется предаться их извивам,  
блуждать, мечтать, срывать кору с берез  
и обнимать янтарный, влажный ствол,  
льнуть, льнуть к нему и грудью, и губами,  
и кровь его медовую впивать!  
Все вижу: блеск песчинки на тропе,  
и труп крота близ горки чернозема,  
и пестрого жука на черной шкурке...  
А сам я (о, как сладко-совершенно  
мне это чудилось!) — я сам стою  
на деревенском кладбище, где дышит  
так пряно тень черемухи склоненной,  
где меж могил алеет земляника,  
где сыплются ольховые сережки  
на старые, горбатые кресты...

И нехотя очнулся я, и голос  
поскрипывал, прилежно рассуждая  
о стройности дорических колонн  
и о былых властительных богинях.  
Что мне до них? Я видел сон иной.

День увядал. Внизу горели окна.  
На запад шли оранжевые тучи.  
«Благодарю», — промолвил я поспешно,  
и на ладонь услужливого грека  
упало несколько монет дырявых.

Так — за мечту платил я серебром...

25 апреля 1919  
Афины

## СТРАНСТВИЯ

Ты много странствовал. Рассказ холодный твой  
я ныне слушаю не с завистью живой,  
а с чувством сложного, глухого сожаленья.  
Мне горько за тебя. Скитался долго ты;  
езде вокруг себя единой красоты  
разнообразные ты видел проявления,  
и многих городов в записках путевых  
тобой приведены бесцветные названья.  
Но ты не испытал тоски очарованья!  
На желтом мраморе святилищ вековых,  
на крыльях пестрых птиц, роскошных насекомых  
узор ты примечал, не чуя Божества;  
стыдливой музыке наречий незнакомых  
с улыбкой ты внимал, а выучил слова  
приветствий утренних, вечерних пожеланий;  
в пустынях, в городах иль ночью, на поляне,  
сияющей в лесу как озеро, о нет,  
не содрогался ты, внезапно потрясенный  
сознаньем бытия... И через много лет  
ты возвращаешься, но смотришь изумленно,  
когда я говорю, что сладостно потом  
о странствиях мечтать, о прошлом золотом,  
и вдруг припоминать, в тревоге, в умиленье  
мучительном не то, что знать бы всякий мог,  
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек,—  
звезду под деревом да песню в отдаленье.

14 февраля 1920

\* \* \*

Над землею стоит голубеющий пар.  
Почки лип озарили аллею;  
и с нелепою песенкой первый комар  
мне щекочет настойчиво шею...

И тоску по иной, сочно-черной весне —  
вдохновенное воспоминанье —  
ах, какую тоску! — пробуждает во мне  
комариное это жужжанье...

20 февраля 1920

## FOOTBALL<sup>1</sup>

Я видел, за тобой шел юноша, похожий  
на многих; знал я все: походку, трубку, смех.  
Да и таких, как ты, немало ведь, и что же,  
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно  
играли мы, кружась под зимней синевой.  
Отрадная игра! Широкая поляна,  
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,  
то — выстрела звучней — взвивается, и вот  
подпрыгиваю я, с размаху прерывая  
его стремительный полет.

Увидя мой удар, уверенно-умелый,  
спросила ты, следя вращающийся мяч:  
знаком ли он тебе — вон тот, в фуфайке белой,  
худой, лохматый, как скрипач.

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом  
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,  
и, трубку пососав, заметил мимоходом,  
что я — приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманьясь, удалился  
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг  
последовал, дымя, потом остановился  
и трубкой стукнул о каблук.

А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы,  
что вот один из тех беспечных игроков  
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,  
созвучья для иных веков.

26 февраля 1920  
Кембридж

---

<sup>1</sup> Футбол (англ.).

\*\*\*

Безвозвратная, вечно-родная,  
эти слезы, чуть слышно звенящие,  
проливал я, тебя вспоминая.  
Поглядел я на звезды, горящие,  
как высокие скорбные мысли,  
и лучи удлинялись колючие,  
ослепили меня и повисли  
на ресницах жемчужины жгучие.

О, стекайте по тайным морщинам,  
слезы яркие, слезы тяжелые!  
Над минувшим, над счастьем единым  
разгорайтесь, лучи невеселые...  
Все ушло, все дороги смешались,  
разлюбил я напевы искусные...  
Только звезды у сердца остались,  
только звезды, большие и грустные...

4 марта 1920

## ДВИЖЕНЬЕ

Искусственное тел передвиженье —  
вот разума древнейшая любовь,  
и в этом жадно ищет отраженья  
под кожей кружащая кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной  
чудовище с зарницей на хребте  
как бы грозой неистово-железной  
проносится в гремящей темноте.

И, чуя, как добычу, берег дальний,  
стоокие, по морокам морей  
плывут и плещут музыкою бальной  
чертоги исполинских кораблей.

Наклон, оправданное вычисленье  
да четкий повторяющийся взрыв —  
и вот оно, Дедала сновиденье,  
взлетает, крылья струнные раскрыв.

1918  
Крым

## ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Столбов однообразных придорожных  
фарфоровые бубенцы и шесть  
гудящих струн...

Скользит за вестью весть —  
шум голосов бесчисленных, тревожных  
и жалобных скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,  
ты, странник загорелый, босоногий,  
замедли шаг и с ветром замирай,  
внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,  
и каждый столб ложится длинной тенью,  
и путь далек, и ты один...

11 марта 1920

## КАШТАНЫ

Цветущие каштаны, словно храмы  
открытые, сияют вдоль реки.  
Их красоту задуют ветерки  
задорные, но в этот вечер — самый  
весенний из весенних вечеров —  
они чудесней всех твоих даров,  
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто  
в цветах звенит (кто, ангел или дрозд?),  
и тени изумрудные слоистой  
листвы и грозди розовые звезд  
в воде отражены.

Я здесь, упрямый,  
юродивый, у паперти стою  
и чуда жду, и видят грусть мою  
каштаны, восхитительные храмы...

20 мая 1920  
Кембридж

\* \* \*

Люблю в струящейся дремоте  
сливаться с вечером, когда  
вы смутно в памяти поете,  
о, потонувшие года!

Люблю я тайные кочевья...  
Целую умерших, во сне.  
Колосья, девушки, деревья —  
навстречу тянутся ко мне.

Еще не дышит вдохновенье,  
а мир обычного затих:  
то неподвижное мгновенье —  
уже не боль, еще не стих.

И полумысли, полузвуки  
вплывают в дымчатый мой сон,  
белея в сумерках, как руки  
недорисованных Мадонн...

\* \* \*

(Отрывок)

Твоих одежд воздушных я коснулся,  
и мелкие посыпались цветы  
из облака благоуханной ткани.  
Стояли мы на белых ступенях,  
в полдневный час, у моря, и на юге,  
сверкая, колебались корабли.  
Спросила ты:

что на земле прекрасней  
темно-лиловых лепестков фиалок,  
разбросанных по мрамору?

Твои  
глаза, твои покорные глаза,  
я отвечал.

Потом мы побрели  
вдоль берега, ладонями блуждая  
по краю бледно-каменной ограды.  
Синела даль. Ты слабо улыбалась,  
любуюсь парусами кораблей,  
как будто вырезанными из солнца.

29 мая 1920

## РОМАНС

И на берег весенний пришли мы назад  
сквозь туман исступленных растений.  
По сырому песку перед нами скользят  
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,  
а над морем, над золотоглазым,  
кипарисы на склонах струятся к луне,  
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд  
непонятно звенят, а над морем  
повисает горящий, змеящийся мост,  
и как дети о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней.  
Это больно, и это не нужно..  
Мы идем, и следы наших голых ступней  
наполняются влагой жемчужной.

8 июня 1920  
Кембридж

## ЛАСТОЧКИ

Инок ласковый, мы реем  
над твоим монастырем  
да над озером, горящим  
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем —  
утром сонным в сентябре.  
В Цареграде — на закате,  
в Назарете — на заре.

Но на север мы в апреле  
возвращаемся, и вот  
ты срываешь, инок тонкий,  
первый ландыш у ворот;

и, не понимая птичьих  
маленьких и звонких слов,  
ты нас видишь над крестами  
бирюзовых куполов.

10 июня 1920

## ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Час задумчивый строгого ужина,  
предсказания измен и разлуки.  
Озаряет ночная жемчужина  
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу.  
У Христа — серебристые руки.  
Ясно молятся свечи, и по столу  
ночные ползут мотыльки.

1918  
Крым

Она давно ушла, она давно забыла...  
Ее задумчивость любил я... Это было  
в апреле лет моих, в прелестные лета,  
на севере земли... Печаль и чистота  
сливались в музыку воздушную, в созвучья  
нерукотворные, когда, раздвинув сучья,  
отяжелевшие от желтых звезд и пчел,  
она меня звала. Я с нею перечел  
все сказки юности, туманные, как ивы  
над серым озером, на скатах, где, тоскливый,  
играл я лютикам на лютне, под луной...  
Ее задумчивость любил я. Надо мной  
она как облако склонялась золотое,  
о чем-то сетуя и в счастье простое  
уверовать боясь. Ее полюбив,  
рассказывал я сны. Тогда, глаза подняв  
(и лучезарная в них осень улыбалась),  
она глядела вдаль, и плавно колебалась  
тень ивовой листвы на платье, на плечах  
ее девических, а волосы в лучах  
горели призрачно... и все так странно было...  
Она давно ушла, она давно забыла...

Я видел, ты витала меж алмазных  
стволов и черных листьев, под луной,  
воздушно выбегала из бессвязных  
узоров сумрака на луг лесной.

Твое кружение было молчаливо,  
как ночь, и вдохновенно, как любовь...  
Руками всплескивала, и тоскливо  
склонялась ты, и улетала вновь.

И волосы твои струились, ноги  
стремительно сияли, и луна  
в глазах плясала... Любовались боги  
лесные, любовалась тишина...

А жизнь, а жизнь, распутывая тени,  
к тебе тянулась, бредила, звала,  
но пеньем согласованных движений  
ты властно заколдована была...

\* \* \*

Кто меня повезет  
по ухабам домой,  
мимо сизых болот  
и струящихся нив?  
Кто укажет кнутом,  
обернувшись ко мне,  
меж берез и рябин  
зеленеющий дом?  
Кто откроет мне дверь?  
Кто заплачет в сенях?  
А теперь — вот теперь —  
есть ли там кто-нибудь,  
кто почувал бы вдруг,  
что в далеком краю  
я брожу и пою,  
под луной, о былом?

8 августа 1920

## ПАВЛИНЫ

*Павы ходили, перья ронили,  
а за павами красная Панна,  
Панна Марья перье зберала,  
веночек вила.*

(Стих пинских калик перехожих)

Видели мы, нищие, как Мария Дева  
проходила мимо округлого дворца;  
словно отголосок нездешнего напева,  
веяло сиянье от тонкого лица.

Облаков полдневных, бесшумно-своенравных  
в синеве глубокой дробилось серебро.  
Из-под пальмы выплыли три павлина плавных  
и роняли перья, и каждое перо,—

то в тени блестящее, то — на солнце сонном  
легкое зеленое, с бархатным глазком,  
темною лазурью волшебнo окаймленным,  
падало на мрамор изогнутым цветком.

Видели мы, нищие, как с улыбкой чудной  
Дева несравненная перья подняла  
и веноч мерцающий, синий, изумрудный,  
для Христа ребенка в раздумии сплела.

2 августа 1920

Здравствуй, смерти! — и спутник крылатый;  
объясняя, в рай уведет,  
но внезапно зеленый, зубчатый,  
нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде,  
я рванусь и в чаще найду  
прежний дом мой земной, и, как прежде,  
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской  
в голубом окошке моем,  
да диван из березы карельской,  
да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом:  
на столе открыта тетрадь...  
Если Богу расскажут об этом,  
он не станет меня укорять.

13 августа 1920

\* \* \*

Мерцательные тикают пружинки,  
и осыпаются календари.  
Кружатся то стрекозы, то снежинки,  
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,  
как в городке на берегу морском,  
есть некий гул, он дышит смутной силой,  
он ширится, он с детства мне знаком.

И ночью перезвоном волн да кликом  
струн, дальних струн, неисчислимых струн,  
взволнован мрак, и в трепете великом  
встаю на зов, доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участие,  
я чувствую, что ночи звезд полны,  
а жизнь летит, горит, и гаснет счастье,  
и от весны недолго до весны.

14 августа 1920

Дорога в темноте печалится лесная,  
 о давних путниках как будто вспоминая,  
 о бледном беглеце, о девушке хромой...  
 Улыбка вечера над низкой бахромой  
 туманно-гладких туч алеет сквозь ольшаник.  
 Иди себе да пой, упорный Божий странник,  
 к тебе навстречу ночь медлительно летит.  
 Все глуше под листвою дорога шелестит,  
 истлевшую красу вбирая все покорней,  
 и всюду расплзлись уродливые корни,  
 как мысли черные чудовищной души.  
 Лес жаден, ночь слепа, ночлег далек, спеши.  
 Чу... ветер или зверь? не ведаешь... То справа,  
 в тумане меж стволов, пустынно-величава,  
 спустится луна, то слева из листвы  
 тропинка выбежит, и жуткий гук совы  
 проснетя в глубине, как всплеск на дне колодца.  
 Порою же мелькнут над отблеском болотца  
 семь-восемь сосенок причудливой чредой;  
 в луче ты различишь цветов пушок седой  
 да ягоды глухой дремотной голубицы.  
 Пройдешь, заденешь ветвь, и плач незримой птицы  
 вновь скатится, замрет, и длительный двойник  
 ответит издали...

Да, сказочен твой лик,  
 да, чуден ропот твой, о хмурый, о родимый.  
 Под тучами листвы звучат неумоимо  
 от вешних сумерек до пасмурной зари  
 лесные голоса. Поди же разбери,  
 что клич разбойничий, что посвист соловьиный.  
 Все отзвуки земли слились в напев единый,  
 и ветер мечется, и, ужаса полна,  
 под каждой веткою свивается луна.  
 Так ночью бредит лес величественно-черный,  
 и лютый, и родной... О путник, ты упорной  
 да ровной поступью, да с песнями иди,  
 пока в нечаянном просвете впереди  
 не развернется даль полей — еще лиловых  
 в тот свежий, юный день. О странствиях суровых

тогда забудешь ты. За полем вспыхнет день  
на крышах, имена оврагов, деревень  
чирикнут в памяти, простые, дорогие...  
И это вещей путь. И это ты — Россия.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я всем вам говорю, о странники! — нежданный  
глубокий благовест прольется над туманной  
землей, и, полный птиц, волнистый встанет лес,  
черемухой пахнет из влажного оврага,  
и ветру вешнему неведомый бродяга  
ответит радостно «воистину воскрес».

В полях, на площадях, в толпе иноплеменной,  
на палубе, где пыль толпы неугомонной  
бессонного кропит, — да, где бы ни был он, —  
как тот, кто среди пустой беседы вдруг приметит  
любимый лик в окне — так встанет он и встретит  
свой день, свет ласковый и свежий, свет и звон.

И будет радостно и страшно возвращенье.  
Могилы голые найдем мы — разрушенье,  
неузнаваемы дороги, — все смела  
гроза глумливая, пустынен край, печален...  
О чудо. Среди глухих, дымящихся развалин,  
раскрывшись, радуга пугливая легла.

И строить мы начнем, и сердце будет строго,  
и ясен будет ум... Да, мучились мы много,  
нас обнимала ночь, как плачущая мать,  
и зори над землей печальные лучились, —  
и в дальних городах мы, странники, учились  
отчизну чистую любить и понимать.

22 октября 1920

## ПОЭТ

Он знал: отрада и тревога  
и все, что зримо на земле —  
все только бред и прихоть Бога,  
туман дыханья на стекле!

Но от забвенья до забвенья  
ему был мир безмерно мил,  
и зной бессменный вдохновенья  
звукователя томил.

На крыльях чудного недуга  
летя вдоль будничных дорог,  
дружил он с многими, но друга  
иметь он, огненный, не мог!

И в час сладчайший, час напрасный,  
коснувшись бледных тайн твоих,  
в долине лилий сладострастной  
он лишь сорвал душистый стих!

Вот листопад. Бесплотным перезвоном  
сад окроплен. Свод легок и высок.  
Клен отдает со вздохом и поклоном  
последний свой узорный образок.

И на листе огнистый ангел вышит,  
и радужна меж грядок борозда,  
и у крыльца стеклянного чуть дышит  
сиротка ель, как черная звезда.

## ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Дия, мой бледный цветок, поверь ты случайному другу!  
Звезд непорочных полна мраморной прósади глубь.  
Муж твой не видит, вставай, уходи ты отсюда, молю я!  
Дышит стоокая ткань, сердце амфоры горит,  
ластятся к тучному богу блудницы, как легкие волны,  
брови блаженно подняв, пьет он, чудовищный Вахх,  
пьет он, и липкая влага, рыжую шерсть обагрят,  
льется по жирной груди. Тут же, в сиянии цветном,  
выпятив смуглый живот, пьяный мальчик, смеясь, орошает  
смятый, упавший венок рдяных уродливых роз.  
Песни. Бесстыжие стоны. Золотоногая дева  
вьется средь томных гостей, вторя движеньям любви;  
вот разбежался один, поймал на лету плясунью,  
и покатился тимпан, по полу праздно звеня.  
Дия, молю я, уйдем! Твой муж поседельный, беззубый  
спит, благодарно прильнув к вялому юноше... Встань,  
выйдем мы в сад незаметно, там тихо, пустынно; грозди  
лунного света и мглы пышно свисают с ветвей.  
Сочная ночь над землей алмазным стоит вертоградом;  
жажду полней утолит сладость холодная звезд.  
Дия, мои корабли ожидают в недалеком заливе!  
В край увезу я тебя стройный, как зодчего сон...  
Горы там, горы одни! Вырезные, немые вершины,  
гордо прорвав облака, внемлют бесплотным богам...  
Будем мы там пировать в гостях у луны величавой,  
рядом, на черной скале... Дия, мой бледный цветок...

19 января 1923  
Берлин

## LAWN-TENNIS<sup>1</sup>

Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан;  
ворот небрежно раскрыт, правый отвернут рукав.  
Встал он, на гладком лугу, за черту, проведенную мелом,  
голову поднял с улыбкой, мяч серебристый подкинул,—  
выгнувшись, плавно взмахнул многострунной широкой лаптою —  
миг,— и со звуком тугим мяч отлетает и бледной  
молнией падает там, где стоит, ожидая, такой же  
юноша, белый и легкий; миг, --- и со звуком ответным  
мяч возвращается вновь через сетку, чуть вздутую ветром.  
Мягкие синие тени бегут по траве озаренной.  
Поодаль зыблется вяз. На ступени, у двери стеклянной,  
лоснится лейка забытая. Дышат, блестят занавески.  
В доме прохладно и пусто, а тут, на упругой поляне,  
гонится ветер за солнцем, и будет до вечера длиться  
легких мячей перезвон,— юности белой игра...

10 декабря 1920

---

<sup>1</sup> Теннис (англ.).

## БАБОЧКА

(*Vanessa antiopa*)

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,  
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой  
сладостно светится ряд васильково-лазоревого зерен  
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.  
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,  
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...  
О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:  
голубокая ночь в раме двух палевых зорь.  
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!  
Трепет, и смех, и любовь юности вечной моей.  
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,  
крылья узнаю твои, этот священный узор.

1917—1922

## ВЕЛОСИПЕДИСТ

Мне снились полевые дали,  
дороги белой полоса,  
руль низкий, быстрые педали,  
два серебристых колеса.

Восторг мне снился буйно-юный,  
и упоенье быстроты,  
и меж столбов стальные струны,  
и тень стремительной версты.

Поля, поля, и над равниной  
ворона тяжело летит.  
Под узкой и упругой шиной  
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.  
Сирень цветущая вокруг  
избушек серых. Слева, справа  
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,  
тот кличет тонким голоском,  
и звонко собачонка лает,  
вертясь пред зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет  
над ними чистый небосвод.  
Я мчусь, и солнце спину греет,  
и вот неожиданно поворот.

Колеса косо пробегают,  
не попадая в колею.  
Деревья шумно обступают.  
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,  
чей вензель вырезан на ней.  
Я мимо, мимо пролетаю,  
и утихает шум ветвей.

30 сентября 1918

\* \* \*

Вдохновенье — это сладострастье  
человеческого «я»:  
жарко возрастающее счастье,—  
миг небытия.

Сладострастье — это вдохновенье  
тела, чуткого, как дух:  
ты прозрел, ты вспыхнул на мгновенье,—  
в трепете потух.

Но когда услада грозовая  
пронеслась, и ты затих,—  
в тайнике возникла жизнь живая:  
сердце или стих...

Cologne



Обезьяну в сарафане  
как-то ряженный привел;  
вперевалку подбежала,  
мягко вспрыгнула на стол.

Села (бисерные глазки,  
гнусно выпученный рот...) —  
с человеческой ужимкой  
книгу чудище берет,

книгу песен, книгу неги...  
А она-то лапой хватя! —  
вмиг обнюхала страницы  
и давай их вырывать!

Пальцы рыжие топырит;  
молчаливо, с быстротой  
деловитою, кромсает  
сердце книги золотой...

\* \* \*

Карлик безрукий во фраке,  
глупый, неловкий пингвин,  
помнишь сиянье во мраке,  
синие выступы льдин?

Помнишь зарницы ночные,  
кольца и складки огня?  
Помнишь туманы седые  
длинного, длинного дня?

Грустная птица, смешная,  
глядя на нас, на людей,  
плачешь ли ты, вспоминая  
ласковых черных моржей?

Помнишь ли птицу-подругу,  
встречи на высшей скале,  
вьюгу, волшебную вьюгу,  
снежные вихри во мгле...

Ах, эти встречи! А ныне:  
душный, искусственный грот,  
имя твое по-латыни,  
пятиалтынный за вход...

Сентябрь 1917

## ИТАЛЬЯНКЕ

К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле,  
душа моя плывет в зазубристой гондоле;  
осталось горе за кормой.  
Я рад, что до конца молчали мы упрямо,  
что в пышный, страшный сад не вышли мы из храма  
любви глубокой и немой:  
на каменных устах прекрасного былого  
улыбкою горит несказанное слово,  
невоплощенная мечта,—  
как световой двойник стоцветной, вечной зыби,  
дрожащий, над водой, на внутреннем изгибе  
венецианского моста...

## НА ГОЛГОФЕ

Восходит благовоние сырое  
со дна долин, и в небе, над холмом,  
на трех крестах во мгле белеют трое...  
Там женщина, в унынии немом,  
на среднюю, на черную вершину  
глядит, глядит... Провидеть ей дано,  
что в горький час ее земному сыну  
всего живей вспомнилось одно...

Да,— с умилением сладостным и острым  
(колени сжав, лицо склонив во мглу...),  
он вспомнил домик в переулке пестром,  
и голубей, и стружки на полу.

\* \* \*

Блаженство мое, облака и блестящие воды  
и все, что пригоршнями Бог мне дает!  
Волнуясь, душа погружается в душу природы,  
и розою рдеет, и птицей поет!

Купаюсь я в красках и звуках земли многоликой,  
все яркое, стройное жадно любя.  
Впитал я сиянье, омылся в лазури великой,  
и вот, сладость мира, я славлю тебя!

Я чувствую брызги и музыку влаги студеной,  
когда я под звездами в поле стою,  
и в капле медвяной, в росинке прозрачно-зеленой  
я Бога, и мир, и себя узнаю.

Заря ли, смеясь, восстает из смятенья цветного,  
я к голой груди прижимаю ее...  
Я — в яблоке пьяная моль, и мне рая иного  
не надо, не надо, блаженство мое!

\* \* \*

Я без слез не могу  
тебя видеть, весна.  
Вот стою на лугу,  
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,  
зеленея, шурша...  
Ах, откуда она,  
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму,  
только знаю одно:  
если б иволга вдруг  
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза  
мокрый ландыш блеснул —  
в этот миг, на лугу,  
я бы умер, весна...

1920

## ДОМОЙ

На мызу, милые! Ямщик  
вожжою овода прогонит,  
и — с Богом! Жаворонок тонет  
в звенящем небе, и велик,  
и свеж, и светел мир, омытый  
недавним ливнем: благодать,  
благоуханье. Что гадать?  
Все ясно, ясно; мне открыты  
все тайны счастья, вот оно:  
сырой дороги блеск лиловый,  
по сторонам то куст ольховый,  
то ива, бледное пятно  
усадыбы дальней, рощи, нивы,  
среди колосьев васильки,  
зеленый склон, изгиб ленивый  
знакомой тинистой реки.  
Скорее, милые! Рокочет  
мост под копытами. Скорей!  
И сердце бьется, сердце хочет  
взлететь и перегнать коней.  
О, звуки, полные былого!  
Мои деревья, ветер мой,  
и слезы чудные, и слово  
непостижимое: домой!

1917—1922

## БЕРЕЗЫ

Стволы сквозь легкое зеленое сиянье  
белеют, тонкие, и воздух освежен  
грозой промчавшейся. Чуть слышный перезвон  
дробится надо мной, чуть слышное журчанье,  
и по невидимым качается волнам.  
Трава вся в теневых лиловых паутинах,  
вся в ослепительных извилинах, а там,  
меж светлых облаков, роскошно лебединых,  
струится радуга и смутно с высоты  
мне улыбается, в лазури нежной тая,  
такая нежная, невинная, святая,  
что умиленные склоняются листья,  
роняя длинные сверкающие слезы,—  
и это жизнь моя, и это край родной,  
родная красота... и льется надо мной  
сиянье легкое, зеленое,— березы...

## ПОЭТЫ

Что ж! В годы грохота и смрада,  
еще иссякнуть не успев,  
журчит, о бледная отрада,  
наш замирающий напев...  
И, слабый, ласковый, ненужный,  
он веет тонкою тоской,  
как трепет бабочки жемчужной  
в окне трескучей мастерской.

Так беспощаден гул окрестный,  
людей так грубы города,  
нам так невесело и тесно,—  
что мы уходим навсегда...  
И, горько сжав сухие губы,  
глядим мы, падшие цари,  
как черные дымятся трубы  
среди перьев розовой зари.

15 июля 1919

## BIOLOGY<sup>1</sup>

Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни  
все — красота. Искромсав осторожно липовый листик,  
винт золотой верчу, пока не наметятся ясно  
в круглом белом просвете святые зеленые соты;  
или же сердцем живым распятой лягушки люблюсь:  
сладостно рдеет оно, будто спелая, липкая вишня.  
Режу, дроблю, вникаю, вижу сокрытые мышцы,  
ветви несметных жил, и, что вижу, мелкими цветными  
четко черчу на доске.

Сверкают стекла, невнятно  
пахнет эфиром и прелью в комнате длинной и светлой.  
Радостен тонкий труд, и радостно думать, что дома  
ждет меня томик стихов и музой набитая трубка.

Cambridge

---

<sup>1</sup> Биология (англ.).

Если ветер судьбы, ради шутки,  
дохнув, забросит меня  
в тот город, желанный и жуткий,  
где ты вянешь день ото дня,

и если на улице яркой  
иль в гостях, у новых друзей,  
иль там, у дворца, под аркой,  
среди лунных круглых теней,

мы встретимся вновь,— о, Боже,  
как мы будем плакать тогда  
о том, что мы стали несхожи  
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,  
о великой ее мечте,  
о том, что дома на Мильонной  
на вид уж совсем не те.

## ХУДОЖНИК-НИЩИЙ

Нередко на углу, под серую стеной,  
видал я нищего: безногий и больной,  
он в красках выражал свой замысел нехитрый.  
Газетный лоскуток служил ему палитрой,  
его дрожащая багровая рука  
писала тщательно цветы и облака  
на плитах каменных. Вот кончил. Робким взглядом  
прохожего зовет, сутулится, а рядом  
мечтает о гроше зияющий картуз.

И вспомнил я свой дар, ненужных светлых муз,  
недолговечные созвучья и виденья,—  
когда на улице, средь гула и движенья  
бесчувственных колес, не встретил я вчера  
калеки моего... Да что! Как из ведра  
бездонного, лил дождь, и каменные плиты  
блестели холодно, и краски были смыты...

## ОБЛАКА

### 1

На солнце золотом сияет дождь летучий,  
озера в небесах синеют горячо,  
и туча белая из-за лиловой тучи  
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись. Роняют слезы рая  
соцветья вешние, склонясь через плетень,  
и на твоём лице играет их сырая,  
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи. Тень эту голубую  
я поцелуями любовно обогну.  
Цветы колышутся... я счастлив. Я целую  
запечатленную весну.

### 2

Закатные люблю я облака:  
над ровными далекими лугами  
они висят гроздистыми венками,  
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,  
овеяна безвестными веками:  
с кудрявыми багряными богами  
я рядом плыл в те вольные века.

Я облаком в вечерний чистый час  
вставал, пылал, туманился и гас,  
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.

Я облетал все зримое кругом,  
блаженствовал и, помню, был влеком  
жемчужной тенью, женственной тучей.

1921  
Берлин

## ПИР

Так лучезарна жизнь, и радостей так много.  
От неба звездного чуть слышный веет звон:  
бесчисленных гостей полны чертоги Бога,  
в один из них я приглашен.

Как нищий, я пришел, но дали мне у двери  
одежды светлые, и распахнулся мир:  
со стен расписанных глядят цветы и звери,  
и звучен многолюдный пир.

Сижу я и дивлюсь... По временам бесшумно  
дверь открывается в мерцающую тьму.  
Порою хмурится сосед мой неразумный,  
а я — я радуюсь всему:

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,  
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;  
и часто на меня со светлым, тихим смехом  
хозяин смотрит через стол.

22 мая 1921

## БЕЛЫЙ РАЙ

Рай — широкая, пустая  
оснеженная страна:  
призрак неба голубого,  
тишь и белизна...

Там над озером пушистым,  
сладким холодом дыша,  
светит леса молодого  
белая душа...

Там блаженствовать я буду  
в блеске сети ледяной,  
пробираться, опьяненный  
вечной белизной,

и, стрелюю из-под веток  
вылетая на простор,  
на лучистых, легких лыжах  
реять с белых гор.

## КОНИ

Гнедые, грузные, по зелени сырой  
весенней пажити, под тусклыми дубами,  
они чуть двигались и мягкими губами  
вбирали сочные былинки, и зарей,  
вечернею зарей полнеба розовело.

И показалось мне, что время обмертвело,  
что вечно предо мной стояли эти три  
чудовищных коня, и медные отливы  
на гривах медлили, и были молчаливы  
дубы священные под крыльями зари.

1917—1922

## ЗЕРКАЛО

Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной,  
будто святыню везли. Туча белелась на миг  
в синем глубоком стекле, и по сини порою мелькала  
ласточка черной стрелой... Было так чисто оно,  
так чисто, что самые звуки, казалось, могли отразиться.  
Мимо меня провезли этот осколок живой  
вешнего неба, и там, на изгибе улицы дальнем,  
солнце нырнуло в него: видел я огненный всплеск.

О, мое сердце прозрачное, так ведь и ты отражало  
в дивные давние дни солнце, и тучи, и птиц!  
Зеркало ныне висит в сенях гостиницы пестрой;  
люди проходят, спешат, смотрятся мельком в него.

30 января 1919

## НОЧЬ

Как только лунные протянутся лучи,  
всплывает музыка в аллее...  
О, серебристая, катись и рокочи  
все вдохновенней, все полнее!..

Порхает до зари незримая рука  
по клавишам теней и света  
и замедляется, ленива и легка...  
Последний звук,— и ночь допета...

# LA BELLE DAME SANS MERCI<sup>1</sup>

(Из John Keats<sup>2</sup>)

«Ах, что мучит тебя, горемыка,  
что ты, бледный, скитаешься тут?  
Озерная поблекла осока,  
и птицы совсем не поют.

Ах, что мучит тебя, горемыка,  
какою тоской ты сожжен?  
Запаслась уже на зиму белка,  
и по житницам хлеб развезен.

На челе твоём млеет лилея,  
томима росой огневой,  
на щеке твоей вижу я розу,  
розу бледную, цвет неживой...»

Шла полем Прекрасная Дама,  
чародейки неведомой дочь:  
змеи — локоны, легкая поступь,  
а в очах — одинокая ночь.

На коня моего незнакомку  
посадил я, и, день заслоня,  
она с чародейною песней  
ко мне наклонялась с коня.

Я сплел ей запястья и пояс,  
и венки из цветов полевых,  
и ласкалась она, и стонала  
так нежно в объятьях моих.

Находила мне сладкие зелья,  
мед пчелиный и мед на цветке,  
и, казалось, в любви уверяла  
на странном своем языке.

---

<sup>1</sup> Безжалостная Прекрасная Дама (фр.).

<sup>2</sup> Джон Китс (1796—1821) — английский поэт.

И, вздыхая, меня увлекала  
в свой приют между сказочных скал,  
и там ее скорбные очи  
поцелуями я закрывал.

И мы рядом на мху засыпали,  
и мне сон померещился там...  
Горе, горе! С тех пор я бессонно  
брожу по холодным холмам;

королевичей, витязей бледных  
я увидел, и, вечно скорбя,  
все кричали: Прекрасная Дама  
без любви залучила тебя.

И алканье они предрекали,  
и зияли уста их во тьме,  
и я, содрогаясь, очнулся  
на этом холодном холме.

Потому-то, унылый и бледный,  
одиноко скитаюсь я тут,  
хоть поблекла сырая осока  
и птицы давно не поют.

## ПЬЯНЫЙ РЫЦАРЬ

С тонким псом и смуглым кубком  
жарко-рдяного вина,  
ночью лунной, в замке деда  
я загрезил у окна.

В длинном платье изумрудном,  
вдоль дубравы, на коне  
в серых яблоках, ты плавно  
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,  
вывел лучшего коня,  
рыскал, рыскал по дубраве,  
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,  
что под трефовой листвою  
жемчужовые подковы,  
оброненные луной.

1917—1922

\* \* \*

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,  
и вижу белую кувшинку на реке,  
и реющих стрижей, и в сломанной купальне  
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда  
пускались странствовать по шепчущим лесам,  
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,  
блистая по листьям.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих,  
мы в ивовом кусте отыскивали с ней  
то лаковых жучков, то гусениц, похожих  
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,  
и всем березонькам давали имена,  
и младшую из них мы назвали: Мария  
святая Белизна.

О Боже! Я готов за вечными стенами  
неисчислимыя страданья воспринять,  
но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами  
хоть миг, да постоять.

1917—1922

## ПЕРО

Зелененьким юрким внучатам  
наказывал леший в бору:  
«По черным ветвям, по зубчатым,  
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешенечки,  
и клетку из лунных лучей  
возьмите у ключницы-ночки,  
да так, чтоб не видел Кощей.

Далече от чащи брусничной  
умчите добычу свою,  
найдете вы домик кирпичный  
в заморском, туманном краю.

Оставьте ее на пороге:  
там кроткий изгнанник живет,  
любил он лесные дороги  
и вольный зеленый народ».

Там дедушка-леший на ели  
шушукал, и вот ввечеру,  
как струны, стволы зазвенели,  
и что-то мелькнуло в бору.

Маячило, билось, блестело.  
Заохал, нахохлился дед...  
Родимые, знать, улетела  
жар-птица из пестрых тенет.

Но утром, как пламя живое,  
на пыльном пороге моем  
лежало перо огневое  
с цветным удлинненным глазком.

Ну что ж, и за этот подарок  
спасибо, лесные друзья.  
Я беден, и день мой неярок,  
и как же обрадован я.

7 июня 1921  
Кембридж

\* \* \*

Мы столпились в туманной церковенке,  
вспоминали, молились и плакали,  
как нечаянно двери бесшумные  
распахнулись, и тенью лазоревой  
ты вошла, о весна милосердная!  
Разогнулись колена покорные,  
прояснились глаза углубленные...  
Что за чудо случилось отрадное!

Заливаются птицы на клиросе,  
плещут воды живые под сводами,  
вдоль по ризам колеблются радуги,  
и не свечи мы держим, а ландыши,  
влажной зеленью веет — не ладаном,  
и, расставя ладони лучистые,  
окруженная сумраком радостным,  
на иконе Весна улыбается.

\* \* \*

**Моей матери**

Людам ты скажешь: настало!  
Завтра я в путь соберусь...  
(Голуби. Двор постоянный.  
Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома!  
(Кладбище. Мост. Поворот.)  
Будет старик незнакомый —  
вместо дубка, у ворот...

3 мая 1920

## РУСЬ

Пока в тумане странных дней  
еще грядущего не видно,  
пока здесь говорят о ней  
красноречиво и обидно —

сторонкой, молча проберусь  
и, уповая неизменно,  
мою неведомую Русь  
пойду отыскивать смиренно, —

по черным сказочным лесам,  
вдоль рек да по болотам сонным,  
по темным пашням, к небесам  
бесплодной грудью обращенным.

Так побываю я везде,  
в деревню каждую войду я...  
Где ж цель заветная, о, где —  
непостижимую — найду я?

В лесу ли — сумраком глухим  
сырого ельника сокрытой —  
нагой, разбойником лихим  
поруганною и убитой?

Иль поутру, в селе пустом,  
о, жданная! — пройдешь ты мимо,  
с улыбкой на лице простом  
задумчиво-неуловимой?

Или старушкой станешь ты  
и в голубой струе кадильной,  
кладя дрожащие кресты,  
к иконе припадешь бессильно?

Где ж просияет берег мой?  
В чем угадаю лик любимый?  
Русь! иль во мне, в душе самой  
уж расцветаешь ты незримо?

## ЖИЗНЬ

Шла мимо Жизнь, но ни лохмотий,  
ни ран ее, ни пыльных ног  
не видел я... Как бы в дремоте,  
как бы сквозь душу звездной ночи,—  
одно я только видеть мог:  
ее ликующие очи  
и губы, шепчущие: Бог!

**ГРОЗДЬ**

**Посвящается памяти  
моего отца**

## 1. ГРОЗДЬ

\* \* \*

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!  
Как тесно яблоки висят!  
Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,  
стекая в сад.

И, сонный, сладостный, в аллеях лепет слышен:  
то словно каплет на песок  
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен  
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают,  
на листьях солнечный отлив...  
Деревья спят, и осы не слетают  
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?  
Кто вертограда господин?  
В тени аллей, один, лилейно-белый,  
живет павлин.

1922

\* \* \*

Придавлен душною дремотой,  
я задышался в черном сне.  
Как птица, вздрагивало что-то  
непостижимое во мне.

И возжелал я в буйном блеске  
свободно взмыть,— и в сердце был  
тяжелый шорох, угол резкий  
каких-то исполинских крыл.

И жизнь мучительно и чудно  
вся напряглась и не могла  
освободить их трепет трудный —  
крутые распахнуть крыла.

Как будто каменная сила —  
неизмеримая ладонь —  
с холодным хрустом придавила  
их тяжкий шелковый огонь.

Ах, если б звучно их раскинуть,  
исконный камень превозмочь,  
громаду черную содвинуть,  
прорвать глухонемую ночь,—

с каким бы громом я воспрянул,  
огромен, светел и могуч!  
Какой бы гром в ответ мне грянул  
из глубины багряных туч!

\* \* \*

Есть в одиночестве свобода,  
и сладость — в вымыслах благих.  
Звезду, снежинку, каплю меда  
я заключаю в стих.

И, еженочно умирая,  
я рад воскреснуть в должный час,  
и новый день — росинка рая,  
а прошлый день — алмаз.

\* \* \*

Из блеска в тень и в блеск из тени  
с лазурных скал ручьи текли,  
в бреду извилистых растений  
овраги вешние цвели.

И в утро мира это было:  
дикарь, еще полунемой,  
с душой прозревшей, но бескрылой,—  
косматый, легкий и прямой,—

заметил, взмахивая луком,  
при взлете горного орла,  
с каким густым и сладким звуком  
освобождается стрела.

Забыв и шелесты оленьи,  
и тигра бархат огневой,—  
он шел, в блаженном удивленьи  
играя звучной тетивой.

Ее притягивал он резко  
и с восклицаньем отпускал.  
Из тени в блеск и в тень из блеска  
ручьи текли с лазурных скал.

Янтарной жилы звон упругий  
напоминал его душе  
призывный смех чужой подруги  
в чужом далеком шалаше.

\* \* \*

Я на море гляжу из мраморного храма:  
в просветах меж колонн, так сочно, так упрямо  
бьет в очи этот блеск, до боли голубой.  
Там благовония, там — звоны, там — прибой,  
а тут, на высоте, — одна молитва линий  
стремительно простых; там словно шелк павлиний,  
тут целомудренность бессмертной белизны.  
О, муза, будь строга! Из храма, с вышины, —  
гляжу на вырезы лазури беспокойной, —  
и вот восходит стих, мой стих нагой и стройный,  
и наполняется прохладой и огнем,  
и возвышается, как мраморный, и в нем  
сквозят моей души тревоги и отрады,  
как жаркая лазурь в просветах колоннады.



Туман ночного сна, налет истомы пыльной  
смываю мягко-золотой,  
тяжелой губкою, набухшей пеной мыльной  
благоуханной и густой.

Голубоватая, в купальне млечно-белой,  
вода струит чуть зримый пар,  
и благодарное я погружаю тело  
в ее глухой и нежный жар.

А после, наслаждаясь той лаской шелковистой,  
люблю я влагой ледяной  
лопатки окатить... Мгновенье — и пушистой  
я обвиваюсь простыней.

Чуть кожа высохла, — прохлада легкой ткани  
спадает на плечи, шурша...  
Для песен, для борьбы, для сказочных исканий  
готовы тело и душа.

Так мелочь каждую — мы, дети и поэты,  
умеем в чудо превратить,  
в обычном райские угадывать приметы  
и что ни тронем, — расцветить...

\* \* \*

На черный бархат лист кленовый  
я, как святыню, положил:  
лист золотой с пыльцой пунцовой  
между лиловых тонких жил.

И с ним же рядом, неизбежно,  
старинный стих — его двойник,  
простой, и радужный, и нежный,  
в душевном сумраке возник;

и все нежнее, все смиренней  
он лепетал, полутаясь,  
но слушал только лист осенний,  
на черном бархате светясь...

\* \* \*

Нас мало — юных, окрыленных,  
не задохнувшихся в пыли,  
еще простых, еще влюбленных  
в улыбку детскую земли.

Мы только шорох в старых парках,  
мы только птицы, мы живем  
в очарованьи пятен ярких,  
в чередованьи звуковом.

Мы только мутный цвет миндальный,  
мы только первопутный снег,  
оттенок тонкий, отзвук дальний,—  
но мы пришли в злоеший век.

Навис он, грубый и огромный,  
но что нам гром его тревог?  
Мы целомудренно бездомны,  
и с нами звезды, ветер, Бог.

\* \* \*

На годовщину смерти  
Достоевского

Садом шел Христос с учениками...  
Меж кустов, на солнечном песке,  
вытканном павлиньими глазками,  
песий труп лежал невдалеке.

И резцы белели из-под черной  
складки, и зловонным торжеством  
смерти заглушен был ладан сладкий  
теплых миртов, млеющих кругом.

Труп гниющий, трескаясь, раздулся,  
полный склизких, слипшихся червей...  
Иоанн, как дева, отвернулся,  
сгорбленный поморщился Матфей...

Говорил апостолу апостол:  
«Злой был пес, и смерть его нага,  
мерзостна...»

Христос же молвил просто:  
«Зубы у него — как жемчуга...»

## НА СМЕРТЬ А. БЛОКА

### I

За туманами плыли туманы,  
за луной расцветала луна...  
Воспевал он лазурные страны,  
где поет неземная весна.

И в туманах Прекрасная Дама  
проплывала, звала вдалеке,  
словно звон отдаленного храма,  
словно лунная зыбь на реке.

Узнавал он ее в трепетанье  
розоватых вечерних теней  
и в метелях, смятенье, молчанье  
чародейной отчизны своей.

Он любил ее гордо и нежно,  
к ней тянулся он, строен и строг,—  
но ладони ее белоснежной  
бледный рыцарь коснуться не мог...

Слишком сумрачна, слишком коварна  
одичалая стала земля,  
и, склонившись на щит лучезарный,  
оглянул он пустые поля.

И обманут мечтой несказанной  
и холодною мглой окружен,  
он растаял, как месяц туманный,  
как далекий молитвенный звон...

### II

Пушкин — радуга по всей земле,  
Лермонтов — путь млечный над горами,  
Тютчев — ключ, струящийся во мгле,  
Фет — румяный луч во храме.

Все они, уплывшие от нас  
в рай, благоухающий широко,  
собрались, чтоб встретить в должный час  
душу Александра Блока.

Выйдет он из спутанных цветов,  
из ладьи, на белые ступени...  
Подойдут божественных певцов  
взволновавшиеся тени.

Пушкин — выпуклый и пышный свет,  
Лермонтов — в венке из звезд прекрасных,  
Тютчев — веющий росой, и Фет,  
в ризе тонкой, в розах красных.

Подойдут с приветствием к нему,  
возликуют, брата принимая  
в мягкую цветную полутьму  
вечно дышащего мая.

И войдет таинственный их брат,  
перешедший вьюги и трясины,  
в те сады, где в зелени стоят  
Серафимы, как павлины.

Сядет он в тени ветвей живых,  
в трепетно-лазоревых одеждах,  
запоет о сбывшихся святых  
сновиденьях и надеждах.

И о солнце Пушкин запоет,  
Лермонтов — о звездах над горами,  
Тютчев — о сверканьи звонких вод,  
Фет — о розах в вечном храме.

И средь них прославит жданный друг  
ширь весны нездешней, безмятежной,  
и такой прольется свет вокруг,  
будут петь они так нежно,

так безмерно нежно, что и мы,  
в эти годы горестей и гнева,  
может быть, услышим из тюрьмы  
отзвук тайный их напева.

\* \* \*

И. А. Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист.  
Алмазный стих наполнен райским медом.  
Ты любишь мир и юный месяц, лист,  
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов  
лиловый лоск на дне сухой ложбины.  
Ты любишь нежный шелест голубиный  
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный  
и жгучий стих один горит, один  
над маревом губительных годин,  
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росую ледяной  
и янтарями благовоний знойных,  
и нагота твоих созвучий стройных  
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,  
кощунственном, но светит все ясней  
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом  
не согрешу пред музою твоей.

1920

## II. ТЫ

\* \* \*

Когда, туманные, мы свиделись впервые,  
когда задумчиво вернулся я домой,  
мне все мерещились глаза твои живые  
сквозь дымку чуждости. Я заперся в немой  
и светлой мастерской, моих видений полной,  
где в солнечной пыли белеет бог безмолвный,  
где музу радуют два бронзовых борца,  
их мышцы вздутые, лоснящиеся спины,  
и в глыбе голубой сырой и нежной глины  
я призрак твоего склоненного лица  
руками чуткими по памяти наметил:  
но за туманами еще таилась ты,  
и сущности твоей тончайшие черты  
в тот день я не нашел. И вновь тебя я встретил,  
и вновь среди тишины высокой мастерской,  
забыв наружный мир, с восторгом и тоской,  
я жадно стал творить, и вновь прервал работу...  
Чредой сияли дни, чредой их позолоту  
смывала мгла ночей. Я грезил и ваял,  
и приходил к тебе, простые слышал речи,  
глубокий видел взор, и после каждой встречи  
чертою новою, волшебной наполнял  
несовершенное твое изображение.  
Порой казалось мне, что кончен тонкий труд,  
что под рукой моей твои уста поют,  
что я запечатлел живое выраженье,  
все тени, все лучи любимого лица...  
но, встретившись с тобой, я чувствовал, как много  
еще не найдено, как смутно, как убого  
подобие твое... Далече до конца,  
но будет, будет час, когда я, торжествуя,  
нас разделявшую откину кисею,  
сверкнет твоя душа, и Счастьем назову я  
работу лучшую, чистейшую мою.

\* \* \*

Мечтал я о тебе так часто, так давно,  
за много лет до нашей встречи,  
когда сидел один, и кралась ночь в окно,  
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,  
о неге роз и море мгlistом  
я перелистывал — и чуял образ твой  
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,  
мне в этот миг волшебно-звонкий  
казались жалкими, как мошки, что ползли  
в янтарном блеске по клеенке...

Я звал тебя. Я ждал. Шли годы, я бродил  
по склонам жизни каменистым  
и в горькие часы твой образ находил  
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,  
и вспоминаю суеверно,  
как те глубокие созвучья — зеркала  
тебя предсказывали верно.

## СОНЕТ

Весенний лес мне чудится... Пстой,  
прислушайся... На свой язык певучий  
переведу я тысячи созвучий,  
что плещут там под зеленью святой.

И ты поймешь, и слух прозрачный твой  
все различит: и солнца смех летучий,  
и в небе вздох блестящей легкой тучи,  
и песню пчел над шепчущей травой.

И ты войдешь тропинкою пятнистой  
туда, в мой лес, и нежный и тенистый,  
где сердце есть у каждого листка,

туда, где нет ни жалоб, ни желаний,  
где азбуке душистой ветерка  
учился я у ландыша и лани.

\* \* \*

Позволь мечтать. Ты первое страданье  
и счастье последнее мое,  
я чувствую движенье и дыханье  
твоей души... Я чувствую ее,  
как дальнее и трепетное пенье...  
позволь мечтать, о, чистая струна,  
позволь рыдать и верить в упоенье,  
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

\* \* \*

Ее душа, как свет необычайный,  
как белый блеск за дивными дверьми,  
меня влечет. Войди, художник тайный,  
и кисть возьми.

Изобрази цветную вереницу  
волшебных птиц, огнисто распиши  
всю белую, безмолвную светлицу  
ее души.

Возьми на кисть росинки с розы чайной  
и красный сок раскрывшейся зари.  
Войди, любовь, войди, художник тайный,  
мечтай, твори.

\* \* \*

Когда захочешь, я уйду,  
утрату сладостно прославию,—  
но в зацветающем саду,  
во мгле пруда тебе оставлю  
одну бесценную звезду.

Заглянешь ты в зеркальный пруд  
и тронешь влагу, и движенья  
беспечных рук звезду вспугнут,  
но зыбь утихнет, отраженье  
вернется вновь, шепнет: я тут...

Ты кинешь камешек, и вновь  
зыбь круговая гладь встревожит.  
О, нет, звезде не прекословь,  
растаять в сумраке не может  
мой лучший луч, моя любовь...

Над влагой душу наклоня,  
так незаметно ты привыкнешь  
к кольцу тончайшего огня;  
и вдруг поймешь, и тихо вскрикнешь,  
и тихо позовешь меня...

\* \* \*

О, светлый голос, чуть печальный,  
слышал я прежде отзвук твой,  
пугливый, ласково-хрустальный,  
в тени под влажною листвою  
и в старом доме, в перезвоне  
подвесок-искорок... Звени,  
и будут ночи, будут дни  
полны видений, благовоний;  
забуду ветер для тебя,  
игравший в роще белоствольной,  
навек забуду ветер вольный,  
твой лепет сладостный любя...  
Очарованье звуковое,  
не умолкай, звени, звени.  
Я вижу прошлое живое,  
между деревьями огни  
в усадьбе прадеда, и окна  
открыты настежь, и скользят,  
как бы шелковые волокна,  
цветные звуки в темный сад,  
стекая с клавишей блестящих  
под чьей-то плещущей рукой  
и умолкая за рекой,  
в полях росистых, в синих чашах.

\* \* \*

Все окна открыв, опустив занавески,  
ты в зале роялю сказала: живи!  
Как легкие крылья во мраке и блеске,  
задвигались руки твои.

Под левой — мольба зазвенела несмело,  
под правую — отклик волнисто возник,  
за клавишем клавиш, то черный, то белый,  
звения, погружался на миг.

В откинутой крышке отливы лоснились,  
и руки твои, отраженные там,  
как бледные бабочки, плавно носились  
по черным и белым цветам.

И звуки холмились во мраке и в блеске,  
и ропот взбирался, и шепот сбегал,  
и ветер ночной раздувал занавески  
и звездное небо впускал.

\* \* \*

В полнолуние, в гостиной пыльной и пышной,  
где рояль уснул средь узорных теней,  
опустив ресницы, ты вышла неслышно  
из оливковой рамы своей.

В этом доме ветхом, давно опустелом,  
над лазурным креслом, на светлой стене  
между зеркалом круглым и шкапом белым,  
улыбалась ты некогда мне.

И блестящие клавиши пели ярко,  
и на солнце глубокий вспыхивал пол,  
и в окне, на еловой опушке парка,  
серебрился березовый ствол.

И потом не забыл я веселых комнат,  
и в сиянье ночи, и в сумраке дня,  
на чужбине я чуял, что кто-то помнит,  
и спасет, и утешит меня.

И теперь ты вышла из рамы старинной,  
из усадьбы любимой, и в час тоски  
я увидел вновь платя вырез невинный,  
на девичьих висках завитки.

И улыбка твоя мне давно знакома  
и знаком изгиб этих тонких бровей,  
и с тобою пришло из родного дома  
много милых, душистых теней.—

Из родного дома, где легкие льдинки  
чуть блестят под люстрой, и льется в окно  
голубая ночь, и страница из Глинки  
на рояле белеет давно...

\* \* \*

О, любовь, ты светла и крылата,—  
но я в блеске твоём не забыл,  
что в пруду неизвестном когда-то  
я простым головастиком был.

Я на первой странице творенья  
только маленькой был запятой,—  
но уже я любил отраженья  
в полнолуны и день золотой.

И, дивясь темно-синим стрекозкам,  
я играл, и нырял, и всплывал,  
отливал гуттаперчевым лоском  
и мерцающий хвостик свивал.

В том пруду изумрудно-узорном,  
где змеились лучи в темноте,  
где кружился я живчиком черным,—  
ты сияла на плоском листе.

О, любовь. Я за тайной твоею  
возвращаюсь по лестнице лет...  
В добрый час водяную лилею  
полюбил головастик-поэт.

## ГЛАЗА

Под тонкою луной, в стране далекой, древней,  
так говорил поэт смеющейся царевне:

Напев сквозных цикад умрет в листве олив,  
погаснут светляки на гиацинтах смятых,  
но сладостный разрез твоих продолговатых  
атласно-темных глаз, их ласка, и отлив  
чуть сизый на белке, и блеск на нижней веке,  
и складки нежные над верхнею,— навеки  
останутся в моих сияющих стихах,  
и людям будет мил твой длинный взор счастливый,  
пока есть на земле цикады и оливы  
и влажный гиацинт в алмазных светляках.

Так говорил поэт смеющейся царевне  
под тонкою луной, в стране далекой, древней...

\* \* \*

Пускай все горестней и глуше  
уходит мир в стальные сны...  
Мы здесь одни, и наши души  
одной весной убелены.

И вместе, вместе, и навеки,  
построим мир — незримый, наш;  
я в нем создал леса и реки,  
ты звезды и цветы создашь.

И в этот век огня и гнева  
мы будем жить в веках иных —  
в прохладах моего напева,  
в долинах ландышей твоих.

И только внуки наших внуков —  
мой стих весенний полюбя —  
сквозь тень и свет воздушных звуков  
увидят — белую — тебя...

### III. УШЕДШЕЕ

#### ПАСХА

Я вижу облако сияющее, крышу  
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,  
как дышит тень и каплет свет...  
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня  
сияет влажный мир, грядет весна Господня,  
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,  
но если перезвон и золото капли —  
не ослепительная ложь,  
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,  
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,  
ты в этом блеске, ты живешь!..

1922

\* \* \*

Молчи, не вспенивай души,  
не расточай свои печали,—  
чтоб слезы душу расцветали  
в ненарушаемой тиши.

Слезу — бесценный самоцвет —  
таи в сокровищнице черной...  
В порыве скорби непокорной  
ты погасил бы тайный свет.

Блаженно-бережно таи  
дар лучезарный, дар страданья,—  
живую радугу, рыданья  
неизречимые твои...

Чтоб в этот час твои уста,  
как бездыханные, молчали...  
Вот — целомудрие печали,  
глубин священных чистота.

## ТРИСТАН

### I

По водам траурным и лунным  
не лебедь легкая плывет,  
плывет ладья и звоном струнным  
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим  
ладью, поющую во сне,  
с увещеваньем шелестящим  
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный  
склонен на блеклые шелка,  
и арфы ледяные струны  
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече  
и не узнают никогда,  
что это плачет и лепечет —  
луна ли, ветер иль вода...

### II

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых  
и спал на ложе изо льда.  
Изольда, золото волос твоих волнистых  
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились;  
другие, легкие, как сны,  
мерцали белизной. Изольда, мы сходились  
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обаграл средь тьмы и аромата,  
и бег лисицы голубой  
я по снегу следил. Изольда, мы когда-то  
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белоглазых,  
пушистых, сморщенных детей.  
В полночных небесах, Изольда, в их алмазах  
ты не прочтешь судьбы моей.

1921

\* \* \*

Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья,  
горящие на дне, в хрустальных тайниках,  
и на заломленных русалочьих руках,  
его я не отдам. Нет глубже упоенья,  
нет сладостней тоски, чем любоваться им  
в те чуткие часы, средь ночи одинокой,  
когда бывает дух ласкаем и язвим  
воспоминаньями о родине далекой...  
и многоцветные мне чудятся года,  
и колокольчики лиловые смеются,  
над полем небеса колеблются и льются,  
и жаворонка звон мерцает, как звезда...  
О, прошлое мое, я сетовать не вправе!  
О, Родина моя, везде со мною ты!  
Есть перстень у меня: крупица красоты,  
росинка русская в потускневшей оправе...

\* \* \*

Я помню только дух сосновый,  
удары дятла, тень и свет...  
Моряк косматый и суровый,  
хожу по водам много лет.

Во мгле выглядываю сушу  
и для кого-то берегу  
татуированную душу  
и бирюзовую серьгу.

В глуши морей, в лазури мрачной,  
в прибрежном дымном кабаке —  
я помню свято звук прозрачный  
цветного дятла в сосняке.

## РОЖДЕСТВО

Мой календарь полуопальный  
пунцовой цифрою зацвел;  
на стекла пальмы и опалы  
мороз колдующий навел.

Перистым вылился узором,  
лучистой выгнулся дугой,  
и мандаринами и бором  
в гостинной пахнет голубой.

23 сентября 1921  
Берлин

## НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

На кладбище солнце, сирень и березки  
и капли дождя на блестящих крестах.  
Местами отлипли сквозные полоски  
и в трубки свернулись на светлых стволах.

Люблю целовать их янтарные раны,  
люблю их стыдливые гладить листки...  
То медом повеет с соседней поляны,  
то тиной потянет с недалней реки.

Прозрачны и влажны зеленые тени.  
Кузнечики тикают. Шепчут кусты,—  
и бледные крестики тихой сирени  
кропят на могилах сырые кресты.

## VIOLA TRICOLOR<sup>1</sup>

Анютины глазки, веселые глазки,  
в угрюмое марево наших пустынь  
глядите вы редко из ласковой сказки,  
из мира забытых святынь...

Анютины глазки... Расплывчато вьется  
по черному бархату мягкий узор,  
лиловый и желтый, и кротко смеется  
цветов целомудренный взор...

Мы к чистой звезде потеряли дорогу,  
мы очень страдали, котомки пусты,  
мы очень устали... Скажите вы Богу,  
скажите об этом, цветы!

Простим ли страданью, найдем ли звезду мы?  
Анютины глазки, молитесь за нас,  
да станут все люди, их чувства и думы,  
немного похожи на вас!

---

<sup>1</sup> Фиалка трехцветная (лат.).

## В ЗВЕРИНЦЕ

Тут не звери, а боги живут!  
Ослепленный любитесь люд  
    павлинами, львами...  
А меня почему-то привлек  
ты, пушистый, ушастый зверек  
    с большими глазами.  
Отыскал тебя в дальних краях  
путешественник в синих очках,  
    в кокосовой шапке  
и, с добычей вернувшись назад,  
написал по-латыни доклад  
    о складке на лапке...  
Ходит, ходит, не видя людей,  
желтый лев за решеткой своей,  
    как маятник медный;  
рядом — белый сияет павлин...  
Кто заметит тебя? Ты один,  
    тушканчик мой бедный!  
И с тоскою великой любви  
я в глаза углубляюсь твои,  
    большие, больные:  
в них вся жалоба жизни моей,  
в них предсмертная кротость детей,  
    страданья родные...

## НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Я помню вечера в начале листопада,  
ночную глубину тоскующего сада,  
где дуба одного листва еще густа,  
и млеет мглистая густая темнота  
под ветками его, и нежные ночницы  
еще к нему летят в лиловый сонный час:  
трепещут в темноте незримые ресницы,  
порхают призраки пушистые...

Для вас,  
ночные бабочки, приманку я готовлю:  
предчувствуя с утра удачливую ловлю,  
я пиво пьяное мешаю пополам  
с согретой патокой, потом прибавлю рому.

И в сад я выхожу к туманам, чудесам,  
и липким золотом я мажу по сырому  
дубовому стволу, и с кисти каплет сок,  
по трещинам ползет, блестящий и пахучий...  
Шафранный шар луны всплывает из-за тучи,  
и дуб, сообщник мой, развесист и высок.  
Впитал он не одно земное сновиденье;  
я жду в лиловой мгле, и он со мною ждет.

И вот, таинственно-внезапно, как паденье  
звезды, задумчиво-беззвучно, как полет  
цветочного пушка,— одна, затем другая  
тень малая скользит, белеясь и мигая:  
рождаются во тьме седые мотыльки.  
На ствол я навожу круг лампочки карманной  
и вижу: пять ночниц вбирают сок дурманной,  
блаженно выпустив витые хоботки  
и крылья серые на розовой подкладке  
подняв, оцепенев,— и вдруг, взмахнув крылом,  
скрываются во мрак — и вновь на запах сладкий  
слетаются легко. Стою перед стволом,  
внимательно слежу наряд их полуявный,  
окраску и узор, и, выбрав мотылька,  
над самую корой я всплескиваю плавно  
белесой кисеей широкого сачка.

Чудесные часы! Восторг воспоминанья!  
Волнуется душа... Латинские названья  
кружатся в голове, а ночь тепла, мутна...  
Висит в набухшей мгле лимон луны огромный.  
Вдали, между ветвей, за клумбами, за темной  
площадкою,— горят в усадьбе три окна.  
Оттуда в должный час меня окликнуть можно,  
сказать, что спать пора, и, выглянув в окно,  
увидеть: черный сад, фонарик осторожный,  
мелькнувшего сачка белесое пятно...

И возвращаюсь я с добычею воздушной:  
еще стучится жизнь о стенки коробка,  
на вату лью эфир, холодный, сладко-душный,  
под грудку я беру малютку мотылька,—  
слабеет, гаснет он,— крылатый человек,  
и в пробковую щель меж липовых дощечек  
поймки бережно я вкалываю в ряд.

Усните, крылышки, глазастые головки,  
тончайшие сяжки!..

Вот пухлый шелкопряд,  
рябой, как палый лист, вот крылья черной совки  
с жемчужной ижицей на жилке узловой,  
вот веер крохотный с бахромкой световой,  
вот кроткий старичок, монашек в темной рясе,  
и вот царевна их, невеста ветерка:  
две ленты бархата на розовом атласе,  
фламинговый пушок на кончике брюшка...

Спасибо, нежные!.. Шли годы за годами,  
вы таяли с теплом и вспыхивали вновь.  
Неизъяснимую я чувствовал любовь,  
мечтательно склонясь над вашими рядами  
в стеклянных ящиках, душистых и сухих,  
как легкие листы больших поблекших библий  
с цветами блеклыми, заложенными в них...  
Не знаю, мотыльки, быть может, вы погибли;  
проникла плесень, моль, подъели червячки,  
сломались крылышки, и лапки, и сяжки,—

иль руки грубые заветный шкаф открыли  
и хрустнуло стекло,— и вы превращены  
в цветную горсточку благоуханной пыли...

Не знаю, нежные, но из чужой страны  
гляжу я в глубину тоскующего сада;  
я помню вечера в начале листопада,  
и дуб мой на лугу, и запах медовой,  
и желтую луну над черными ветвями,—  
и плачу, и лечу, и в сумерки я с вами  
витаю и дышу под ласковой листвой.

## IV. ДВИЖЕНЬЕ

### В ПОЕЗДЕ

Я выехал давно, и вечер неродной  
рдел над равниною нерусской,  
и стихословили колеса подо мной,  
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,  
и, окруженный тряской бездной,  
очнулся я, привстал, и ночь была душна,  
и замедлялся ямб железный!..

По занавескам свет, как призрак, проходил.  
Внимая трепету и тренью  
смолкающих колес;— я раму опустил:  
пахнуло сыростью, сиренью!

Была передо мной вся молодость моя:  
плетень, рябина подле клена,  
чернеющий навес, и мокрая скамья,  
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь  
скамья, кусты, фонарь смиренный...  
Вот хлынула опять чудовищная ночь,  
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,  
толчки глухие, вздох и выдох,  
и жалоба колес, как повесть беглеца  
о прежних тюрьмах и обидах.

На сумрачном вокзале по ночам  
торжественно и пусто, как в соборе,—  
но вот вдали вздохнуло словно море,  
скользнула дрожь по двум стальным лучам,  
бегущим вдаль, сходящимся во мраке,—  
и щелкнули светящиеся знаки,  
и в черной глубине рубин мигнул,  
за ним — полоска янтарей, и гул  
влетел в вокзал, могучий гул чугунный,—  
из бездны бездн, из сердца ночи лунной,  
как бы катясь с уступа на уступ.

Вздохнул и стал: раскрылись две-три двери.  
Вагоны удлиненные под дуб  
окрашены. На матовой фанере  
над окнами ряд смугло-золотых  
французских слов,— как вырезанный стих,  
мою тоску дразнящий тайным зовом...  
За тенью тень скользит по бирюзовым  
прозрачным занавескам. Плотно скрыв  
переходные шаткие площадки,  
чернеют пыльно кожаные складки  
над скрепами вагонов. Весь — порыв  
сосредоточенный, весь — напряженье  
блаженное, весь — жадность, весь — движенье,—  
дрожит живой, огромный паровоз,  
и жарко пар в железных жилах бьется,  
и в черноту по капле масло льется  
с чудовищных лоснящихся колес.

И через миг колеса раскачнулись  
и буферов забухали щиты —  
и пламенисто-плавно потянулись  
в зияющий колодец темноты

вагоны удлиненные... И вскоре  
забыл вокзал их звон и волшебство,  
и стало вновь под сводами его  
торжественно и пусто, как в соборе.

\*\*\*

Как часто, как часто я в поезде скором  
сидел и дивился плывущим просторам  
и льнул ко стеклу холодеющим лбом!..  
И мимо широких рокочущих окон  
свивался и таял за локоном локон  
летучего дыма, и столб за столбом  
проскакивал мимо, порыв прерывая  
взмывающих нитей, и даль полевая  
блаженно вращалась в бреду голубом.

И часто я видел такие закаты,  
что поезд, казалось, взбегает на скаты  
крутых огневых облаков и по ним  
спускается плавно, взвивается снова  
в багряный огонь из огня золотого,—  
и с поездом вместе по кручам цветным  
столбы пролетают в восторге заката,  
и черные струны взмывают крылато,  
и ангелом реет сиреневый дым.

**ИЗ КНИГИ  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА»**

**(1924—1928)**

## ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ

От счастья влюбленному не спится;  
стучат часы, купцу седому снится  
в червонном небе вычерченный кран,  
спускающийся медленно над трюмом;  
мерещится изгнанникам угрюмым  
в цвет юности окрашенный туман.

В волненье повседневности прекрасной,  
где б ни был я, одним я обуян,  
одно зовет и мучит ежечасно:

на освещенном острове стола  
гранёный мрак чернильницы открытой,  
и белый лист, и лампы свет, забытый  
под куполом зеленого стекла.

И поперек листа полупустого  
мое перо, как черная стрела,  
и недописанное слово.

1928  
Берлин

## ТИХИЙ ШУМ

Когда в приморском городке,  
среди ночи пасмурной, со скуки  
окно откроешь, вдалеке  
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи  
шум моря, дышащий на сушу,  
оберегающий в ночи  
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,  
но вот проходит день незванный,  
позванивая, как пустой  
стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине  
открой окно свое пошире,  
и с морем ты наедине  
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум — в тиши ночной  
иное слышно мне гуденье:  
шум тихий родины моей,  
ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов  
мне милых, прерванных так скоро,  
и пенье пушкинских стихов,  
и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,  
благословенье над изгнанием.  
Но тихий шум не слышен нам  
за суетой и дребезжаньем.

Зато в полночной тишине  
внимает долго слух неспящий  
стране родной, ее шумящей,  
ее бессмертной глубине.

## КИРПИЧИ

Ища сокровищ позабытых  
и фараоновых мощей,  
ученый в тайниках разрытых  
набрел на груди кирпичей,  
среди которых был десяток  
совсем особенных: они  
хранили беглый отпечаток  
босой младенческой ступни,  
собачьей лапы и копытца  
газели. Многое за них  
лихому времени простится —  
безрукий мрамор, темный стих,  
обезобразенные фрески...

Как это было? В синем блеске  
я вижу красоту песков.  
Жара. Полуденное время.  
Еще одиннадцать веков  
до звездной ночи в Вифлееме.

Кирпичик спит, пока лучи  
пекут, работают беззвучно.  
Он спит, пока благополучно  
на солнце сохнут кирпичи.  
Но вот по ним дитя ступает,  
отцовский позабыв запрет,  
то скачет, то перебегает,  
невольный вдавливая след,  
меж тем как, вокруг него играя,  
собака и газель ручная  
пускаются вперегонки.  
Внезапно — окрик, тень руки:  
конец летучему веселью.  
Дитя с собакой и газелью  
скрывается. Все горячей  
синее небо. Сохнут чинно  
ряды лиловых кирпичей.

Улыбка вечности невинна.  
Мир для слепцов необъясним,  
но зрячим все понятно в мире,  
и ни одна звезда в эфире,  
быть может, не сравнится с ним.

1928

## ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Когда весеннее мечтанье  
влечет в синеющую мглу,  
мне назначается свиданье  
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада  
туманно звездами сквозит.  
Под нею — черная ограда,  
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,  
ловлю волнующийся гам,  
как будто звучно закипели  
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,  
еще никто их не прочел...  
Гуди, гуди, железный улей,  
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном  
каштан раскидывает кров,  
и сладко в сумраке зеленом  
сияют факелы цветов.

1925

## ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА

В осенний день, блистая как стекло,  
потрескивая крыльями, стрекозы  
над лугом вьются. В Ордежь глядится  
сосновый лес, и тот, что отражен,—  
яснее настоящего. Опавшим  
листом шурша, брожу я по тропам,  
где быстрым, шелковистым поцелуем  
луч паутины по лицу пройдет  
и вспыхнет радугой. А небо — небо  
сплошь синее, насыщенное светом,  
и нежит землю, и земли не видит.

Задумчивый, в усадьбу возвращаюсь.  
В гостиной печь затоплена, и в вазах  
мясистые теснятся георгины.  
Пишу стихи, валяясь на диване,  
и все слова без цвета и без веса —  
не те слова, что в будущем найдет  
воспоминанье. В комнате соседней  
играют в бикс: прерывисто, по капле,  
по капельке сбегает тонкий звон.

Как перед тем, чтоб на зиму уехать,  
в гербарий, на шершавую страницу  
кладешь очаровательно-увядший  
кленовый лист, полоскою бумаги  
приклеиваешь стебель, пишешь дату,  
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный  
да вспомнить деревенский сад, найдя  
багряный лист, оранжевый по краю,—  
так, некогда, осенний ясный день  
я сохранил и ныне им люблюсь.

1926

## СНИМОК

На пляже в полдень лиловатый,  
в морском каникулярном раю  
снял купальщик полосатый  
свою счастливую семью.

И замирает мальчик голый,  
и улыбается жена,  
в горячий свет, в песок веселый,  
как в серебро, погружена.

И полосатым человеком  
направлен в солнечный песок,  
мигнул и щелкнул черным веком  
фотографический глазок.

Запечатлела эта пленка  
все, что могла она поймать:  
оцепеневшего ребенка,  
его сияющую мать,

и ведро, и две лопаты,  
и в стороне песчаный скат.  
И я, случайный соглядатай,  
на заднем плане тоже снят.

Зимой в неведомом мне доме  
покажут бабушке альбом,  
и будет снимок в том альбоме,  
и буду я на снимке том:

мой облик меж людьми чужими,  
один мой августовский день,  
моя не знаемая ими,  
вотще украденная тень.

1927  
Бинц

## АЭРОПЛАН

Как поет он, как неожиданно  
вспыхнул искрою стеклянной,  
вспыхнул и поет,  
там, над крышами, в глубоком  
небе, где блестящим боком  
облако встает.

В этот мирный день воскресный  
чуден гул его небесный,  
бархат громовой.  
И у парковой решетки,  
на обычном месте, кроткий  
слушает слепой:

губы слушают и плечи —  
тихий сумрак человеческий,  
обращенный в слух.  
Неземные реют звуки.  
Рядом пес его со скуки  
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,  
замер, голову закинув,  
смотрит, как скользят  
крылья сизые, сквозные  
по лазури, где большие  
облака блестят.

1926

## КРУШЕНИЕ

В поля, под сумеречным сводом,  
сквозь опрокинувшийся дым  
прошли вагоны полным ходом  
за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий,  
где сундуки на сундуках,  
где обезумевшие вещи,  
проснувшись, бухают впотьмах —

и четырех вагонов спальных  
фанерой выложенный ряд,  
и окна в молниях зеркальных  
чредою беглою горят.

Там штору кожаную спустит  
дремота, рано подоспев,  
и чутко в стукотне и хрусте  
отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит  
с туманных впадин потолка,  
где под сквозящей лампой ходит  
кисть задвижного колпака.

Такая малость — винт некрепкий,  
и вдруг под самой головой  
чугун бегущий, обод цепкий  
соскочит с рельсы роковой.

И вот по всей ночной равнине  
стучит, как сердце, телеграф,  
и люди мчатся на дрезине,  
во мраке факелы подняв.

Такая жалость: ночь росиста,  
а тут — обломки, пламя, стон...  
Недаром дочке машиниста  
приснилась насыпь, страшный сон:

там, завывая на изгибе,  
стремилось сонмище колес,  
и двое ангелов на гибель  
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,  
смеясь, переставлял рычаг,  
сияя перистым пожаром,  
в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,  
стальной чешуей блистал,  
и уголь черною лопатой  
он в жар без устали метал.

1925

## СВЯТКИ

Под окнами полозья  
пропели,— и воскрес  
на святочном морозе  
серебряный мой лес.

Средь лунного тумана  
я залу отыскал.  
Зажги, моя Светлана,  
свечу между зеркал.

Заплавает по тазу  
дрожащий огонек.  
Причаливает сразу  
ореховый челнок.

И в зале, где блистает  
под люстрой паркет,  
пускай нам погадает  
наш старенький сосед.

Все траурные пики  
накладывает он  
на лаковые лики  
оранжевых бубен.

Ну что ж, моя Светлана?  
Туманится твой взгляд...  
Прелестного обмана  
нам карты не сулят.

Сам худо я колдую,  
а дедушка в гробу,  
и нечего седую  
допрашивать судьбу.

В смеркающемся блеске  
все уплывает вдаль —  
хрустальные подвески  
и белая рояль.

И огонек плавучий  
потух, и ты исчез  
за сумрачные тучи,  
серебряный мой лес.

## РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,  
в Россию поплывет кровать,  
и вот ведут меня к оврагу,  
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,  
где спички и часы лежат,  
в глаза, как пристальное дуло,  
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею,—  
вот-вот сейчас пальнет в меня —  
я взгляда отвести не смею  
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания  
коснется тиканье часов,  
благополучного изгнания  
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,  
чтоб это вправду было так:  
Россия, звезды, ночь расстрела  
и весь в черемухе овраг.

1927  
Берлин

## ГОСТЬ

Хоть притупилась шпага, и сутулей  
вхожу в сады, и запылен  
мой черный плащ,— душа все тот же улей  
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая  
моей заученной мольбе,  
что рядом склеп, гда статуя немая,  
воспомианье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.  
В обманах смысл и сладость есть:  
не жажда невозможного забвенья,  
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,  
при убедительной луне,  
в живой душе искусно вызывая  
все то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий  
и дивно задрожит она,  
тройным ударом мраморной перчатки  
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,  
и тяжело из загробных стран  
смертельное любви воспомианье  
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова,  
мне сердце дланью ледяной,  
и пламенные пропасти былого  
вдруг распахнутся предо мной.

Но, не поняв, что сердцу нежеланна,  
что сердце темное мертво,  
доверчиво лепечет Донна Анна,  
не видя гостя моего.

1924

## LA BONNE LORRAINE<sup>1</sup>

Жгли англичане, жгли мою подругу,  
на площади в Руане жгли ее.  
Палач мне продал черную кольчугу,  
клювастый шлем и мертвое копьё.

Ты здесь со мной, железная святая,  
и мир с тех пор стал холоден и прост:  
косая тень и лестница витая,  
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою  
дрожит и каплет воском на ремни.  
Мы, воины, летали за тобою,  
в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало,  
и, молча выскользнув из лат мужских,  
ты, белая и слабая, сгорала  
в объятьях верных рыцарей твоих.

1924  
Берлин

---

<sup>1</sup> Прекрасная Лотарингка (фр.).

## ГОДОВЩИНА

В те дни, дай Бог, от краю и до краю  
гражданская повеет благодать:  
все сбудется, о чем за чашкой чаю  
мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете,  
кто будет помнить наши времена,  
в те дни на оглушительном банкете,  
шалея от волненья и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье  
поднимется... Но нет, он слишком стар:  
черта изгнанья тает в отдаленье,  
и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты;  
я, в частности, прекрасно буду спать,  
в бою случайном ангелом задетый,  
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,  
найдет в былых, не нужных никому  
журналах, отпечатанных вслепую  
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов  
о том, как Русь была нам дорога,  
как жил Петров, как странствовал Иванов  
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:  
забыто все. И, Муза, не беда.  
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,  
на проносящиеся поезда,

на всякий блеск, на всякое движенье,  
предоставляя выпреним глупцам  
бранить наш век, пенять на сновиденье,  
единый раз дарованное нам.

1926

## СИРЕНЬ

Ночь в саду, послушная волненью,  
нарастающему в тишине,  
потянулась, дрогнула сиренью,  
серой и пушистой при луне.

Смешанная с жимолостью темной,  
всколыхнулась молодость моя.  
И скользнула, при луне огромной,  
белизной решетчатой скамья.

И опять на листья без дыханья  
пали грозди смутной чередой.  
Безымянное воспоминанье,  
не засни, откройся мне, постой.

Но едва пришедшая в движенье  
ночь моя, туманна и светла,  
как в стеклянной двери отраженье,  
повернулась плавно и ушла.

1928

## ПАЛОМНИК

Ю. И. Айхенвальду

Хозяин звезд, и ветра зычного,  
и вьющихся дорог,  
бог-виноградарь, бог коричневый,  
смеющийся мой бог,  
позволь зарю в стакан мой выдавить,  
чтобы небесный хмель  
понес, умчал меня за тридевять  
синеющих земель.  
Я возвращусь в усадьбу отчую  
среди клеверных полей;  
дом обойду, зерном попотчую  
знакомых голубей.  
Дни медленные, деревенские...  
Ложится жаркий свет  
на скатерть и под стулья венские  
решеткой на паркет.  
Там в доме с радужной верандою,  
с березой у дверей,  
в халате старом проваландаю  
остаток жизни сей.  
Но часто, ночью, гул бессонницы  
нахлынет на постель,  
тряхнет, замрет и снова тронется,  
как поезд сквозь метель.  
И я тогда услышу: вспомни-ка  
рыдающий вагон  
и счастье странного паломника,  
чья Мекка там, где он.  
Он рад бывал, скитаясь по миру,  
озерам под луной,  
вокзалам громовым и номеру  
в гостинице ночной.  
О, как потянет вдруг на яркую  
чужбину, в дальний путь,  
как тяжело к окну прошаркаю,  
как захочу вернуть

все то дрожащее, весеннее,  
что плакало во мне,  
и — всякой яви совершеннее —  
сон о родной стране.

1927

## СНОВИДЕНЬЕ

Будильнику на утро задаю  
урок, и в сумрак отпускаю,  
как шар воздушный, комнату мою,  
и облегченно в сон вступаю.

Меня берет — уже во сне самом —  
как бы вторичная дремота.  
Туманный стол. Сидящих за столом  
не вижу. Все мы ждем кого-то.

Фонарь карманный кто-то из гостей  
на дверь, как пистолет, наводит.  
И, ростом выше и лицом светлей,  
убитый друг со смехом входит.

Я говорю без удивленья с ним,  
живым, и знаю, нет обмана.  
Со лба его сошла, как легкий грим,  
смертельная когда-то рана.

Мы говорим. Мне весело. Но вдруг —  
заминка, странное стесненье.  
Меня отводит в сторону мой друг  
и что-то шепчет в объясненье.

Но я не слышу. Длительный звонок  
на представленье созывает:  
будильник повторяет свой урок,  
и день мне веки прорывает.

Лишь миг один неправильный на вид  
мир падает, как кошка, сразу  
на все четыре лапы, и стоит,  
знакомый разуму и глазу.

Но, Боже мой, — когда припомнишь сон,  
случайно, днем, в чужой гостиной,  
или, сверкнув, придет на память он  
пред оружейною витриной,

как благодарен силам неземным,  
что могут мертвые нам сниться.  
Как этим сном, событием ночным,  
душа смятенная гордится!

1927

## ПРОХОЖИЙ С ЕЛКОЙ

На белой площади поэт  
запечатлел твой силуэт.

Домой, в неспражничный мороз,  
ты елку черную понес.

Пальто российское до пят.  
Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине  
ты шел по ровной белизне,

сам черный, сгорбленный, худой,  
уткнувшись в ворот бородой,

в снегах не наших площадей,  
с немецкой елочкой своей.

И в поэтический овал  
твой силуэт я врисовал.

1925

## ТЕНЬ

К нам в городок приехал в гости  
бродячий цирк на семь ночей.  
Блистали трубы на помосте,  
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,  
мы все глядели — синий мрак,  
собор святого Иоанна  
и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,  
и над бесшумною толпой  
вдруг тишину переступили  
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным  
собором, на тугой канат,  
шестом покачивая длинным,  
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, пока он длился,  
пока в нем пребывал Господь,  
как будто в свет преобразился  
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная щербата  
и ослепительна была;  
тень голубая акробата  
подвижно на нее легла.

Все выше над резьбой портала,  
где в нише — статуя и крест,  
тень угловатая ступала,  
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,  
ночною схвачен синевою,  
исчез он с трепетом крылатым —  
прелестный облик теневой.

И снова заиграли трубы,  
меж тем как, потен и тяжел,  
в погасших блестках, гаер грубый  
за подаяньем к нам сошел.

1925

Шварцвальд

## СОЛНЦЕ

Слоняюсь переулками без цели,  
прислушиваюсь к древним временам:  
при Цезаре цикады те же пели  
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске,  
поет лавчонка, можно отстранить  
легко звенящий бисер занавески:  
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана  
поет, полощет синее белье,—  
и пятнами ложится тень платана  
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в поющем мире этом,  
скользя плечом вдоль меловых оград,  
быть русским заблудившимся поэтом  
среди лепета латинского цикад!

## СНЫ

Странствуя, ночуя у чужих,  
я гляжу на спутников моих,  
я ловлю их говор тусклый.  
Роковых я требую примет:  
кто увидит родину, кто нет,  
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать. Ведь странникам даны  
только сны о родине, а сны  
ничего не переменят.  
Что таить — случается и мне  
видеть сны счастливые: во сне  
я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою  
в тарантасе тряском, узнаю  
все толчки весенних рытвин,  
еду, с непокрытой головой,  
белый, что платок твой, и с душой,  
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:  
кто увидит родину, кто нет,  
кто уснет в земле нерусской.  
Если б знать. За годом валит год,  
даже тем, кто верует и ждет,  
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.  
Не на области и города,  
не на волости и села,  
вся Россия делится на сны,  
что несметным странникам даны  
на чужбине, ночью долгой.

1926

## КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,  
но оживет до завтрашнего дня.  
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,  
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,  
знакомлюсь вновь с причудами ключей;  
и медленно вся комната трепещет,  
и медленно становится моей.

Совершено. Все призвано к участию  
в моем существованье, каждый звук:  
скрип ящика, своею доброй пастью  
пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо,  
стук по ночам — отщенье за сквозняк,  
возня мышей, их карликовый грохот,  
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;  
как на воде за кругом круг, идет  
и пропадает, и опять я чую,  
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину  
свет падает малиновым холмом.  
Все хорошо. И скоро я покину  
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,  
но пригляжусь, и грустно станет мне:  
никто здесь не полюбит, не запомнит  
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину  
и лампу в старом платице сквозном  
забуду сам, когда и я покину  
вот эту комнату и этот дом.

В другой пойду: опять однообразность  
обоев, то же кресло у окна...  
Но грустно мне: чем незаметней разность,  
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем  
и в голый рай из жизни перейдем,  
забывчивость земную пожалеем,  
не зная, чем обставить новый дом...

1926

## МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,  
спускается толпа, вивась между олив,  
    подобно медленному змию;  
и матери глядят, как под гору, в туман  
увещающий уводит Иоанн  
    седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,  
и будет до утра подслушивать сквозь сон  
    ее рыдания и томленье.  
Что, если у нее остался бы Христос  
и плотничал, и пел? Что, если этих слез  
    не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;  
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,  
    вотще купивших ароматы;  
светящуюся плоть ощупает Фома,  
от веянья чудес земля сойдет с ума,  
    и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!  
Неосяземо над горестью твоей  
    дни проплывают, и ни в третий,  
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,  
твой смуглый первенец, лепивший воробьев  
    на солнцепеке, в Назарете.

1925  
Берлин

## ВЕСНА

Помчал на дачу паровоз.  
Толпою легкой, оробелой  
стволы взбегают на откос:  
дым засквозил волною белой  
в апрельской пестроте берез.  
В вагоне бархатный диванчик  
еще без летнего чехла.  
У рельс на желтый одуванчик  
садится первая пчела.

Где был сутроб, теперь дырявый  
продолговатый островок  
вдоль зеленеющей канавы:  
покрылся копотью, размок  
весною пахнущий снежок.

В усадьбе сумерки и стужа.  
В саду, на радость голубям,  
блистает облачная лужа.  
По старой крыше, по столбам,  
по водосточному колену —  
помазать наново пора  
зеленой краской из ведра —  
ложится весело на стену  
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,  
усадьба, солнечные дни —  
все образы одни и те же,  
все совершеннее они.  
Вдали от ропота изгнанья  
живут мои воспоминанья  
в какой-то неземной тиши:  
бессмертно все, что невозвратно,  
и в этой вечности обратной  
блаженство гордое души.

1925

## В РАЮ

Моя душа, за смертью дальней  
твой образ виден мне вот так:  
натуралист провинциальный,  
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий,  
полупавлинье существо.  
Ты любознательно потыкай  
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала  
о ней напишешь ты статью,  
потом... но только нет журнала  
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря  
немому горю своему:  
об этом синем сонном звере  
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,  
музей и птичьи чучела?  
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы  
на безымянные крыла.

1927  
Берлин

ИЗ КНИГИ  
«POEMS AND PROBLEMS»

## ДОЖДЬ ПРОЛЕТЕЛ

Дождь пролетел и сгорел на лету.  
Иду по румяной дорожке.  
Иволги свищут, рябины в цвету,  
белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист.  
Как жимолость благоухает!  
Кончиком вниз наклоняется лист  
и с кончика жемчуг роняет.

1917  
Выра

## К СВОБОДЕ

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;  
на горестном челе нет прежнего луча,  
зовущего к любви и высям озаренным.  
В одной руке дрожит потухшая свеча.  
Крыло подбитое по трупам волоча  
и заслоняя взор локтем окровавленным,  
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,  
а за тобой, увы, стоит все та же ночь!

1917

Крым

## НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ

Не то кровать, не то скамья.  
Угрюмо-желтые обои.  
Два стула. Зеркало кривое.  
Мы входим — я и тень моя.

Окно со звоном открываем:  
спадает отблеск до земли.  
Ночь бездыханна. Псы вдали  
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,  
и в черной чаше небосвода,  
как золотая капля меда,  
сверкает сладостно луна.

8 апреля 1919  
Севастополь

## ГЕРБ

Лишь отошла земля родная,  
в соленой тьме дохнул норд-ост,  
как меч алмазный, обнажая  
среди облаков стремнину звезд.

Мою тоску, воспоминанья  
клянусь я царственно беречь  
с тех пор, как принял герб изгнанья:  
на черном поле звездный меч.

24 января 1925  
Берлин

\* \* \*

Люблю я гору в шубе черной  
лесов еловых, потому  
что в темноте чужбины горной  
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной  
и как с ума мне не сойти  
хотя б от ягоды болотной,  
заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые  
тропинки вьются, тем ясней  
приметы с детства дорогие  
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая  
взбираться будем в смертный час,  
все то любимое встречая,  
что в жизни возвышало нас?

31 августа 1925  
Фельдберг

## ЛИЛИТ

Я умер. Яворы и ставни  
горячий теребил Эол  
вдоль пыльной улицы.

Я шел,  
и фавны шли, и в каждом фавне  
я мнил, что Пана узнаю:  
«Добро, я, кажется, в раю».

От солнца заслонясь, сверкая  
подмышкой рыжею, в дверях  
вдруг встала девочка нагая  
с речною лилией в кудрях,  
стройна, как женщина, и нежно  
цвели сосцы — и вспомнил я  
весну земного бытия,  
когда из-за ольхи прибрежной  
я близко-близко видеть мог,  
как дочка мельника меньшая  
шла из воды, вся золотая,  
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,  
в котором был вчера убит,  
с усмешкой хищною гуляки  
я подошел к моей Лилит.  
Через плечо зеленым глазом  
она взглянула — и на мне  
одежды вспыхнули и разом  
испепелились.

В глубине  
был греческий диван мохнатый,  
вино на столике, гранаты,  
и в вольной росписи стена.  
Двумя холодными перстами  
по-детски взяв меня за пламя:  
«Сюда», — промолвила она.  
Без принужденья, без усилья,  
лишь с медленностью озорной,  
она раздвинула, как крылья,

свои коленки предо мной.  
И обольстителен и весел  
был запрокинувшийся лик,  
и яростным ударом чресел  
я в незабытую проник.  
Змея в змее, сосуд в сосуде,  
к ней пригнанный, я в ней скользил,  
уже восторг в растущем зуде  
неописуемый сквозил,—  
как вдруг она легко рванулась,  
отпрянула и, ноги сжав,  
вуаль какую-то подняв,  
в нее по бедра завернулась,  
и, полон сил, на полпути  
к блаженству, я ни с чем остался  
и ринулся и зашатался  
от ветра странного. «Впусти»,—  
я крикнул, с ужасом заметя,  
что вновь на улице стою  
и мерзко блеющие дети  
глядят на булаву мою.  
«Впусти»,— и козлоногий, рыжий  
народ все множился. «Впусти же,  
иначе я с ума сойду!»  
Молчала дверь. И перед всеми  
мучительно я пролил семя  
и понял вдруг, что я в аду.

## К МУЗЕ

Я помню твой приход: растущий звон,  
волнение, неведомое миру.  
Луна сквозь ветки тронула балкон,  
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих  
казался ямб одеждой слишком грубой.  
Но был певуч неправильный мой стих  
и улыбался рифмой красногубой.

Я счастлив был. Над гаснущим столом  
огонь дрожал, вылуцивал огарок;  
и снилось мне: страница под стеклом  
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды  
не откажусь от утренней дремоты.  
Мне не под силу многие труды,  
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.  
Натертый стих блистает чище меди.  
Мы изредка с тобою говорим  
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:  
лист виноградный, груша, пол-арбуза  
и — мастерства предел — прозрачный свет.  
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

1929  
Берлин

## СНЕГ

О, этот звук! По снегу —  
скрип, скрип, скрип —  
в валенках кто-то идет.

Толстый крученый лед  
остриями вниз с крыши повис.  
Снег скрипуч и блестящ.  
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся —  
сами бегут, в пятки бьют.

Сяду и съеду  
по крутому, по ровному:  
валенки врозь,  
держусь за веревочку.

Отходя ко сну,  
всякий раз думаю:  
может быть, удосужится  
меня посетить  
тепло одетое, неуклюжее  
детство мое.

1930  
Берлин

## ФОРМУЛА

Сутулится на стуле  
беспалое пальто.  
Потемки обманули,  
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,  
и душу унесло  
в раскрывшееся плавно  
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен  
сосудов цифровых,  
раздут или расплющен  
в алембиках кривых,

мой дух преобразался:  
на тысячу колец,  
вращаясь, размножался  
и замер наконец

в хрустальнейшем застое,  
в отличнейшем Ничто,  
а в комнате пустое  
сутулится пальто.

1931  
Берлин

## НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

Поэт, печалью промышляя,  
твердит прекрасному: прости!  
Он говорит, что жизнь земная —  
слова на поднятой в пути —  
откуда вырванной? — странице  
(не знаем и швыряем прочь)  
или пролет мгновенный птицы  
через светлый зал из ночи в ночь.

Зоил (пройдоха величавый,  
корыстью занятый одной)  
и литератор площадной  
(тревожный арендатор славы)  
меня страшатся потому,  
что зол я, холоден и весел,  
что не служу я никому,  
что жизнь и честь мою я взвесил  
на пушкинских весах, и честь  
осмеливаюсь предпочесть.

1931  
Берлин

## ВЕЧЕР НА ПУСТЫРЕ

Вдохновенье, розовое небо,  
черный дом с одним окном  
огненным. О, это небо,  
выпитое огненным окном!  
Загородный сор пустынный,  
сорная былинка со слезой,  
череп счастья, тонкий, длинный,  
вроде черепа борзой.  
Что со мной? Себя теряю,  
растворяюсь в воздухе, в заре;  
бормочу и обмираю  
на вечернем пустыре.  
Никогда так плакать не хотелось.  
Вот оно, на самом дне.  
Донести тебя, чуть запотелое  
и такое трепетное, в целости  
никогда так не хотелось мне...  
Выходи, мое прелестное,  
зацепись за стебелек,  
за окно, еще небесное,  
иль за первый огонек.  
Мир, быть может, пуст и беспощаден,  
я не знаю ничего,  
но родиться стоит ради  
этого дыханья твоего.

Когда-то было легче, проще:  
две рифмы — и раскрыл тетрадь.  
Как смутно в юности заносчивой  
мне довелось тебя узнать.  
Облокотившись на перила  
стиха, плывущего, как мост,  
уже душа вообразила,  
что двинулась и заскользила  
и доплывет до самых звезд.  
Но, переписанные начисто,  
лишась мгновенно волшебства,  
бессильно друг за друга прячутся  
отяжелевшие слова.

Молодое мое одиночество  
среди ночных, неподвижных ветвей;  
над рекой — изумление ночи,  
отраженное полностью в ней;  
и сиреневый цвет, бледный баловень  
этих первых неопытных стоп,  
освещенный луной небывалой  
в полутрауре парковых троп;  
и теперь увеличенный памятью,  
и прочнее, и краше вдвойне,  
старый дом, и бессмертное пламя  
керосиновой лампы в окне;  
и во сне приближение счастья,  
дальний ветер, воздушный гонец,  
все шумней проникающий в чашу,  
наклоняющий ветвь наконец;  
все, что время как будто и отняло,  
а глядишь — засквозило опять,  
оттого что закрыто непрочно,  
и уже невозможно отнять...

Мигая, огненное око  
глядит сквозь черные персты  
фабричных труб на сорные цветы  
и на жестянку кривобокую.  
По пустырю в темнеющей пыли  
поджарый пес мелькает шерстью снежной.  
Должно быть, потерялся. Но вдали  
уж слышен свист настойчивый и нежный.  
И человек навстречу мне сквозь сумерки  
идет, зовет. Я узнаю  
походку бодрюю твою.  
Не изменился ты с тех пор, как умер.

1932  
Берлин

## БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же  
царь и поэт, парнасский самодержец  
(который год сидящий взаперти),  
он говорил:

«Ко славе снизойти  
я не желал. Она сама примчалась.  
Уж я забыл, где муза обучалась,  
но путь ее был прям и одинок.  
Я не умел друзей готовить впрок,  
из лапы льва не извлекал занозы.  
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога  
унылая улыбочка врага.

Люблю я неудачника тревожить,  
сны обо мне мучительные множить  
и теневой рассматривать скелет  
завистника прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой,  
волнуются деревья за оградой,  
вне очереди торопясь попасть  
в мои стихи. Доверена мне власть  
над всей землей, соседу непослушной.  
И счастье так ширится воздушно,  
так полнится сияньем голова,  
такие совершенные слова  
встречают мысль и улетают с нею,  
что ничего записывать не смею.

Но иногда — другим бы стать, другим!  
О, поскорее! Плотником, портным,  
а то еще — фотографом бродячим:  
как в старой сказке жить, ходить по дачам,  
снимать детей пятнистых в гамаке,  
собаку их и тени на песке».

Начало 1933

Берлин

## КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Такой зеленый, серый, то есть  
весь заштрихованный дождем,  
и липовое, столь густое,  
что я перенести — уйдем!  
Уйдем и этот сад оставим  
и дождь, кипящий на тропях  
между тяжелыми цветами,  
целующими липкий прах.  
Уйдем, уйдем, пока не поздно,  
скорее, под плащом, домой,  
пока еще ты не опознан,  
безумный мой, безумный мой!

Держусь, молчу. Но с годом каждым,  
под гомон птиц и шум ветвей,  
разлука та обидней кажется,  
обида кажется глупей.  
И все страшней, что опрометчиво  
проговорюсь и перебью  
течение тихой, трудной речи,  
давно проникшей в жизнь мою.

Над краснощекими рабами  
лазурь как лаковая вся,  
с накачанными облаками,  
едва заметными толчками  
передвигающимися.  
Ужель нельзя там притулиться  
и нет там темного угла,  
где темнота могла бы слиться  
с иероглифами крыла?  
Так бабочка не шевелится  
пластом на плесени ствола.

Какой закат! И завтра снова,  
и долго-долго быть жаре,  
что безошибочно основано  
на тишине и мошкаре.  
В луче вечернем повисая,

она толчется без конца,  
как бы игрушка золотая  
в руках немого продавца.

Как я люблю тебя. Есть в этом  
вечернем воздухе порой  
лазейки для души, просветы  
в тончайшей ткани мировой.  
Лучи проходят меж стволами.  
Как я люблю тебя! Лучи  
проходят меж стволами, пламенем  
ложатся на стволы. Молчи.  
Замри под веткою расцветшей,  
вдохни, какое разлилось —  
зажмурься, уменьшись и в вечное  
пройди украдкой насквозь.

17 апреля 1934  
Берлин

## L'INCONNUE DE LA SEINE<sup>1</sup>

Торопя этой жизни развязку,  
не любя на земле ничего,  
все гляжу я на белую маску  
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах  
слышу голос твоей красоты.  
В бледных толпах утопленниц юных  
всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,  
жребий твой был на счастье скуп,  
так ответь же посмертной усмешкой  
очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки,  
густо слиплись ресницы. Ответь,  
неужели навеки, навеки?  
А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые,  
черный крест шерстяного платка,  
фонари, ветер, тучи ночные,  
в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,  
соблазнитель таинственный твой?  
Кудреватый племянник соседа —  
пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегда,  
друг бутылки, костей и кия,  
вот такой же гуляка проклятый,  
прогоревший мечтатель, как я?

---

<sup>1</sup> Незнакомка из Сены (фр.).

И теперь, сотрясаясь всем телом,  
он, как я, на кровати сидит  
в черном мире, давно опустелом,  
и на белую маску глядит.

1934  
Берлин

## НА ЗАКАТЕ

На закате, у той же скамьи,  
как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком,  
с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской  
высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни,  
улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно  
иногда возвращаться дано.

1935  
Берлин

## МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ

Мы с тобою так верили в связь бытия,  
но теперь оглянулся я, и удивительно,  
до чего ты мне кажешься, юность моя,  
по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны  
между мной и тобой, между мелью и тонущим;  
или вижу столбы и тебя со спины,  
как ты прямо в закат на своем полуночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой  
всякой первой главы, а как долго нам верилось  
в непрерывность пути от ложбины сырой  
до нагорного вереска.

1938  
Париж

ЧТО ЗА НОЧЬ  
С ПАМЯТЬЮ СЛУЧИЛОСЬ

Что за ночь с памятью случилось?  
Снег выпал, что ли? Тишина.  
Душа забвенью зря училась:  
во сне задача решена.

Решенье чистое, простое  
(о чем я думал столько лет?).  
Пожалуй, и вставать не стоит:  
ни тела, ни постели нет.

1938  
Ментона

## ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит  
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,  
пока очертаний своих не находит  
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,  
со списком еще не приснившихся снов,  
с последним, чуть зримым сияньем России  
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,  
нам жить бы, казалось, и книгам расти,  
но музы безродные нас доконали,  
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть  
свою свободой добрых людей.  
Нам просто пора, да и лучше не видеть  
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,  
окна, в отдаленье поймавшего луч,  
лунатиков смирных в солдатских мундирах,  
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,  
играющих в прятки вокруг и внутри  
уборной, кружащейся в сумерках летних;  
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;  
рыданья рекламы на том берегу,  
текучих ее изумрудов в тумане,  
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского  
в ту область... как хочешь ее назови:  
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,  
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,  
где в пене цветов колея не видна,  
молчанье отчизны — любви безнадежной —  
молчанье зарницы, молчанье зерна.

1939  
Париж

## К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!  
Вечер страшен, гул жизни затих.  
Я беспомощен. Я умираю  
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,  
волен выть на вершинах о ней,  
но теперь я спустился в долину,  
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться  
и без имени жить. Я готов,  
чтоб с тобой и во снах не сходиться,  
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,  
не касаться любимейших книг,  
променять на любое наречье  
все, что есть у меня,— мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,  
сквозь траву двух несмежных могил,  
сквозь дрожащие пятна березы,  
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами  
не смотри на меня, пожалей,  
не ищи в этой угольной яме,  
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,  
и за горе, за муку, за стыд,—  
поздно, поздно! — никто не ответит,  
и душа никому не простит.

1939  
Париж

## ОКО

К одному исполинскому оку.  
без лица, без чела и без век,  
без телесного марева сбоку  
наконец-то сведен человек.

И на землю без ужаса глянув  
(совершенно несхожую с той,  
что, вся пегая от океанов,  
улыбалась одною щекой),

он не горы там видит, не волны,  
не какой-нибудь яркий залив  
и не кинематограф безмолвный  
облаков, виноградников, нив;

и, конечно, не угол столовой  
и свинцовые лица родных —  
ничего он не видит такого  
в тишине обращений своих.

Дело в том, что исчезла граница  
между вечностью и веществом —  
и на что неземная зеница,  
если вензеля нет ни на чем?

1939  
Париж

## СЛАВА

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто  
восковой, поджарый, с копотью в красных  
ноздрях,  
и сижу, и решить не могу: человек это  
или просто так — разговорчивый прах.  
Как проситель из нагих, гроза общежитий,  
как зловещий друг детства, как старший шпион  
(шенелявым таким шепотком: а скажите,  
что вы делали там-то?), как сон,  
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,  
как в балканской новелле влиянье, как их,  
символистов — но хуже. Есть вещи, вещи,  
которые... даже... (Акакий Акакиевич  
любил, если помните, «плевелы речи»,  
и он, как Наречье, мой гость восковой),  
и сердце просится, и сердце мечется,  
и я не могу. А его разговор  
так и катится острою осыпью под гору,  
и картавое, кроткое слушать должно  
и заслушиваться господина бодрого,  
оттого что без слов и без славы оно.  
Как пародия совести в драме бездарной,  
как палач, и озноб, и последний рассвет —  
о, волна, поднимись, тишина благодарна  
и за эту трехсложную музыку. Нет,  
не могу языку заказать эти звуки,  
ибо гость говорит, и так веско,  
господа, и так весело, и на гадюке  
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:  
иллюстрации разных существенных доводов,  
головные уборы, как мысли вовне;  
или, может быть — было бы здорово,  
если б этим шутник указывал мне,  
что я страны менял, как фальшивые деньги,  
торопясь и боясь оглянуться назад,  
как раздваивающееся привиденье,  
как свеча меж зеркал, уплывающая в закат.  
Далеко от лугов, где ребенком я плакал,  
упустив аполлона, и дальше еще  
до еловой аллеи с полосками мрака,

меж которыми полдень сквозил горячо.  
Но воздушным мостом мое слово изогнуто  
через мир, и чредой спицевидных теней  
без конца по нему прохожу я инкогнито  
в полыхающий сумрак отчизны моей.  
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей  
головой, в изумрудных перчатках, в чулках  
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите  
и остановитесь на этих строках.  
Обращение к несуществующим: кстати,  
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,  
и, лишённые самой простой благодати  
(дохожденья до глаз, до локтей, до висков),  
«твои бедные книги,— сказал он развязно,—  
безнадёжно растают в изгнание. Увы,  
эти триста листов беллетристики праздной  
разлетятся — но у настоящей листвы  
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,  
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,  
есть порог, где слоятся тузы золотые,  
есть канавы — а бедные книги твои,  
без земли, без тропы, без канав, без порога,  
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,  
как базарный факир, то есть не без подлога,  
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.  
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,  
в захолустии русском, при лампе, в пальто,  
среди гильз папиросных, каких-то опилок  
и других озаренных неясностей, кто  
на столе развернет образец твоей прозы,  
зачитается ею под шум дождевой,  
набегающий шум законной березы,  
поднимающей книгу на уровень свой?  
Нет, никто никогда на просторе великом  
ни одной не помянет страницы твоей:  
ныне дикий пребудет в неведенье диком,  
друг степей для тебя не забудет степей.  
В длинном стихотворении «Слава» писателя,  
так сказать, занимает проблема, гнетет  
мысль о контакте с сознанием читателя.  
К сожаленью, и это навек пропадет.  
Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве  
до конца, до небес доскрестись: никогда,  
никогда не мелькнет мое имя — иль разве

(как в трагических тучах мелькает звезда)  
в специальном труде, в примечаньи к названью  
эмигрантского кладбища и наравне  
с именами собратьев по правописанию,  
обстоятельством места навязанных мне.  
Повторил? А случалось еще, ты пописывал  
не без блеска на вовсе чужом языке,  
и припомни особенный привкус анисовый  
тех потуг, те метанья в словесной тоске.  
И виденье: на родине. Мастер. Надменность.  
Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой  
перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность  
европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера  
мой любимый слетает анапест,  
образуя ракеты в ночи, так быстра  
золотая становится запись.  
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,  
сонных мыслей и умыслов сводня,  
не затронула самого тайного. Я  
удивительно счастлив сегодня.  
Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,  
а точнее сказать я не вправе.  
Оттого так смешна мне пустая мечта  
о читателе, теле и славе.  
Я без тела разросся, без отзвука жив,  
и со мной моя тайна всечасно.  
Что мне тление книг, если даже разрыв  
между мной и отчизною — частность?  
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,  
но под звезды я буквы подставил  
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,  
а точнее сказать я не вправе.  
Не доверяюсь соблазнам дороги большой  
или снам, освященным веками,  
остаюсь я безбожником с вольной душой  
в этом мире, кишасщем богами.

Но однажды, пласты разуменья дробя,  
углубляясь в свое ключевое,  
я увидел, как в зеркале, мир и себя  
и другое, другое, другое.

1942  
Уэльслей, Масс

## ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

«Отведите, но только не бросьте.  
Это — люди, им жалко Москвы.  
Позаботьтесь об этом прохвосте:  
он когда-то был ангел, как вы.  
И подайте крыло Никанору,  
Аврааму, Владимиру, Льву —  
смерду, князю, предателю, вору:  
ils furent des anges comme vous<sup>1</sup>.  
Всю ораву,— ужасные выи  
стариков у чужого огня,—  
господа, господа голубые,  
пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих  
уползаю, и вот привстаю,  
и уже я лечу, и на тающих  
рифмы нет в моем новом раю.  
Потому-то я вправе по чину  
к вам, бряцая, в палаты войти.  
Хорошо. Понимаю причину —  
но их надо, их надо спасти.  
Хоть бы вы призадумались, хоть бы  
согласились взглянуть. А пока  
остаюсь с привидением (подпись  
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал без воли, без веса,  
сам в себя, как наследник, летя.  
Ночь дышала: вздувалась завеса,  
облакам облаками платя.  
Стул. На стуле он сам. На постели  
снова — он. В бездне зеркала — он.  
Он — в углу, он — в полу, он — у цели,  
он в сбсб, он в сбсб, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,  
в пятом доме по рю Пьер Лоти.

---

<sup>1</sup> Они когда-то были ангелы, как вы (фр.).

некто Вульф, худощавый и рыжий  
инженер лет пятидесяти.  
А под ним — мой герой: тот писатель,  
о котором писал я не раз,  
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы и сквозь час  
дно и камушки мельком увидя,  
он оделся и вышел. У нас  
это дно называлось: Овидий  
откормлен (от *Carmina*<sup>1</sup>). Муть  
и комки в голове после черной  
стихотворной работы. Чуть-чуть  
моросит, и на улице черной  
без звездяжки муругая муть.  
Но поэмы не будет: нам некуда  
с ним идти. По ночам он гулял.  
Не любил он ходить к человеку,  
а хорошего зzeria не знал.

С этим камнем ночным перодниться,  
пить извозчичы это вино...  
Трясогузками ходят блудницы,  
и на русском Парнасе темно.  
Вымирают косматые мамонты,  
чуть жива красноглазая мышь.  
Бродят отзвуки лиры безграмотной:  
с кондачка переход на Буль-Миш.  
С полурусского, полузабытого  
переход на подобье арго.  
Бродит боль позвонка перебитого  
в черных дебрях Бульвар Араго.  
Ведь последняя капля России  
уже высохла. Будет, пойдем.  
Но еще подписаться мы силимся  
кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый.  
Чу! Под сводами черных аркад,  
где стена, как скала, писсуары  
за щитами своими журчат.  
Есть судьба и альпийское нечто

---

<sup>1</sup> Песни, стихи (лат.).

в этом плеске пустынном. Вот-вот  
захлебнется меж четом и нечетом,  
между мной и не мной, счетовод.  
А мосты — это счастье навеки,  
счастье черной воды. Посмотри:  
как стекло несравненной аптеки  
и оранжевые фонари.  
А вверху — там неважные вещи.  
Без конца. Без конца. Только муть.  
Мертвый в омуте месяц мерещится.  
Неужели я тоже? Забудь.  
Смерть еще далека (послезавтра я  
все продумаю), но иногда  
сердцу хочется «автора, автора!».  
В зале автора нет, господа.  
И покуда глядел он на месяц,  
синеватый, как кровоподтек,  
раздался где-то в дальнем предместье  
паровозный щемящий свисток.  
Лист бумаги, громадный и чистый,  
стал вытаскивать он из себя:  
лист был больше него и неистовствовал,  
завиваясь в трубу и скрипя.  
И борьба показалась запутанной,  
безысходной: я, черная мгла,  
я, огни и вот эта минута —  
и вот эта минута прошла.  
Но как знать, может быть, бесконечно  
драгоценная она, и потом  
пожалее, что бесчеловечно  
обошелся я с этим листом.  
Что-нибудь мне, быть может, напели  
эти камни и дальний свисток.  
И, пошарив по темной панели,  
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами  
(неповторной, поскольку она  
по-другому, с другими актерами,  
будет в новом театре дана),  
я почел бы за лучшее счастье  
так сложить ее дивный ковер,  
чтоб пришелся узор настоящего  
на былое, на прежний узор;

чтоб опять очутиться мне — о, не  
в общем месте хотений таких,  
не на карте России, не в лоне  
ностальгических неразберих,—  
но, с далеким найдя соответствие,  
очутиться в начале пути,  
наклониться — и в собственном детстве  
кончик спутанной нити найти.  
И распутать себя осторожно,  
как подарок, как чудо, и стать  
серединю многодорожного  
громогласного мира опять.  
И по яркому гомону птичьему,  
по ликующим липам в окне,  
по их зелени преувеличенной  
и по солнцу на мне и во мне,  
и по белым гигантам в лазури,  
что стремятся ко мне напрямик,  
по сверканью, по мощи, прищуриться  
и узнать свой сегодняшний миг.

1943

Кембридж, Масс

## КАКИМ БЫ ПОЛОТНОМ

Каким бы полотном батальным ни являлась  
советская сусальнейшая Русь,  
какой бы жалостью душа ни наполнялась,  
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой  
немного рабства — нет, о, нет,  
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,  
увольте, я еще поэт.

1944

Кембридж, Масс

## О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда  
говорится)  
смеяться, вы будете (как ясновидцы  
говорят) хохотать, господа —  
но, честное слово,  
у меня есть приятель,  
которого  
привела бы в волнение мысль поздороваться  
с главою правительства или другого какого  
предприятия.

С каких это пор, желал бы я знать,  
под ложечкой  
мы стали испытывать вроде  
нежного бульканья, глядя в бинокль  
на плотного с ежиком в ложе?

С каких это пор  
понятие власти стало равно  
ключевому понятию родины?  
Какие-то римляне и мясники,  
Карл Красивый и Карл Безобразный,  
совершенно гнилые князьки,  
толстогрудые немки и разные  
людоеды, любовники, ломовики,  
Иоанны, Людовики, Ленины,  
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,  
упираясь локтями в колени,  
на престолах своих матерых.  
Умирает со скуки историк:  
за Мамаем все тот же Мамай.

В самом деле, нельзя же нам с горя  
поступить, как чиновный Китай,  
кучу лишних веков присчитавший  
к истории скромной своей,  
от этого, впрочем, не ставшей  
ни лучше, ни веселей.

Кучера государств зато хороши  
при исполнении должности: шибко  
ледяная навстречу летит синева,  
огневые трещат на ветру рукава...

Наблюдатель глядит иностранный  
и спереди видит прекрасные очи навыкат,  
а сзади прекрасную помесь диванной  
подушки с чудовищной тыквой.

Но детина в регалиях или  
волк в макинтоше,  
в фуражке с немецким крутым козырьком,  
охрипший и весь перекошенный,  
в остановившемся автомобиле —  
или опять же банкет  
с кавказским вином —  
нет.

Покойный мой тезка,  
писавший стихи и в полоску,  
и в клетку, на самом восходе  
всесоюзно-мещанского класса,  
кабы дожил до полдня,  
нынче бы рифмы натягивал  
на «монументален»,  
на «переперчил»  
и так далее.

1944  
Кембридж, Масс

1

Качурин, твой совет я принял  
и вот уж третий день живу  
в музейной обстановке, в синей  
гостиной с видом на Неву.

Священником американским  
твой бедный друг переодет,  
и всем долинам дагестанским  
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев  
в подложном паспорте, не сплю:  
исследователям обоев  
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канапе устроясь,  
коленки приложив к стене  
и завернувшись в плед по пояс,  
толмач, приставленный ко мне.

2

Когда я в это воскресенье,  
по истечении почти  
тридцатилетнего затмения,  
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я в тумане  
весны, и молодого дня,  
и заглушенных очертаний  
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой  
цветной открытки без угла  
(отрезанного ради марки,  
которая в углу была);

когда все это появилось  
так близко от моей души,  
она, вздохнув, остановилась,  
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:  
в истоме юности опять  
мечтательно заныло тело,  
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,  
как я его уговорю,  
но тут зачмокал он спросонья  
и потянулся к словарю.

3

На этом я не успокоюсь,  
тут объяснение жизни всей,  
остановившейся, как поезд  
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье  
в шестидесяти девяти  
верстах от города, от зданья,  
где запинаясь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,  
на темном видный, и потом  
захлест сирени станционной,  
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный  
в дрожащих ручейках, и все  
подробности берез, и красный  
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,  
все бедненькие, каковы  
край сизой тучи, ромб лазури  
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный  
в таком пальто, в таких очках  
(и, в сущности, совсем прозрачный,  
с романом Сирина в руках)?

4

Мне страшно. Ни столбом ростральным,  
ни ступенями при луне,  
ведущими к огням спиральным,  
ко ргутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече  
я, впрочем, все скажу тебе  
о новом, о широкоплечем  
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.  
Качурин, можно мне домой?  
В пампасы молодости вольной,  
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли  
вернуться к теме тетивы,  
к чарующему чапаралю  
из «Всадника без головы»,

чтоб в Матагордовом Ущелье  
заснуть на огненных камнях  
с лицом, сухим от акварели,  
с пером вороньим в волосах?

1947  
Кембридж, Масс

## БЫЛ ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Был день как день. Дремала память. Длилась  
холодная и скучная весна.  
Внезапно тень на дне зашевелилась —  
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею.  
Но как затопала, как затряслась,  
как горячо цепляется за шею,  
в ужасном мраке на руки просясь.

1951  
Итака

## НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ

В последний раз лиясь листьями  
между воздушными перстами  
и проходя перед грозой  
от зелени уже настойчивой

до серебристости простой,  
олива бедная, листва  
искусства, плещет, и слова  
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза  
и одобрение бродяги,  
если б не лилия в овраге,  
если б не близкая гроза.

1953  
Итака

## КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

Какое сделал я дурное дело,  
и я ли развратитель и злодей,  
я, заставляющий мечтать мир целый  
о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди,  
и жгут таких, как я, за волшебство,  
и, как от яда в полном изумруде,  
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,  
корректору и веку вопреки,  
тень русской ветки будет колебаться  
на мраморе моей руки.

27 декабря 1959  
Сан-Ремо

## С СЕРОГО СЕВЕРА

С серого севера  
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела на все  
погасить недоимки.  
Знакомое дерево  
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.  
Дом с колоннами. Оредежь.  
Отовсюду почти  
мне к себе до сих пор еще  
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам  
на приморском песке  
приносится мальчиком  
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого  
с каймой фиолетовой  
до стеклышка матово-  
зеленоватого,  
он приносит торжественно.

Вот это Батово.  
Вот это Рождествено.

20 декабря 1967  
Монтре

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ  
В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

## АКРОПОЛЬ

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?  
Кто там поет пред мрамором богини?  
Ты, мысль моя. В резной тени колонн  
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эрехтейон,  
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;  
спускаюсь вниз, и вот запечатлен  
в пыли веков мой след, от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти:  
там, чудится, по Млечному Пути  
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...  
О, как свежа, благоговейна тишь  
в святилище, где дышит тень оливы!

1919  
Англия

## ПАНИХИДА

Сколько могил,  
сколько могил,  
ты — жестока, Россия!  
Родина, родина, мы с упованием,  
сырые, верные, греем последним дыханьем  
ноги твои ледяные.  
Хватит ли сил?  
Хватит ли сил?  
Ты давно ведь ослепла...  
В сумрачной церкви поют и рыдают.  
Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют  
облаком черного пепла.  
Капает воск,  
капает воск.  
И на пальцах твердеет.  
Стонет старик пред иконою смуглой.  
Глухо молитву поют; звук тяжелый и круглый  
катится, медлит, немеет...  
Капает воск,  
капает воск,  
как слеза за слезою.  
Плещет кадило пред мертвым, пред гробом.  
Родина, родина! Ты исполинским сугробом  
встала во мгле надо мною.  
Мрак обступил,  
мрак обступил...  
Неужели возможно  
верить еще? Да, мы верим, мы верим  
и оскорбленной мечтою грядущее мерим...  
Верим, но сердце — тревожно.  
Сколько могил,  
сколько могил,  
ты — жестока, Россия!  
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованием,  
сырые, верные, греем последним дыханьем  
ноги твои ледяные...

⟨1920⟩

## У КАМИНА

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом  
зацветающие угольки  
расправляют в камине угрюмом  
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,  
в золотые глаза угольков,  
я гляжу, изумленно внимая  
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,  
оживают слова, как цветы:  
узнаю понемногу приметы  
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я все, что, бывало,  
хоть на миг умилило меня:  
ствол сосны пламенеющий, алый  
на закате июльского дня...

13 марта 1920

## ТИХАЯ ОСЕНЬ

У самого крыльца обрызгала мне плечи  
протянутая ветвь. Белеет небосклон,  
и солнце на луну похоже, и далече,  
далече, как дымок, восходит тонкий звон,  
вон там, за нежно пожелтевшим  
сквозным березняком, за темною рекой...  
И сердце мягкой сжимается тоской,  
и, сетуя, поет, и вторит пролетевшим  
чудно-унылым журавлям,  
за облаками умолкая...

А солнце круглое чуть тлеет; и такая  
печаль воздушная блуждает по полям,  
так расширяется и скорбно и прекрасно  
полей бледнеющая даль,  
что сердцу кажется притворною, напрасной  
людская шумная печаль.

⟨1921⟩

\* \* \*

Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей.  
Уж полдень. Рожицы березовой опушка  
и солнце мокрое.

Задумчиво кукушка  
считает золото, что капает с ветвей,  
и рада сырости пятнистая лягушка,  
и тонет в капельке уродик-муравей,  
и скромно гриб стоит, как толстый человечек,  
под красным зонтиком, и зыблется везде  
под плачущей листвой сеть огненных колечек,  
а в плачущей траве — серебряной звезде  
ромашки — молится неистово кузнечик,  
и, по небу скользя, как будто по воде,  
блистает облако...

<1921>

## РОДИНА

Как весною мой север призывен!  
О, мятежная свежесть его!  
Золотой, распеваящий ливень,  
а потом — торжество... торжество...

Облака восклицают невнятно.  
Вся черемуха в звонких шмелях.  
Тают бледно-лиловые пятна  
на березовых светлых стволах.

Над шумливой рекою, — тяжелой  
от лазури влекомых небес, —  
раскачнулся и замер веселый,  
но́ еще неуверенный лес.

В глубине изумрудной есть место,  
где мне пальцы трава леденит,  
где, как в сумерках храма невеста,  
первый ландыш, сияя, стоит...

Неподвижен, задумчиво-дивен  
ослепительный, тонкий цветок...  
Как весною мой север призывен!  
Как весною мой север далек!

⟨1921⟩

## МОЯ ВЕСНА

Все загудело, все блеснуло,  
так стало шумно и светло!  
В лазури облако блеснуло,  
как лебединое крыло.

И лоснится, и пахнет пряно  
стволов березовых кора,  
и вся в подснежниках поляна,  
и роща солнечно-пестра.

Вот серые, сырые сучья,  
вот блески свернутых листков...  
Как спутываются созвучья  
гремящих птичьих голосов!

И, многозвучный, пьяный, вольный,  
гуляет ветер, сам не свой.  
И ухает звон колокольный  
над темно-синию рекой!

Ах, припади к земле дрожащей,  
губами крепко припади,  
к ее взволнованно звенящей,  
благоухающей груди!

И, над тобою пролетая,  
божественно озарена,  
пусть остановится родная,  
неизъяснимая весна!

⟨1921⟩

## БЕЖЕНЦЫ

Я объездил, о Боже, твой мир,  
оглядел, облизал,— он, положим,  
горьковат... Помню пыльный Каир:  
там сапожки я чистил прохожим...  
Также помню и бойкий Бостон,  
где плясал на кабацких подмостках...  
Скучно, Господи! Вижу я сон,  
белый сон о каких-то березках...  
Ах, когда-нибудь райскую весть  
я примечу в газетке раскрытой,  
и рванусь и без шапки, как есть,  
возвращусь я в мой город забытый!  
Но, увы, приглянувшись к нему,  
не узнаю... и скорчусь от боли;  
даже вывесок я не пойму:  
по-болгарски написано, что ли...  
Поброжу по садам, площадям,—  
большеглазый, в поношенном фраке...  
«Извините, какой это храм?»  
И мне встречный ответит: «Исакий».  
И друзьям он расскажет потом:  
«Иностранец пристал, все дивился...»  
Буду новое чують во всем  
и томиться, как вчуже томился...

〈1921〉

## ЗНАЕШЬ ВЕРУ МОЮ?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?  
Голубою весной облака я люблю,  
райский сахар на блюде блестящем;  
и люблю я, как льются под осень дожди,  
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.  
Есть такие закаты, что хочется плакать,  
а иному шепнешь: подожди.  
Если ветер ты любишь и ветки сырые,  
Божьи звезды и Божьих зверьков,  
если видишь при сладостном слове «Россия»  
только даль и дожди золотые, косые  
и в колосьях лазурь васильков,—  
я тебя полюблю, как люблю я могучий,  
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,  
и мохнатых цветных червяков;  
полюблю я тебя оттого, что заметишь  
все пылинки в луче бытия,  
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.

Вот вся вера моя.

<1921> \_

## ПЕТЕРБУРГ

Так вот он, прежний чародей,  
глядевший вдаль холодным взором  
и гордый гулом и простором  
своих волшебных площадей,—  
теперь же, голодом томимый,  
теперь же, падший властелин,  
он умер, скорбен и один...  
О город, Пушкиным любимый,  
как эти годы далеки!  
Ты пал, замученный, в пустыне...  
О, город бледный, где же ныне  
твои туманы, рысаки,  
и сизокрылые шинели,  
и разноцветные огни?  
Дома скосились, почернели,  
прохожих мало, и они  
при встрече смотрят друг на друга  
глазами, полными испуга,  
в какой-то жалобной тоске,  
и все потухли, исхудали:  
кто в бабьем выцветшем платке,  
кто просто в ветхом одеяле,  
а кто в тулупе, но босой.  
Повсюду выросла и сгнила  
трава. Средь улицы пустой  
зияет яма, как могила;  
в могиле этой — Петербург...

Столица нищих молчалива,  
в ней жизнь угрюма и пуглива,  
как по ночам мышиный шурк  
в пустынном доме, где недавно  
смеялись дети, пел рояль  
и ясный день кружился плавно —  
а ныне пыльная печаль  
стоит во мгле бледно-лиловой;  
вдовец завесил зеркала,  
чуть пахнет ладаном в столовой,  
и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:  
живое утро, свет, размах.  
Окошки искрятся в домах,  
блестит карниз, как меловая  
черта на грифельной доске.  
Собора купол вдалеке  
мерцает в синем и молочном  
весеннем небе. А кругом —  
числа нет вывескам лубочным:  
кривая прачка с утюгом,  
две накрест сложенные трубки  
сукна малинового, ряд  
смазных сапог, иль виноград  
и ананас в охряном кубке,  
или, над лавкой мелочной,  
рог изобилья полустертый...  
О, сколько прелести родной  
в их смехе, красочности мертвой,  
в округлых знаках, букве ять,  
подобной церковке старинной!  
Как, на чужбине, в час пустынный  
все это больно вспоминать!

\* \* \*

Брожу в мечтах, где брел когда-то.  
Моя синеющая тень  
струится рядом, угловато  
перегибаясь. Теплый день  
горит и ясно и неясно.  
Посередине мостовой  
седой, в усах, городской  
столбом стоит, и дворник красный  
шуршит метлою. Не горя,  
цветок жемчужный фонаря,  
закрывшись сонно, повисает  
на тонком, выгнутом стебле.  
(Он в час вечерний воскресает,  
и свет сиреневый во мгле  
жужжит, втекая в шар сетистый,  
и мошки ластьются к стеклу.)  
Торчит из будки, на углу,  
зеленовато-водянистый  
юмористический журнал.

Три воробья неумоимо  
клюют навоз. Проходят мимо  
посыльный с бляхой, генерал,  
в носочках лунных фронт дебелий,  
худая барышня в очках,  
другая, в шляпе нежно-белой  
и с завитками на щеках,  
чуть отуманенных румянцем;  
газетчик, праздный молодец,  
в галошах мальчик с пегим ранцем,  
шаров воздушных продавец  
(знакомы с детства гроздь цветная,  
передник, ножницы его).  
Гляжу я, все запоминая,  
не презирая ничего...

Морская улица. Под аркой,  
на красной внутренней стене  
бочком торчат, как гриб на пне,  
часы большие. Синью жаркой,  
перед дворцом, на мостовой  
сияют лужи, и ограда  
в них отразилась. Там, вдоль сада,  
над обольстительной Невой,  
в весенний день пройдешь, бывало:  
дворцы, как призраки, легки,  
весна гранит околдовала,  
и риза синяя реки  
вся в мутно-розовых заплатах.  
Два смуглых столбика крылатых  
за ней, у биржи, различишь.  
Идет навстречу оборванец:  
под мышкой клетка, в клетке чиж;  
повеет Вербой... Влажный глянец  
на листьях липовых дрожит,  
со скрипом жметса баржа к барже,  
по круглым камням дребезжит  
пролетка старая,— и стар же  
убогий ванька, день-деньской  
на облучке сидящий криво,  
как кукла мягкая... Тоской  
туманной, ласковой, стыдливой,  
тоскою северной весны  
цветы и звуки смягчены.

Да, были дни,— но незаконно  
сменила буря тишину.  
Я помню, город погребенный,  
твою последнюю весну,  
когда на площади дворцовой,  
махая тряпкою пунцовой,  
вприсядку лихо смерть пошла!  
Уже зима тускнела, мокла,  
фиалка первая цвела,  
но сквозь простреленные стекла  
цветочных выставок протек  
иных, болезненных растений  
слащавый дух, подобный тени  
блудницы пьяной, и цветок  
бумажный, яростный и жалкий,  
заместо мартовской фиалки,  
весной искусственной дыша,  
алел у каждого в петлице.  
В своей таинственной темнице  
Невы крамольная душа  
очнулась, буйная свобода  
ее окликнула,— но звон  
могучий, вольный ледохода  
иным был гулом заглушен.  
Неискупимая година!  
Слепая жизнь над бездной шла:  
за ночью ночь, за мглою мгла,  
за льдиной тающая льдина...  
Пьянел неистовый народ.  
Безумец, каторжник, мечтатель,  
поклонник радужных свобод,  
картавый плут, чревовещатель,—  
сбежались все; и там и тут,  
на площадях, на перекрестках,  
перед народом, на подмостках  
захлебывался бритый шут...

Не надо, жизнь моя, не надо!  
К чему их вопли вспоминать?  
Есть чудно-грустная отрада:  
уйти, не слушать, отстранять  
день настоящий, как глухую  
завесу, видеть пред собой  
не взмах пожаров в ночь лихую,

а купол в дымке голубой,  
да цепь домов веселых, хмурых,  
оливковых, лимонных, бурых,  
и кирку, будто паровоз  
в начале улицы, над Мойкой.  
О, как стремительно, как бойко  
катился поезд, полный грез,—  
мои сверкающие годы!  
Крушение было. Брошен я  
в иные, чуждые края,  
гляжу на зори через воды  
среди волнующейся тьмы...  
Таких, как я, немало. Мы  
блуждаем по миру бессонно  
и знаем: город погребенный  
воскреснет вновь, все будет в нем  
прекрасно, радостно и ново,—  
а только прежнего, р о д н о г о,  
мы никогда уж не найдем...

⟨1921⟩

## ХРАМ

*Стоял костел незрублены,  
а в тум костеле три оконечки...*

Стих калик переходящих

Тучи ходят над горами,  
путник бродит по горам,  
на утесе видит храм:  
три оконца в этом храме  
небольшом, да расписном;  
в первом светится оконце  
ослепительное солнце,  
белый месяц — во втором,  
в третьем звездочки... Прохожий!  
Здесь начало всех дорог...  
Солнце пламенное — Бог,  
Месяц ласковый — сын Божий,  
Звезды малые во мгле —  
Божьи дети на земле.

⟨1921⟩

## ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

1

В переулке на скрипке играет слепой.  
Здравствуй, осени!  
Пляшут листья, летят золотою толпой.  
Здравствуй, осени!  
Медяки из окна покатались, звеня.  
Славься, осени!  
Ветер легкими листьями бросил в меня.  
Славься, осень!

2

Стою я на крыльце. Напротив обитает  
ценитель древностей; в окошке пастушок  
точеный выставлен. В лазури тучка тает,  
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый, блестящий человек:  
чернеют близ меня два голых дерева,  
и сколько золотых рассыпанных сердечек  
на ступенях крыльца.

8 ноября 1921  
Кембридж

## НОЧЬ

Уж догорел лучистый край  
летучей тучки, и, вздыхая,  
ночь подошла... О, голубая,  
о, величавая, сияй,  
сияй мне бесконечно: всюду,  
где б ни застала ты меня,—  
у кочевого ли огня  
иль в гордом городе — я буду,  
о, звездная, как ныне, рад  
твоей улыбке непостижной...  
Я выпрямлюсь и взор недвижный  
скрещу с твоим! О, как горят,  
ночь ясная, твои запястья,  
да, ослепи, да, опьяни...  
Я лучшего не знаю счастья!  
Ночь, ты развертываешь рай  
над темным миром и, вздыхая,  
на нас глядишь... О, голубая,  
о, величавая, сияй!

⟨1921⟩

## ПОЭТ

Являюсь в черный день родной моей земли,  
поблекшие сердца, в пыли поникли долу...  
Но, с детства преданный глубокому глаголу,  
нам данному затем, чтоб мыслить мы могли,  
как мыслят яркие клубящиеся воды,—  
я все же, в этот век поветренных скорбей,  
молюсь величию и нежности природы,  
в земную верю жизнь, угадывая в ней  
дыханье Божие, лазурные просветы,  
и славлю радостно творенье и Творца,  
да будут злобные, пустынные сердца  
моими песнями лучистыми согреты...

1921?

## РОССИИ

Не предаюсь пустому гневу,  
не проклинаю, не молю;  
как изменившую мне деву,  
отчизну прежнюю люблю.

Но как я одинок, Россия!  
Как далеко ты отошла!  
А были дни ведь и другие:  
ты сострадательной была.

Какою нежностью щемящей,  
какою страстью молодой  
звенел в светло-зеленой чаще  
смех приближающийся твой!

Я целовал фиалки мая,—  
глаза невинные твои,—  
и лепестки, все понимая,  
чуть искрились росой любви...

И потому, моя Россия,  
не смею гневаться, грустить...  
Я говорю: глаза такие  
у грешницы не могут быть!

1921?

## СУФЛЕР

С восьми до полночи таюсь я в будке тесной,  
за книгой, много раз прочитанной, сижу  
и слышу голос ваш... Я знаю,— вы прелестны,  
но, спутаться боясь, на вас я не гляжу.  
Не ведаете вы моих печалей скрытых...  
Я слышу голос ваш, надтреснутый слегка,  
и в нем,— да, только в нем, а не в словах избитых,—  
звучат пленительно блаженство и тоска.  
Все так недалеко, все так недостижимо!  
Смеетесь, плачете, стучите каблучком,  
вблизи проходите, и платье, вея мимо,  
вдруг обдает меня воздушным холодком.  
А я,— исполненный и страсти и страданья,  
глазами странствуя по пляшущим строкам,—  
я кукольной любви притворные признанья  
бесстрастным шепотом подсказываю вам...

⟨1922⟩

## ПЕТЕРБУРГ

Он на трясине был построен  
среди бури творческих времен:  
он вырос — холоден и строен,  
под вопли нищих похорон.

Он сонным грезам предавался,  
но под гранитную пятой  
до срока тайного скрывался  
мир целый, — мстительно-живой.

Дышал он смертною отравой,  
весь беззаконных полон сил.  
А этот город величавый  
главу так гордо возносил.

И оснеженный, в дымке синей  
однажды спал он, — недвижим,  
как что-то в сумрачной трясине  
внезапно вздрогнуло под ним.

И все кругом затрепетало,  
и стоглагольный грянул зов:  
раскрывшись, бездна отдавала  
завороженных мертвецов.

И пошатнулся всадник медный,  
и помрачился свод небес,  
и раздавался крик победный:  
«Да здравствует болотный бес».

⟨1922⟩

## ВЕСНА

Ты снишься миру снова, снова,—  
весна! — я душу распахнул;  
в потоках воздуха ночного  
я слушал, слушал горний гул!

Блаженный блеск мне веял в очи.  
Лазурь торжественная ночи  
текла над городом, и там,  
как чудо, плавал купол смуглый,  
и гул тяжелый, гул округлый  
всходил к пасхальным высотам!

Клубились бронзовые волны,  
и каждый звук, как будто полный  
густого меда, оставлял  
в лазури звездной след пахучи...,  
и Дух стокий, Дух могучий  
восторг земли благословлял.

Восторг земли, дрожащей дивно  
от бури, бури непрерывной  
еще сокрытых, гулких вод...  
я слушал, в райский блеск влюбленный,  
и в душу мне дышал бездонный  
золотозвонный небосвод!

И ты с весною мне приснилась,  
ты, буйнокудрая любовь,  
и в сердце радостном забилась  
глубоким колоколом кровь.

Я встал, крылатый и высокий,  
и ты, воздушная, со мной...  
Весны божественные соки  
о солнце бредят под землей!

И будут утром отраженья,  
и световая пестрота,  
и звон, и тени, и движенье,  
и ты, о, звучная мечта!

И в день видений, в вихре синем,  
когда блеснут все купола,—  
мы, обнаженные, раскинем  
четыре огненных крыла!

⟨1922⟩

## РОССИЯ

Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...  
Я дивно одинок. Ни звука, ни луча...  
Ночь за оконницей безмолвна, как изгнанье,  
черна, как совесть палача.

Мой рай уже давно и срублен, и распродан...  
Я рос таинственно в таинственном краю,  
но Бог у юного, небрежного народа  
Россию выхолил мою.

Рабу стыдливую, поющую про зори  
свои дрожащие, увел он в темноту  
и в ужасе ее, терзанных и позоре  
познал восторга полноту.

Он груди вырвал ей, глаза святые выжег,  
и что ей пользы в том, что в тишь ее равнин  
польется ныне смрад от угольных изрыжек  
Европой пущенных машин?

Напрасно ткут они, напрасно жнут и веют,  
развозят по Руси и сукна, и зерно:  
она давно мертва, и тленом ветры веют,  
и все, что пело, сожжено.

Он душу в ней убил. Хватил с размаху о пол  
младенца теплого. Вдавил пятою в грязь  
живые лепестки и, скорчившись, захлопал  
в ладоши, мерзостно смеясь.

Он душу в ней убил — все то, что распевало,  
тянулось к синеве, плясало по лесам,  
все то, что при луне над водами всплывало,  
все, что прочувствовал я сам.

Все это умерло. Христу ли, Немезиде  
молиться нам теперь? Дождемся ли чудес?  
Кто скажет наконец лукавому: изыди?  
кого послушается бес?

Все это умерло, и все же вдохновенье  
волнуется во мне, сгораю, но пою.  
Родная, мертвая, я чаю воскресенья  
и жизнь грядущую твою!

〈1922〉

## ГРИБЫ

У входа в парк, в узорах летних дней  
    скамейка светит, ждет кого-то.  
На столике железном перед ней  
    грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —  
    что пальчики на детской ножке.  
Их извлекла так бережно рука  
    из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь  
    на шляпках выгнутых, дырявых;  
они во мраке влажном вознеслись  
    под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,  
    таких родных, пахучих, мшистых,  
и слезы леса летнего горят  
    на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой — посмотри —  
    плетеная корзинка боком  
лежит, и вся испачкана внутри  
    черничным лиловатым соком.

13 ноября 1922

## СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Как призрак я иду, и реет в тишине  
такая тающая нега,—  
что словно спишь в раю и чувствуешь во сне  
порханье ангельского снега.

Как поцелуи губ незримых и немых,  
снежинки на ресницах тают.  
Иду, и фонари в провалах кружевных  
слезами смутными блистают.

Ночь легкая, целуй, ночь медленная, лей  
сладчайший снег зимы Господней,—  
да светится душа во мраке все белей,  
и чем белей, тем превосходней.

Так, ночью, в вышине воздушной бытия,  
сквозь некий трепет слепо-нежный  
навстречу призракам встает душа моя,  
проникшись благодати снежной.

⟨1922⟩

## НЕВЕСТА РЫЦАРЯ

Жду рыцаря, жду юного Ивэйна,  
и с башни вдаль гляжу я ввечеру.  
Мои шелка вздыхают легковейно,  
и огневает сердце на ветру.

Твой светлый конь и звон его крылатый  
в пыли цветной мне снится с вышины.  
Твои ли там поблескивают латы  
иль блеска слез глаза мои полны?

Я о тебе слыхала от трувэра,  
о странствиях, о подвигах святых.  
Я ведаю, что истинная вера  
душистей роз и сумерек моих.

Ты нежен был,— а нежность так жестока!  
Одна, горю в вечерней вышине.  
В блистанье битв, у белых стен Востока,  
таишь любовь учтивую ко мне.

Но возвратись... Пускай твоя кольчуга  
сомнет мою девическую грудь...  
Я жду, Ивэйн, не призрачного друга,—  
я жду того, с кем сладостно уснуть.

⟨1922⟩

## ПЕГАС

Гляди: вон там, на той скале — Пегас!  
Да, это он, сияющий и бурный!  
Приветствуй эти горы. День погас,  
а ночи нет... Приветствуй час пурпурный.

Над крутизной огромный белый конь,  
как лебедь, плещет белыми крылами,—  
и вот взвился, и в тучи, над скалами,  
плеснул копыт серебряный огонь.

Ударил в них, прожег одну, другую  
и в исступленном пурпуре исчез.  
Настала ночь. Нет мира, нет небес,—  
все — только ночь. Приветствуй ночь нагую.

Вглядись в нее: копыта след крутой  
узнай в звезде, упавшей молчаливо.  
И Млечный Путь плывет над темнотой  
воздушною распушенной гривой.

<1922>

## ВОЛЧОНОК

Один, в рождественскую ночь, скулит  
и ежится волчонок желтоглазый.  
В седом лесу лиловый свет разлит,  
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,  
мерцают, ангелам щекочут пятки.  
Взъерошенный волчонок ждет чудес,  
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих  
все ходят и советуются тихо,  
и вот один прикинулся из них  
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам  
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.  
Волчонку, елкам, звездным небесам —  
всем было в эту ночь отрадно.

8 декабря 1922

## ЖУК

В саду, где по ночам лучится и дрожит  
луна сквозь локоны мимозы,  
ты видел ли, поэт?— живой сапфир лежит  
меж лепестков блаженной розы.

Я тронул выпуклый, алеющий огонь,  
огонь цветка, и жук священный,  
тяжелый, гладкий жук мне выпал на ладонь,—  
казалось: камень драгоценный.

В саду, где кипарис, как черный звездочет,  
стоит над лунною поляной,  
где соловьиный звон всю ночь течет, течет,—  
кто, кто любезен розе рдяной?

Не мудрый кипарис, не льстивый соловей,  
а бог сапфирный, жук точеный;  
с ним роза счастлива... Поэт, нужны ли ей  
твои влюбленные пэоны?

〈1922〉

ЛЕГЕНДА  
О СТАРУХЕ, ИСКАВШЕЙ  
ПЛОТНИКА

Домик мой, на склоне, в Назарете,  
почернел и трескается в зной.  
Дождик ли стрекочет на рассвете,—  
мокну я под крышею сквозной.

Крыс-то в нем, пушистых мухоловок,  
скорпионов сколько... как тут быть?  
Плотник есть: не молод и не ловок,  
да, пожалуй, может подсобить.

День лиловый гладок был и светел.  
Я к седому плотнику пошла;  
но на стук никто мне не ответил,  
постучала громче, пождала.

А затем толкнула дверь тугую,  
и, склонив горящий гребешок,  
с улицы в пустую мастерскую  
шмыг за мной какой-то петушок.

Тишина. У стенки дремлют доски,  
прислонясь друг к дружке, и в углу  
дремлет блеск зазубренный и плоский  
там, где солнце тронуло пилу.

Петушок, скажи мне, где Иосиф?  
Петушок, ушел он,— как же так?—  
все рассыпав гвоздики и бросив  
кожаный передник под верстак.

Потопталась смутно на пороге,  
восвояси в гору поплелась.  
Камешки сверкали на дороге.  
Разомлела, грезить принялась.

Все-то мне, старухе бестолковой,  
вспоминалась плотника жена:  
поглядит, бывало, молвит слово,  
улыбнется, пристально-ясна;

и пройдет, осленка понукая,  
лепестки, колючки в волосах,—  
легкая, лучистая такая,—  
а была, голубка, на сносях.

И куда ж они бежали ныне?  
Грезя так, я, сгорбленная, шла.  
Вот мой дом на каменной вершине,—  
глянула и в блеске замерла...

Предо мной,— обделанный на диво,  
новенький и белый, как яйцо,  
домик мой, с оливою радивой,  
серебром купающей крыльцо!

Я вхожу... Уж в облаке лучистом  
разметалось солнце за бугром.  
Умиляюсь, плачу я над чистым,  
синим и малиновым ковром.

Умер день. Я видела осленка,  
петушка и гвоздики во сне.  
День воскрес. Дивясь, толкуя звонко,  
две соседки юркнули ко мне.

Милые! Сама помолодею  
за сухой, за новою стеной!  
Говорят: ушел он в Иудею,  
старый плотник с юною женой.

Говорят: пришедшие оттуда  
пастухи рассказывают всем,  
что в ночи сияющее чудо  
пролилось на дальний Вифлеем...

<1922>

## ПЕТЕРБУРГ

Мне чудится в Рождественское утро  
мой легкий, мой воздушный Петербург...  
Я странствую по набережной... Солнце  
взошло туманной розой. Пухлым слоем  
снег тянется по выпуклым перилам.  
И рысаки под сетками цветными  
проносятся, как сказочные птицы;  
а вдалеке, за ширью снежной, тают  
в лазури сизой розовые струи  
над кровлями: как призрак золотистый,  
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка:  
сперва дымок, потом раскат звенящий);  
и на снегу зеленой бирюзью  
горят квадраты вырезанных льдин.

Приземистый вагончик темно-синий,  
пером скользя по проволоке тонкой,  
через Неву пушистую по рельсам  
игрушечным бежит себе, а рядом  
расчищенная искрится дорожка  
меж елочек, повоткнутых в сугробы:  
бывало, сядешь в кресло на сосновых  
полозьях,— парень в желтых рукавицах  
за спинку хватать,— и вот по голубому  
гудящему ледку толкает, крепко  
отбрасывая ноги, косо ставя  
ножи коньков, веревкой кое-как  
прикрученные к валенкам, тупые,  
такие же, как в пушкинские зимы...

Я странствую по городу родному,  
по улицам таинственно-широким,  
гляжу с мостов на белые каналы,  
на пристани и рыбные садки.  
Катки, катки,— на Мойке, на Фонтанке,  
в юсуповском серебряном раю:  
кто учится, смешно раскинув руки,  
кто плавные описывает дуги,  
и бегуны в рейтузах шерстяных

гоняются по кругу, перегнувшись,  
сжав за спиной футляр от этих длинных  
коньков своих, сверкающих как бритвы,  
по звучному лоснящемуся льду.

А в городском саду — моем любимом —  
между Невой и дымчатым собором,  
сияющие, легкие виденья  
сквозных ветвей склоняются над снегом,  
над будками, над каменным верблюдом  
Пржевальского, над скованным бассейном, —  
и дети с гор катаются, гремят,  
ложась ничком на бархатные санки.

Я помню все: Сенат охряный, тумбы  
и цепи их чугунные вокруг  
седой скалы, откуда рвется в небо  
крутой восторг зеленоватой бронзы.  
А там, вдаль, над сетью серебристой,  
над кружевами дивными деревьев —  
там величаво плавает в лазури  
морозом очарованный Исакий:  
воздушный луч на куполе туманном,  
подернутые инеем колонны...

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки  
в душе моей, как чудо, сохранится  
твой легкий лик, твой воздух несравненный,  
твои сады, и дали, и каналы,  
твоя зима, высокая, как сон  
о стройности нездешней...

Ты растаял,  
ты отлетел, а я влачу виденья  
в иных краях, — на площадях зеркальных,  
на палубах скользящих... Трудно мне...  
Но иногда во сне я слышу звуки  
далекие, я слышу, как в раю  
о Петербурге Пушкин ясноглазый  
беседует с другим поэтом, поздно  
пришедшим в мир и скорбно отошедшим,  
любившим город свой непостижимый  
рыдающей и реющей любовью...

И слышу я, как Пушкин вспоминает  
все мелочи крылатые, оттенки  
и отзвуки: «Я помню,— говорит,—  
летучий снег, и Летний Сад, и лепет  
Олениной... Я помню, как, женатый,  
я возвращался с медленных балов  
в карете дребезжащей по Мильонной,  
и радуги по стеклам проходили,  
но, веришь ли, всего живее помню  
тот легкий мост, где встретил я Данзаса  
в январский день, пред самую дуэлью...»

〈1923〉

## ЖЕМЧУГ

Посланный мудрейшим властелином  
страстных мук изведать глубину,  
тот блажен, кто руки сложит клином  
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда,  
среди морских свивающихся звезд,  
зачерпнет он раковину: чудо  
будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув  
яркими кругами водный лоск,  
и спокойно улыбнется, вынув  
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,  
я на дне. Но снизу, сквозь струи,  
все же внемлю шелковому звуку  
уносящейся твоей ладьи.

14 января 1923

## СОН

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно  
снилось мне, что в пропасти окна  
высилась, как череп великана,  
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво  
выгнувшись под вздутой простыней,  
всю подушку заливая гривой,  
конь лежал атласно-вороной.

А вверху — часы стенные, с бледным,  
бледным человеческим лицом,  
поводили маятником медным,  
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,  
промолчал, притих перед бедой  
сонник мой с закладкой васильковой  
на странице, читанной с тобой...

15 января 1923

## ЧЕРЕЗ ВЕКА

В каком раю впервые прожурчали  
истоки сновиденья моего?  
Где жили мы, где встретились вначале,  
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе, из Рима  
я выслал в Байи голого гонца  
с мольбой к тебе, но ты неуловима  
и сказочной осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне  
сирийских стрел и рыцарских мечей  
мне снилось: ты — за пряжей, на балконе,  
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда  
играла ты, когда я по нагим  
волнам в неведомое Эльдорадо  
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, калиострововой науки  
мы оправданьем были: годы шли,  
вставали за разлуками разлуки  
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,  
пока в тюрьме душа тобой цвела,  
а дверь мою тюремщик метил мелом,  
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести  
лепажи зарядив и разрядив,  
я шел, веселый, к Делии — к невесте,  
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вплоборота,  
так поднимая руку, чтобы грудь  
прикрыть локтем, я целился в кого-то  
и не успел тугой курок пригнуть.

Вста́вали за разлуками разлуки,  
и вно́вь я здесь, и вно́вь мелькнула ты,  
и вно́вь я обречен извечной муке  
твоей неуловимой красоты.

16 января 1923

\* \* \*

Я где-то за городом, в поле,  
и звезды гулом неземным  
плывут, и сердце вздулось к ним,  
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод —  
и все труднее, все суровой —  
в моих бессонных жилах бьет  
глухое всхлипыванье крови.

Но в этой пустоте ночной,  
при этом голом звездном гуле,  
вложу ли в барабан резной  
тугой и тусклый жемчуг пули

и, дула кисловатый лед  
прижав о высохшее нёбо,  
в бесплотный ринуть ли полет  
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму  
великолепный и тяжелый —  
всю полнозвучность ночи голой  
и горя творческую тьму?

20 января 1923

## УЗОР

День за днем, цветущий и летучий,  
мчится в ночь, и вот уже мертво  
царство исполинское, дремучий  
папоротник счастья моего.

Но хранится, под землей беспечной,  
в сердце сокровенного пласта  
отпечаток веерный и вечный,  
призрак стрекозы, узор листа.

24 января 1923

\* \* \*

Ты все глядишь из тучи темно-сизой,  
и лилия — в светящейся руке;  
а я сквозь сон молю о лепестке  
и все ищу в изгибах смутной ризы  
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья  
ни в музыке, ни в камне... Исполбья  
глядят в мой сон два горестных луча.

27 января 1923

\* \* \*

И утро будет: песни, песни,  
каких не слышно и в раю,  
и огненный промчится вестник,  
взвив тонкую трубу свою.

Распахивая двери наши,  
он пронесется, протрубит,  
дыханьем расправляя чаши  
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,  
неслыханные острова,  
немыслимые закоулки,  
как пламя, облетит молва.

Тогда-то, с плавностью блаженной,  
как ясновидящие, все  
поднимемся и в путь священный  
по первой утренней росе.

30 января 1923

## РАЗМЕРЫ

Глебу Струве

Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,  
повествовал?— вот мерный амфибрахий...  
А хочешь петь — в эоловом размахе  
анапеста — звон лютен и ветрил.

Люби тройные отсветы лазури  
эгейской — в гулком дактиле; отметь  
гексаметра медлительного медь  
и мрамор,— и виденье на цезуре.

Затем: двусложных волн не презирай;  
есть бубенцы и ласточки в хорее:  
он искрится все звонче, все острее,  
торопится... А вот — созвучий рай,—

резная чаша: ярче в ней, и слаще,  
и крепче мысль; играет по краям  
блеск, блеск живой! Испей же: это ямб,  
ликующий, поющий, говорящий...

〈1923〉

## ГЕКСАМЕТРЫ

### ЧУДО

В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни;  
мелочь такую заметь,— чудо возникнет само.  
Так мореход, при луне увидавший моржа на утесе,  
внуков своих опьянит сказкой о деве морской.

### ОЧКИ ИОСИФА

Слезы отри и послушай: в солнечный полдень, старый  
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом  
мальчик вбежал в мастерскую, замер, заметил, подкрался,  
тронул легкие стекла, и только он тронул,— мгновенно  
по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл по далеким  
пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.

### СЕРДЦЕ

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то  
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,  
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю,  
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7 марта 1923

### ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.  
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем  
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.

19 марта 1923

## ГЕКЗАМЕТРЫ

Памяти В. Д. Набокова

Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,  
ты, погруженный в могилу, пробужденный, свободный,  
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами — до срока,  
спящими...

О, наклонись надо мной, сон мой подслушай —

снятся мне слезы, снятся напевы, снятся молитвы...  
Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам:  
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то прозрачны  
даже и скорби мои...

Я чую: ты ходишь так близко,  
смотришь на спящих; ветер твой нежный целует мне веки,  
что-то во сне я шепчу; наклонись надо мной и услышишь  
смутное имя одно, — что звучнее рыданий, и слаще  
песен земных, и глубже молитвы — имя отчизны.

<1923>

## РОДИНЕ

Посвящается моей сестре Елене

Воркующею теплотой шестая —  
чужая. — наливается весна.  
Все ждет тебя душа моя простая,  
гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий  
зеленоватых ландышей, когда  
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,  
а воздух — как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,  
звать изумленье рифмы и любви.  
Не укоряй в час трудного горенья,  
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.  
Взволнованно душа тебя зовет,  
текучий блеск твоих дождей и радуг,  
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо ярок,  
а наша встреча — творчески-тиха:  
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,  
вот капля солнца в венчике стиха.

31 марта 1923

## ВЛАСТЕЛИН

Я Индией невидимой владею:  
приди под синеву мою.  
Я прикажу нагому чародею  
в запястье обратить змею.

Тебе, неопикуемой царевне,  
отдам за поцелуй Цейлон,  
а за любовь — весь мой роскошный, древний,  
тяжелозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатно-горящий,  
тоскуют; и кругом дворца  
шумят, как ливни, пальмовые чаши,  
все ждем мы твоего лица.

Дам серьги — два стекающих рассвета,  
дам сердце — из моей груди.  
Я царь, и если ты не веришь в это,  
не верь, но все равно, приди!

⟨1923⟩

## РЕКА

Каждый помнит какую-то русскую реку,  
но бессильно запнется, едва  
говорить о ней станет: даны человеку  
лишь одни человечесьи слова.  
А ведь реки, как души, все разные... нужно,  
чтоб соседу поведать о них,  
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,  
изумрудную речь водяных.  
Но у каждого в сердце, где клад заковала  
кочевая стальная тоска,  
отзывается внятно, что сердцу, бывало,  
напевала родная река.

Для странников верных  
качнул я дыханьем души  
эти качели слогов равномерных  
в бессонной тиши.

Повсюду —  
в мороз и на зное —  
встретишь  
странников этих,  
несущих, как чудо,  
как бремя страстное,  
родину.

Сам я, бездомный,  
как-то ночью стоял на мосту  
в городе мгlistом,  
огромном,  
и глядел в маслянистую  
темноту  
рядом с тенью случайно любимой,  
стройной, как черное пламя,  
да только с глазами  
безнадежно чужими.

Я молчал, и спросила она на своем языке:  
«Ты меня уж забыл?» —  
и не в силах я был  
объяснить,  
что я там, далеко, на реке

илистой, тинистой, с именем милым,  
с именем что камышовая тишь...  
Это словно из ямочки в глине  
        черно-синий  
        выстрелит стриж.  
И вдоль по сердцу  
        носится  
с криком своим изумленным: вий-вии!  
Это было в России,  
это было в раю...  
        Вот,  
        гладкая лодка плывет  
        в тихоструйную юность мою,  
                мимо леса,  
        полного иволог, солнца, прохлады грибной,  
                мимо леса,  
        где березовый ствол чуть сквозит белизной  
        стройной  
        в буйном бархате хвойном,  
        мимо красных крутых берегов  
        парчевых островков,  
        мимо плавных полянок сырых, в скабиозах  
        и лютиках.  
Раз! — и тугие уключины  
звякают, — раз! — и весло на весу  
        проливает огнистые слезы  
        в зеленую тень.  
Чу! — в прибрежном лесу  
кто-то легко зааукал...  
Дремлет цветущая влага, подковы  
листьев ползучих, фарфоровый купол  
        цветка  
        водяного.  
Как мне запомнилась эта река,  
        узорная, узкая.  
Вечереет...  
        (и как объяснить,  
        что значило русское  
        «вечереет?»)  
        стрекоза, бирюзовая нить,  
        два крыла слюдяных — замерла  
        на перилах купальни...  
солнце в черемухах. Колокол дальний.  
        Тучки румяные, русые.

Червячка из чехла  
    выжмешь, за усики  
вытащишь и на крючок.  
    Ждешь. Клюет.  
Сладко дрогнет леса, и блеснет,  
шлепнет о мокрые доски  
голубая плотва, головастый бычок  
    или хариус жесткий.  
А когда мне удить надоест,  
на деревянный навес  
взберусь  
    (...Русь!..)  
    и оттуда беззвучно ныряю  
    в отраженный закат...  
Ослепленный, плыву наугад,  
    ширяю,  
навзничь ложусь — и не ведаю, где я —  
    в небесах, на воде ли.  
Мошкара надо мною качается  
вверх и вниз, вверх и вниз — без конца...  
Вечер кончается.  
Осторожно сдираю с лица  
липкую травку.  
В щиколку щиплет малявка:  
    сладок мне рыбий  
    слепой поцелуй.  
В лиловеющей зыби  
узел огненных струй —  
    и плыву я,  
    горю,  
    глотаю зарю  
    вечеровую...  
А теперь в бесприютном краю,  
уж давно не снимая котомки,  
качаю — ловлю я, качаю — ловлю  
строки о русской речонке,  
строки, как отблески солнца, бессвязные...  
А ведь реки, как души, все разные,  
    нужно,  
чтоб соседу поведать о них,  
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,  
изумрудную речь водяных.

Но у каждого в сердце, где клад заковала  
кочевая стальная тоска,  
отзывается внятно, что сердцу, бывало,  
напевала родная река...

8 апреля 1923  
Берлин

\* \* \*

Когда я по лестнице алмазной  
поднимусь из жизни на райский порог,  
за плечом, к дубинке легко привязан,  
будет заплата узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,  
медную плешь Петра у ворот.  
Он заметит: я что-то принес с собою —  
и остановит, не отопрет.

«Апостол,— скажу я,— пропусти мя!..»  
Перед ним развяжу я узел свой:  
два-три заката, женское имя  
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седую,  
но на ладони каждый изгиб  
пахнет еще гефсиманской росой  
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти  
приду я, зная, что, звякнув ключом,  
он улыбнется и меня пропустит,  
в рай пропустит с моим узелком.

21 апреля 1923

\* \* \*

О, как ты рвешься в путь крылатый,  
безумная душа моя,  
из самой солнечной палаты  
в больнице светлой бытия!

И, бредя о крутом полете,  
как топчешься, как бьешься ты  
в горячечной рубашке плоти,  
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком  
гудишь-звенишь сама с собой,  
вообразив себя ребенком,  
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,  
терпи, самообман любя,—  
смерть гроыхнет тугим засовом  
и в вечность выпустит тебя.

2 мая 1923

Пожаром яростного крапа  
маячу в травяной глуши,  
где дышит след и росный запах  
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,  
то близко, то вдали звеня,  
летит твой смех обезумелый  
и мучит и пьянит меня.

Луна пылает молодая,  
мед каплет на мой жаркий мех;  
бьет, скатывается, рыдая,  
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом  
пожаром гибким и слепым  
кружусь я, опьяненный звоном,  
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолуние  
в тиши настигну у ручья,  
сомну тебя, мое безумье  
серебряное, лань моя.

1923

## ГРОЗА

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,  
деревья ветер гнет и сам  
шалеет от игры, от звона  
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые  
по заблеставшей мостовой  
и над промокшею впервые  
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,  
не знаю. Громовой удар,  
как будто в огненные кегли  
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,  
стихает горняя игра,  
и вот вся улица пустая —  
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло  
из первой ямки голубой,  
и влажно в памяти скользнуло,  
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,  
лучи смеющихся ресниц.  
Наш зонтик, капли золотые  
на кончиках раскрытых спиц...

1923

\* \* \*

Живи, звучи, не поминай о чуде,—  
но будет день: войду в твой скромный дом,  
твой смех замрет, ты встанешь: стены, люди —  
все поплывет,— и будем мы вдвоем...

Прозреешь ты в тот миг невыразимый,  
спадут с тебя, рассыплются, звеня,  
стеклом поблескивая дутым, зимы  
и вёсны, прожитые без меня...

Я пламенем моих бессонниц, хладом  
моих смятений творческих прильну,  
взгляну в тебя — и ты ответишь взглядом  
покорным и крылатым в вышину.

Твои плеча закутав в плащ шумящий,  
я по небу, сквозь звездную росу,  
как через луг некошенный, дымящий,  
тебя в свое бессмертье унесу...

⟨1923⟩

## ПРОВАНС

Как жадно, затая дыханье,  
склоня колена и плеча,  
напьюсь я хладного сверканья  
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,  
лениво развяжу в тени  
евангелической оливы  
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,  
бродячей радуясь судьбе,  
без удивленья, без тревоги,  
быть может, вспомню о тебе.

И пенем дум моих влекома,  
в лазури лиловой дня,  
в знакомом платье незнакома,  
пройдешь ты, не узнав меня.

1923  
Сольес-Пон

## РОДИНА

Когда из родины звенит нам  
сладчайший, но лукавый слух,  
не празднословно, не молитвам  
мой предается скорбный дух.

Нет, не из сердца, вот отсюда,  
где боль неукротима, вот —  
крылом, окровавленной грудой,  
обрубком костяным — встает

мой клекот, клекотанье: Боже,  
Ты, отдыхающий в раю,  
на смертном, на проклятом ложе  
тронь, воскреси — ее... мою!..

〈1923〉

## ОЛЕНЬ

Слова — мучительные трубы,  
гремящие в глухом лесу,—  
следят, перекликаясь грубо,  
куда я пламя пронесу.

Но что мне лай Дианы жадной,  
ловитвы топот и полет?  
Моя душа — олень громадный —  
псов обезумевших стряхнет!

Стряхнет — и по стезе горячей  
промчится, распахнув рога,  
сквозь черные ночные чащи  
на огненные берега!

〈1923〉

\* \* \*

И в Божий рай пришедшие с земли  
устали, в тихом доме прилегли...

Летают на качелях серафимы  
под яблонями белыми. Скрипят  
веревки золотые. Серафимы  
кричат взволнованно...

А в доме спят,—  
в большом, совсем обыкновенном доме,  
где Бог живет, где солнечная лень  
лежит на всем; и пахнет в этом доме,  
как, знаешь ли, на даче,— в первый день...

Потом проснутся; в радостной истоме  
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —  
давным-давно знакомый и любимый...

О, как воздушно яблони цветут!..  
О, как кричат, качаясь, серафимы!..

〈1923〉

\* \* \*

Из мира уползли — и ноют на луне  
шарманщики воспоминаний...  
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:  
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни — тут, в столе, шуршит она в руках,  
тетради трогаю, хрустящий  
клин веера, стихи — души певучий прах,—  
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит все, и я — в тенях ночных,  
и прошлое горит неяро,  
как в черепе сквозном, в провалах костяных  
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...  
Откуда?.. Уходи... Не надо...  
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,  
а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,  
в часы томленья и тумана,  
когда мне чудится невнятная игра  
ушедших на луну шарманок...

Ноябрь 1923

## ВСТРЕЧА

*И странной близостью  
закованный...*

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...  
Как бы из зыбкой черноты  
медлительного маскарада  
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, и плыли молча  
в ее атласные струи  
той черной маски профиль волчий  
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,  
прошла ты, искоса маня;  
и что душа в тебе узнала,  
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,  
в минутном повороте плеч  
переживал я очерк смутный  
других — неповторимых — встреч?

И романтическая жалость  
тебя, быть может, привела  
понять, какая задрожала  
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно  
трепещет стих, и в нем — стрела...  
Быть может, необманной, жданной  
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть  
наш замутила звездный час.  
Вернулась в ночь двойная прорезь  
твоих — непросиявших — глаз...

Надолго ли? Навек? Далече  
брожу и вслушиваюсь я  
в движенье звезд над нашей встречей...  
И если ты — судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,  
и словно дальняя мольба...  
Еще душе скитаться надо.  
Но если ты — моя судьба...

1923

## ПЕСНЯ

Верь: вернуться на родину все,  
вера ясная, крепкая: с севера  
лыжи неслышные, с юга  
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору  
шел я, в тяжелую шел темноту,  
чуждый всему, и крутому узору  
черных платанов, и дальнему спору  
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листам искривленным,  
ветер, мой пьяный и горестный брат,  
и вдруг затих под окном озаренным:  
ночь, ночь — и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий  
русскою песней гремел за окном?  
В сумраке видел я отблеск горящий,  
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало  
сердце ее в лучезарных струях,  
как тосковала,  
как распевала,  
молясь былому в чужих краях,  
о полнолуние небывалом,  
о небывалых соловьях.

И в темноте пылали звуки,—  
рыдающая даль любви,  
даль — и цыганские разлуки,  
ночь, ночь — и в роще соловьи.

Но пронесился ветер с моря  
дыханьем соли и вина,  
и гармонического горя  
спала жаркая волна.



## ВИДЕНИЕ

В снегах полуночной пустыни  
мне снилась мать всех берез,  
и кто-то — движущийся иней —  
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,  
мою Россию, детский гроб;  
и под березой одинокой  
в бледно-пылящийся сугроб

склонился в трепетанье белом,  
склонился, как под ветром дым.  
Был предан гробик с легким телом  
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,  
молясь, глядела в вышину,  
где плыли тучи, задевая  
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза  
то колебалась, то в дугу  
сгибалась голая береза,  
и были тени на снегу

там, на могиле этой снежной,  
сжимались, разгибались вдруг,  
заламывались безнадежно,  
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине  
в ночь удалился навсегда  
лик Божества, виденье, иней,  
не оставляющий следа...

1924

## СКИТАЛЬЦЫ

За громадные годы изгнания,  
вся колючим жаром дыша,  
исходила ты мироздания,  
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,  
и не мчал тебя чародей,  
но от пыльных зловоний Стамбула  
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,  
где с арабом прильнула к ручью,  
ты прошла и сыпала искры,  
если трогали шерсть твою.

Мне, быть может, преступнее, краше,  
голодней всех племен мирских.  
От языческой нежности нашей  
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.  
Встанет ветер всяя Руси,  
и душа скитальцев ответит,  
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц  
мы прикатим с собой на пир  
бочки солнца, тугие песни  
и в рогожу завернутый мир.

1924

## КУБЫ

Сложим крылья наших видений.  
Ночь. Друг на друга дома углами  
валятся. Перешиблены тени.  
Фонарь — сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит  
мебель. Зеркалу удержать трудно  
стол, апельсины на подносе.  
И лицо мое изумрудно.

Ты — в черном платье, полет, поэма  
черных углов в этом мире пестром.  
Упираешься, траурная теорема,  
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,  
буквы жизни и целые строки  
наборщики переставили. Сложим  
крылья, мой ангел высокий.

1924

## ОКНО

При луне, когда косую крышу  
лижет металлический пожар,  
из окна случайного я слышу  
сладкий и пронзительный удар  
музыки, и чувствую, как холод  
счастья мне душу обдает,  
кем-то ослепительно расколот  
лунный мрак, и медленно в полет  
собираюсь, вынимая руки  
из карманов, трепещу, лечу,  
но в окне мгновенно гаснут звуки,  
и меня спокойно по плечу  
хлопает прохожий: «Вы забыли,—  
говорит,— летать запрещено».  
И, застыв, в венце из лунной пыли,  
я гляжу на смолкшее окно.

6 марта 1924  
Берлин

## СТИХИ

Блуждая по заброшенному саду,  
я видел, в полдень, в воздухе слепом,  
двух бабочек глазастых, до упаду  
хохочущих над бархатным пупом  
подсолнуха. А в городе однажды  
я видел дом: был у него такой  
вид, словно он смех сдерживает, дважды  
прошел я мимо и потом рукой  
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,  
не прыснул: только в окнах огонек  
лукавый промелькнул. Все это помнит  
моя душа, все это ей намек,  
что на небе по-детски Бог хохочет,  
смотря, как босоногий серафим  
вниз перегнулся и наш мир щекочет  
одним лазурным перышком своим.

1924

## СТАНСЫ

Ничем не смоешь подписи косою  
судьбы на человеческой ладони,  
ни грубыми трудами, ни росой  
всех аравийских благовоний.

Ничем не смоешь взгляда моего,  
тобой допущенного на мгновенье.  
Не знаешь ты, как страшно волшебство  
бесплотного прикосновенья.

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,  
издалека тобою обладавший,  
моя мечта была сильнее стократ  
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил  
к семейственной и глупой Мона Лизе,  
чей глаз, как всякий глаз, составлен был  
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах.  
Прости, прости, что рай я уничтожил,  
в двух бархатных и пристальных мирах  
единый миг, как бог, я прожил.

Да будет так. Не в силах я тебе  
открыть, с какую жадностью певучей,  
с каким немим доверием судьбе  
невыразимой, неминучей — —

1924

## АВТОМОБИЛЬ В ГОРАХ

Сонет

Как сон, летит дорога, и ребром  
встает луна за горною вершиной.  
С моею черной гоночной машиной  
сравню — на волю вырвавшийся гром!

Все хочется, — пока под тем бугром  
не стала плоть личинкою мушиной, —  
слыхать, как прах под бешеною шиной  
рыдающим исходит серебром...

Сжимая руль наклонный и упругий,  
куда лечу? У альповой лачуги —  
почудится отеческий очаг;

и в путь обратный, — вдавливая конус  
подошвою и боковой рычаг  
переставляя по дуге, — я тронусь.

⟨1924⟩

## ПОДРУГА БОКСЕРА

Дрожащая, в змеином платье бальном,  
и я пришла смотреть на этот бой.  
Окружена я черною толпой:  
мелькает блеск по вырезам крахмальным,

свет льется, ослепителен и бел,  
посередине залы, над помостком.  
И два бойца в сиянье этом жестком  
сшибаются... Один уж ослабел.

И ухает толпа. Могуч и молод,  
неуязвим, как тень,— противник твой.  
Уж ты прижат к веревке круговой  
и подставляешь голову под молот.

Все чаще, все короче, все звучней  
бьет снизу, бьет и хлещет этот сжатый  
кулак в перчатке сально-желтоватой,  
под сердце и по челюсти твоей.

Сутулишься и екаешь от боли,  
и напряженно лоснится спина.  
Кровь на лице, на ребрах так красна,  
что я тобой люблюсь поневоле.

Удар — и вот не можешь ты вздохнуть,—  
еще удар, два боковых и пятый —  
прямой в кадык. Ты падаешь. Распятый,  
лежишь в крови, крутую выгнув грудь.

Волнение, гул... Тебя уносят двое  
в фуфайках белых. Победитель твой  
с улыбкой поднимает руку. Вой  
приветственный,— и смех мой в этом вое.

Я вспоминаю, как недавно, там,  
в гостинице зеркальной, встав с обеда,—  
за взгляд и за ответный взгляд соседа  
ты бил меня наотмашь по глазам.

⟨1924⟩

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ко мне, туманная Леила!  
Весна пустынная, назад!  
Бледно-зеленые ветрила  
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.  
Нева, лениво шелестя,  
как Лета льется. След локтя  
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,  
не плачь, весна моя былая.  
На вывеске плавучей — глянь —  
какая рыба голубая.

В петровом бледном небе — штиль,  
флотилия туманов вольных,  
и на торцах восьмиугольных  
все та же золотая пыль.

26 мая 1924  
Берлин

## СМЕРТЬ

Утихнет жизни рокот жадный,  
и станет музыкою тишь,  
гость босоногий, гость прохладный,  
ты и за мною прилетишь.

И душу из земного мрака  
поднимешь, как письмо, на свет,  
ища в ней водяного знака  
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно  
в себе я чую и таю,  
знак нестираемый, исконный,  
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей  
разлука плавная светла:  
полет страницы, соскользнувшей  
при дуновенье со стола.

1924

## ОБ АНГЕЛАХ

### 1

Неземной рассвет блеском облил...  
Миры прикатили: распрягай!  
Подняты огненные оглобли.  
Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно,  
торгуют безднами. Алый пар  
от крыльев валит. И лучезарно  
кипит божественный базар.

И в этом странствуя сиянье,  
там я купил — за песнь одну —  
женскую душу и в придачу нанял  
самую дорогую весну.

### 2

Представь: мы его встречаем  
вон там, где в лисичках пень,  
и был он необычаен,  
как радуга в зимний день.

Он хвойную занозу  
из пятки босой тащил.  
Сквозили снега и розы  
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника  
и телесного цвета грибы,  
вдруг пронзен был дивным криком  
золотой, неземной трубы.

И он нас увидел; замер,  
оглянул людей, лес  
испуганными глазами  
и, вспыхнув крылом, исчез.

Мы вернулись домой с сырыми  
грибами в узелке  
и с рассказом о серафиме,  
встреченном в сосняке.

〈1924〉

## МОЛИТВА

Пыланье свеч то выявит морщины,  
то по белку блестящему скользнет.  
В звездах шумят древесные вершины,  
и замирает крестный ход.  
Со мною ждет ночь темно-голубая,  
и вот, из мрака, церковь огибая,  
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы  
жемчужинами воска ороси.  
О милых мертвых думают скитальцы,  
о дальней молятся Руси.  
А я молюсь о нашем дивьем диве,  
о русской речи, плавной, как по ниве  
движение ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,  
косноязычный сон ее гнетет.  
Искажена, искромсана, но чую  
ее невидимый полет.  
И ждет со мной ночь темно-голубая,  
и вот, из мрака, церковь огибая,  
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,  
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.  
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,  
и чистой, как на солнце меч,  
и величавой, как волнение нивы.  
Так молится ремесленник ревнивый  
и рыцарь твой, родная речь.

1924

## ИСХОД

Муза, с возгласом, со вздохом шумным,  
у меня забилась на руках.  
В звездном небе тихом и безумном  
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если  
долго вглядываться в облака:  
образы гранитные воскресли,  
смуглый купол плыл издалека.

Через Млечный Путь бледно-туманный  
перекинулись из темноты  
в темноту — о, муза, как неожиданно! —  
явственные невские мосты.

И, задев в седом и синем мраке  
исполинским куполом луну,  
скрипнувшую как сугроб, Исакий  
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,  
бронзовым протянутым перстом  
рассекая звезды, плыл куда-то  
Всадник, в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,  
тускло озаренной изнутри,  
дом, и вереницею текучей  
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,  
и, неспешно догоняя их,  
к Господу несли свой чистый иней  
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,  
дивно оторвавшись от земли.  
И опять в гармонии полночной  
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая  
маленькая муза, трепеща,  
высунулась робко из-за края  
нашего широкого плаща.

11 сентября 1924  
Берлин

## КОСТЕР

На сумрачной чужбине, в чаще,  
где ужас очертанья стер,  
среди прогалины — горящий,  
как сердце жаркое, костер.

Вокруг синеющие тени,  
и сквозь летающую сеть  
теней и рдяных отражений  
склоненных лиц не разглядеть.

Но, отгоняя сумрак жадный,  
вот песня вспыхнула в тиши,  
гори, гори, костер отрадней,  
шинели наши осуши.

И снова всколыхнулись плечи,  
и снова полуночный взмах,  
кипят воинственные речи  
и слезы светятся в глазах.

Зверье, блуждающее в чащах,  
лесные духи и ветра  
бегут от этих глаз горящих  
и от поющего костра.

Зато с каким благоговеньем,  
с какою верой в трудный путь,  
утешен пламенем и пеньем,  
подходит странник отдохнуть.

Ноябрь 1924  
Берлин

## ТРИ ШАХМАТНЫХ СОНЕТА

### 1

В ходах ладьи — ямбический размер,  
в ходах слона — анапест. Полутанец,  
полурасчет — вот шахматы. От пьяниц  
в кофейне шум, от дыма воздух сер.

Там Филидор сражался и Дюсер.  
Теперь сидят — бровастый, злой испанец  
и гном в очках. Ложится странный глянec  
на жилы рук, а взгляд — как у химер.

Вперед ладья прошла стопами ямба.  
Потом опять — раздумие. «Карамба,  
сдавайтесь же!» Но медлит тихий гном.

И вот толкнул ногтями цвета йода  
фигуру. Так! Он жертвует слоном:  
волшебный шах и мат в четыре хода.

### 2

Движенья рифм и танцовщиц крылатых  
есть в шахматной задаче. Посмотри:  
тут белых семь, а черных только три  
на световых и сумрачных квадратах.

Чернеет ферзь между коней горбатых,  
и пешки в ночь впились, как янтари.  
Решенья ждут и слуги, и цари  
в резных венцах и высеченных латах.

Звездообразны каверзы ферзя.  
Дразнящая, узорная стезя  
уводит мысль, — и снова мысль во мраке.

Но фея рифм — на шахматной доске  
является, отблескивая в лаке,  
и — легкая — взлетает на носке.

3

Я не писал законного сонета,  
хоть в тополях не спали соловьи,—  
но, трогая то пешки, то лады,  
придумывал задачу до рассвета.

И заключил в узор ее ответа  
всю нашу ночь, все возгласы твои,  
и тень ветвей, и яркие струи  
текучих звезд, и мастерство поэта.

Я думаю, испанец мой, и гном,  
и Филидор — в порядке кружевном  
скупых фигур, играющих согласно,—

увидят все,— что льется лунный свет,  
что я люблю восторженно и ясно,  
что на доске составил я сонет.

⟨1924⟩

## СТРАНА СТИХОВ

Дай руки, в путь! Найдем среди планет  
пленительных такую, где не нужен  
житейский труд. От хлеба до жемчужин —  
все купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет  
в блаженный край, что музой обнаружен,  
где нам дадут за рифму целый ужин  
и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...  
Какие дни. Как благодны закаты.  
Кипят ключи кастальские во мгле.

И глядя в ночь на лунные оливы  
в стране стихов, где боги справедливы,  
как тосковать мы будем о земле!

1924

## ОВЦА

Над Вифлеемом ночь застыла.  
Я блудную овцу искал.  
В пещеру заглянул — и было  
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,  
сжимал, как смуглые тиски,  
ладони, знавшие когда-то  
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо  
улыбку устремляла вниз,  
вся умиление, вся прохлада  
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий  
в венце из золотистых стрел,  
не видя матери, в потоки  
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,  
по белизне и бубенцу  
я вдруг узнал, пастух ревнивый,  
свою пропавшую овцу.

11 декабря 1924  
Берлин

## К РОДИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить  
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,  
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:  
родина, вот эта кость — твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,  
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь  
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней  
по земле пронзительной твоей.

Так все тело — только образ твой,  
и душа, как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,  
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,  
граблями расчесанный песок.

1924

## ВЕЛИКАН

Я вылепил из снега великана,  
дал жизнь ему и в ночь на Рождество  
к тебе, в поля, через моря тумана,  
я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи  
над головою белого быка.  
Его не вьюги создали, не духи,  
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,  
шагал, неотразимый, как зима.  
Охотники, плутовавшие в метели,  
его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела  
и замер вдруг: цвела твоя страна,  
ты счастлива была, дышала, рдела,  
в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,  
ты в солнечной скользила тишине  
и новому попутчику так чисто,  
так гордо говорила обо мне.

И перед этим солнцем отступая,  
поняв, что с ним соперничать нельзя,  
растаяла тоска моя слепая,  
вся синевой весеннею сквозя.

13 декабря 1924

## ШЕКСПИР

Среди вельмож времен Елизаветы  
и ты блистал, чтил пышные заветы,  
и круг брыжей, атласным серебром  
обтянутая ляжка, клин бородки —  
все было как у всех... Так в плащ короткий  
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,  
ты отстранил легко и беспечно  
в сухой венок свивающийся лавр  
и скрыл навек чудовищный свой гений  
под маскою, но гул твоих видений  
остался нам: венецианский мавр  
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя  
с наклеенными усиками; Лир  
бушующий... Ты здесь, ты жив — но имя,  
но облик свой, обманывая мир,  
ты потопил в тебе любезной Лете.  
И то сказать: труды твои привык  
подписывать — за плату — ростовщик,  
тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,  
жил в кабаках и умер, не успеv  
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.  
Италию ты видел. Нараспев  
звал женский голос сквозь узор железа,  
звал на балкон высокого инглеза,  
томимого лимонною луной  
на улицах Вероны. Мне охота  
воображать, что, может быть, смешной  
и ласковый создатель Дон Кихота  
беседовал с тобою — невзначай,  
пока меняли лошадей — и, верно,  
был вечер синь. В колодце, за таверной,  
ведро звенело чисто... Отвечай,  
кого любил? Откройся, в чьих записках  
ты упомянут мельком? Мало ль низких,  
ничтожных душ оставили свой след —

каких имен не сыщешь у Брантома!  
Откройся, бог ямбического грома,  
стоустый и немислимый поэт!

Нет! В должный час, когда почуял — гонит  
тебя Господь из жизни — вспоминал  
ты рукописи тайные и знал,  
что твоего величия не тронет  
молвы мирской бесстыдное клеймо,  
что навсегда в пыли столетий зыбкой  
пробудешь ты безликим, как само  
бессмертие... И вдаль ушел с улыбкой.

Декабрь 1924

## КОНЬКОБЕЖЕЦ

Плясать на льду учился он у музы,  
у зимней Терпсихоры... Погляди:  
открытый лоб, и черные рейтузы,  
и огонек медали на груди.

Он вьется, и под молнией алмазной  
его непостижимого конька  
ломается, растет звездообразно  
узорное подобие цветка.

И вот на льду, густом и шелковистом,  
подсолнух обрисован. Но постой —  
не я ли сам, с таким певучим свистом,  
коньком стиха блеснул перед тобой.

Оставил я один узор словесный,  
мгновенно раскружившийся цветок.  
И завтра снег бесшумный и отвесный  
запорочит исчерченный каток.

1925

## БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА

Ницетою необычной  
на чужбине дорожу.  
Утром в ратуше кирпичной  
за конторкой не сажу.

Где я только не шатаюсь  
в пустоте весенних дней!  
И к подруге возвращаюсь  
все позднее и позднее.

В полумраке стул задену  
и, нащупывая свет,  
так растопаясь, что в стену  
стукнет яростно сосед.

Утром он наполовину  
открывать окно привык,  
чтобы высунуть перину,  
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий  
двор наполнит до краев  
при участии горячей  
суматохи воробьев.

Понимают, слава Богу,  
что всему я предпочту  
дикую мою дорогу,  
золотую нищету.

1925

## ИЗГНАНЬЕ

Я занят странными мечтами  
в часы рассветной полутьмы:  
что, если б Пушкин был меж нами —  
простой изгнанник, как и мы?

Так, удалясь в края чужие,  
он вправду был бы обречен  
«вздыхать о сумрачной России»,  
как пожелал однажды он.

Быть может, нежностью и гневом —  
как бы широким шумом крыл,—  
еще неслыханным напевом  
он мир бы ныне огласил.

А может быть и то: в изгнание  
свершая страннический путь,  
на жарком сердце плащ молчанья  
он предпочел бы запахнуть,—

боясь унижить даже песней,  
высокой песнею своей,  
тоску, которой нет чудесней,  
тоску невозвратимых дней...

Но знал бы он: в усадьбе дальней  
одна душа ему верна,  
одна лампада тлеет в спальне,  
старуха вяжет у окна.

Голубка дряхлая дождется!  
Ворота настезь... Шум живой...  
Вбежит он, глянет, к ней прижметя  
и все расскажет — ей одной...

1925

## СОН

Однажды ночью подоконник  
дождем был шумно орошен.  
Господь открыл свой тайный сонник  
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой,  
рыданье ночи дом трясло.  
Мой сон был синею дорогой  
через тенистое село.

Под мягкой грудюю колеса  
скрипели глубоко внизу:  
я навзничь ехал с сенокоса  
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,  
при каждом повороте сна  
скрипела и кренилась рама  
дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей,  
не знал, что истина, что сон:  
та ночь на роковой чужбине,  
той рамы беспокойный стон,

или ромашка в теплом сене  
у самых губ моих, вот тут,  
и эти лиственные тени,  
что сверху кольцами текут...

## ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Нам, потонувшим мореходам,  
похороненным в глубине  
под вечно движущимся сводом,  
являлся старый порт во сне:

кайма сбегаящая пены,  
на камне две морских звезды,  
из моря выросшие стены  
в дрожащих отблесках воды.

Но выплыли и наши души,  
когда небесная труба  
пропела тонко, и на суше  
распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит  
ладья апостольская, в лад  
с волною дышит и наводит  
огни двенадцати лампад.

Все, чем пленяла жизнь земная,  
всю прелесть, теплоту, красу  
в себе божественно вмещаю,  
горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские,  
им разделенные струи,  
и наших душ ловцы благие  
берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый,  
в залив играющий влетаю,  
где ждет нас городок портовый,  
как мы, перенесенный в рай.

1925

## РАЙ

Любимы ангелами всеми,  
толпой глядящими с небес,  
вот люди зажили в Эдеме,—  
и был он чудом из чудес.  
Как на раскрытой Божьей длани,  
я со святою простотой  
изображу их на поляне,  
прозрачным лаком залитой,  
среди павлинов, ланей, тигров,  
у живописного ручья...  
И к ним я выберу эпитаф  
из первой Книги Бытия.  
Я тоже изгнан был из рая  
лесов родимых и полей,  
но жизнь проходит, не стирая  
картины в памяти моей.  
Бессмертен мир картины этой,  
и сладкий дух таится в нем:  
так пахнет желтый воск, согретый  
живым дыханьем и огнем.  
Там по написанному лесу  
тропами смуглыми брожу,—  
и сокровенную завесу  
опять со вздохом завожу...

<1925>

## ПУТЬ

Великий выход на чужбину,  
как дар божественный, цenia,  
веселым взглядом мир окину,  
отчизной ставший для меня.

Отраду слов скупых и ясных  
прошу я Господа мне дать,—  
побольше странствий, встреч опасных,  
в лесах подальше заплутать.

За поворотом, ненароком,  
пускай найду когда-нибудь  
наклонный свет в лесу глубоком,  
где корни переходят путь,—

то тeneвое сочетанье  
листвы, тропинки и корней,  
что носит для души названье  
России, родины моей.

〈1925〉

## ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК

Для состязаний быстролетных  
на том белеющем холму  
вчера был скат на сваях плотных  
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже  
скат обрывался: это был  
уступ, где становились лыжи  
четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,  
потуже затянуть ремни...  
Бери меня, наклон разбежный,  
и в дивной пустоте — распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,  
под трубы ангельских высот,  
не семьдесят четыре метра,  
а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное качнется,  
легко под лыжами скользя,  
и над Россией пресечется  
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,  
огни мохнатые на льду,  
и, вольно прозвенев во мраке,  
как жаворонок, упаду.

1926  
Riesengebirge

## UT PICTURA POESIS<sup>1</sup>

М. В. Добужинскому

Воспоминанье, острый луч,  
преобрази мое изгнанье,  
пронзи меня, воспоминанье  
о баржах петербургских туч  
в небесных ветреных просторах,  
о закоулочных заборах,  
о добрых лицах фонарей...  
Я помню, над Невой моей  
бывали сумерки, как шорох  
тушующих карандашей.

Все это живописец плавный  
передо мною развернул,  
и, кажется, совсем недавно  
в лицо мне этот ветер дул,  
изображенный им в летучих  
осенних листьях, зыбких тучах,  
и плыл по набережной гул,  
во мгле колокола гудели —  
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,  
какие тумбы! Хорошо бы  
туда перешагнуть, пролезть,  
там постоять, где спят сугробы  
и плотно сложены дрова,  
или под аркой, на канале,  
где нежно в каменном овале  
синеют крепость и Нева.

1926

---

<sup>1</sup> Поэзия как живопись (лат.).

\* \* \*

Пустяк — название мачты, план — и следом  
за чайкою взмывает жизнь моя,  
и человек на палубе, под пледом,  
вдыхающий сиянье — это я.

Я вижу на открытке глянцевитой  
развратную залива синеву,  
и белозубый городок со свитой  
несметных пальм, и дом, где я живу.

И в этот миг я с криком покажу вам  
себя, себя — но в городе другом:  
как попугай пощелкивает клювом,  
так тереблю с открытками альбом.

Вот это — я и призрак чемодана;  
вот это — я, по улице сырой  
идуший в вас, как будто бы с экрана,  
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,  
как без меня уходят поезда,  
и сколько стран, еще меня не гревших,  
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле путешественник из рая  
описывает, руки заломив,  
дымок из трубки с присвистом вбирая,  
свою любовь — тропический залив.

1926

## РОДИНА

Бессмертное счастье наше  
Россией зовется в веках.  
Мы края не видели краше,  
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,  
нам русская снилась земля.  
Изгнание, где твое жало,  
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,  
что сердцу легко по ночам;  
и гордые музы России  
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму  
лесов на равнинах родных,  
за ими внушенную думу,  
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,  
где мирен изгнанника сон,  
как ветром, как морем, как тайной,  
Россией всегда окружен.

1927

## БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас,—  
дай рассказать мне, муза, без волнения! —  
на фабрике немецкой, вот сейчас,  
все в честь мою, идут приготовления.

Уже машина говорит: «жую,  
бумажную выглаживаю кашу,  
уже пласты другой передаю».  
Та говорит: «нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,  
стальное многорукое создание  
печатает на розовых листах  
невероятной станции название.

И человек бесстрастно рассует  
те лепестки по ящикам в конторе,  
где на стене глазастый пароход,  
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет  
тот равнодушный, медленный приказчик,  
который выдвинет заветный ящик  
и выдаст мне на родину билет.

1927

## ШАХМАТНЫЙ КОНЬ

Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый,  
шахматный конь в коробке уснул,—  
а давно ли, давно ли в пивной знаменитой  
стоял живой человеческий гул?  
Гул живописцев, ребят бородатых,  
и крики поэтов, и стон скрипачей...  
Лампа сияла, а пол под ней  
был весь в очень ровных квадратах.

Он сидел с друзьями в любимом углу,  
по привычке слегка пригнувшись к столу,  
и друзья вспоминали турниры былые,  
говорили о тонком его мастерстве...  
Бархатный стук в голове:  
это ходят фигуры резные.

Старый маэстро пиво попивал,  
слушал друзей, сигару жевал,  
кивал головой седовато-кудрястой,  
и ворот осыпан был перхотью частой,—  
скорлупками шахматных мыслей.

И друзья вспоминали, как, матом грозя,  
Кизерицкому в Вене он отдал ферзя.  
Кругом над столами нависли  
табачные тучи, а плиточный пол  
был в темных и светлых квадратах.  
Друзья вспоминали, какой изобрел  
он дерзостный гамбит когда-то.

Старый маэстро пиво попивал,  
слушал друзей, сигару жевал  
и думал с улыбкою хмурой:  
«Кто-то, а кто — я понять не могу,  
переставляет в мозгу,  
как тяжелую мебель, фигуры,  
и пешка одна со вчерашнего дня  
черною куклой идет на меня».

Старый маэстро сидел согнувшись,  
пепел ронял на пикейный жилет,—  
и нападал, пузырями раздувшись,  
неудержимый шахматный бред.  
Пили друзья за здоровье маэстро,  
вспоминали, как с этой сигарой в зубах  
управлял он вслепую огромным оркестром  
незримых фигур на незримых досках.

Вдруг черный король, подкрепив проходную  
пешку свою, подошел вплотную.

Тогда он встал, отстранил друзей  
и смеющихся, и оробелых.  
Лампа сияла, а пол под ней  
был в квадратах черных и белых.

На лице его старом, растерянном, добром  
деревянный отблеск лежал.  
Он сгорбился, шею надул, прижал  
напряженные локти к ребрам  
и прыгать по квадратам большим,  
через один, то влево, то вправо,—  
и это была не пустая забава,  
и недолго смеялись над ним.

И потом, в молчании чистой палаты,  
куда черный король его увел,  
на шестьдесят четыре квадрата  
необъяснимо делился пол.  
И эдак, и так — до последнего часа —  
в бредовых комбинациях, ночью и днем,  
прыгал маэстро, старик седовласый,  
белым конем.

<1927>

## КИНЕМАТОГРАФ

Люблю я световые балаганы  
все безнадежнее и все нежней.  
Там сложные вскрываются обманы  
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый —  
бокал вина, а добродетель — шьет.  
Между чертами матери и сына  
острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный  
не чуждый состраданья богачей  
усердно вносит барышень бездомных,  
в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся среди ночи:  
опасность... трепет... поперек листа  
рука бежит... И как разборчив почерк,  
какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная. Смотрите,  
как эта шаль упала на ковер.  
Не виден ослепительный юпитер,  
не слышен раздраженный режиссер,

но ничего там жизнью не трепещет:  
пытливый гость не может угадать  
связь между вещью и владельцем вещи,  
житейского особую печать.

О, да! Прекрасны гонки, водопады,  
вращение зеркальной темноты.  
Но вымысел? Гармонии услада?  
Ума полет? О, Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит,  
и снова, через веки и века,  
спешит роскошное воображенье  
самоуверенного пошляка.

И вот — конец... Рояль незримый умер,  
темно и незначительно пожив.  
Очнулся мир, прохлагою и шумом  
растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик,  
встречая ветра влажного напор,  
держа ладонь над спичкою горячей,  
насмешливый выносит приговор.

1928

## ОСТРОВА

В книге сказок помню я картину:  
ты да я на башне угловой.  
Стань сюда, и снова я застыну  
на ветру, с протянутой рукой.

Там, вдали, где волны завитые  
переходят в дымку, различи  
острова блаженства, как большие  
фиолетовые куличи.

Ибо золотистыми перстами  
из особой сладостной земли  
пекаря с кудрявыми крылами .  
их на грани неба испекли.

И, должно быть, легче там и краше,  
и, пожалуй, мы б пустились вдаль,  
если б наших книг, собаки нашей  
и любви нам не было так жаль.

1928

## РАЗГОВОР

Писатель. Критик. Издатель.

*Писатель*

Легко мне на чужбине жить,  
писать трудненько,— вот в чем штука.  
Вы морщитесь, я вижу?

*Критик*

Скука.

Нет книг.

*Издатель*

Могу вам одолжить  
два-три журнала,— цвет изданий  
московских,— «Алую Зарю»,  
«Кряж», «Маховик»...

*Критик*

Благодарю.

Не надо. Тошно мне заране.  
У музы тамошней губа  
отвисла, взгляд блуждает тупо,  
разгульна хочет быть, груба;  
все было б ничего,— да глупо.

*Издатель*

Однако, хвалят. Новизну,  
и быт, и пафос там находят.  
Иного — глядь — и переводят.  
Я знаю книжицу одну —

*Критик*

Какое! Грамотеи эти,  
Цементов, Молотов, Серпов,  
сосредоточенно, как дети,

рвут крылья у жужжащих слов.  
Мне их убожество знакомо:  
был Писарев, была точь-в-точь  
такая ж серенькая ночь.  
Добро еще, что пишут дома,—  
а то какой-нибудь Лидняк,  
как путешествующий купчик,  
на мир глядит, и пучит зрак,  
и ужасается, голубчик:  
куда бы ни поехал он,  
в Бордо ли, Токио — все то же:  
матросов бронзовые рожи  
и в переулочке притон.

*Издатель*

Так вы довольны музой здешней,  
изгнанницей немолодой?  
Неужто по сравненью с той  
она вам кажется —

*Критик*

Безгрешней.  
Но, впрочем, и она скучна...  
А там,— нет, все-таки там хуже!  
Отражены там в серой луже  
штык и фабричная стена.  
Где прихоть вольная развязки?  
Где жизни полный разговор?  
Мучитель муз, евнух парнасский,  
там торжествует резонер.

*Издатель*

Да вы, как погляжу, каратель  
былого, нового, всего!  
что ж надо делать?

## *Критик*

Ничего.

Скучать.

## *Издатель*

Что думает писатель?

Как знать,— быть может, суждено  
так развернуться...

## *Писатель*

Мудрено.

Года идут. Язык, мне данный,  
скудеет, жара не храня,  
вдали живительной стихии.  
Слова, как берега России,  
в туман уходят от меня.  
Бывало, поздно возвращаюсь,  
иду, не поднимая глаз,  
неизъяснимым насыщаюсь  
и знаю: где-то вот сейчас  
любовь земная ждет ответа  
иль человек родился; где-то  
в ночи блуждают налегке  
умерших мыслящие тени;  
бормочет где-то русский гений  
на иностранном чердаке.  
И оглушительное счастье  
в меня врывается... Во всем  
к себе я чувствую участие,—  
в звездах и в камне городском.  
И остываю я словами  
на ожидающем листе...  
Очнусь,— и кроткими друзьями  
я брошен, и слова — не те.

## *Издатель*

Я б, господа, на вашем месте  
Парнас и прочее — забыл.

Поймите, мир не тот, что был.  
Сто лет назад целковых двести  
вам дал бы Греч за разговор,  
такой по-новому проворный,  
за ямб искусно-разговорный...  
Увы: он устарел с тех пор.

〈1928〉

Твой панцирь, желтый и блестящий,  
булавкой я проткнул  
и слушал плач твой восходящий,  
прозрачный твой гул.

Тупыми ножницами жало  
я защебил — и вот  
отрезал... Как ты зажужжала,  
как выгнула живот!

Теперь гуденье было густо,  
и крылья поскорей  
я отхватил, почти без хруста,  
у самых их корней.

И беззвучное тело  
шесть вытянуло ног,  
глазастой головой вертело...  
И спичку я зажег,—

чтоб видеть, как вскипишь бурливо,  
лишь пламя поднесу...  
Так мучит отрок терпеливый  
чудесную осу;

так, изоцряя слух и зренье,  
взрезая, тербя,—  
мое живое вдохновенье,  
замучил я тебя!

⟨1928⟩

## К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий  
разрисовал: тут все твои  
большие, малые дороги,  
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю  
и все земное осязаю  
через тебя, страна моя.  
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что наемни  
мне померещилось во сне,  
что час беспечный, час последний  
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,  
совьешься ты подобно карте,  
как только отпущу края,  
и ляжешь там, где лягу я.

1928

## ТОЛСТОЙ

Картина в хрестоматии: босой старик. Я поворачивал страницу, мое воображение оставалось холодным. То ли дело — Пушкин: плащ, скала, морская пена... Слово «Пушкин» стихами обрастает, как плющом, и муза повторяет имена, вокруг него бряцающие: Дельвиг, Данзас, Дантес,— и сладостнозвучна вся жизнь его,— от Делии лицейской до выстрела в морозный день дуэли. К Толстому лучезарная легенда еще не прикоснулась. Жизнь его нас не волнует. Имена людей, с ним связанных, звучат еще незрело: им время даст таинственную знатность, то время не пришло; назвав Черткова, я только б сузил горизонт стиха. И то сказать: должна людская память утратить связь вещественную с прошлым, чтобы создать из сплетни эпопею и в музыку молчанье претворить. А мы еще не можем отказаться от слишком лестной близости к нему во времени. Пожалуй, внуки наши завидовать нам будут неразумно. Коварная механика порой искусственно поддерживает память. Еще хранит на граммафонном диске звук голоса его: он вслух читает, однообразно, торопливо, глухо, и запинаясь на слове «Бог», и повторяет: «Бог», и продолжает чуть хриплым говорком,— как человек, что кашляет в соседнем отделенье, когда вагон на станции ночной, бывало, остановится со вздохом. Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих, теперь мигающих подслеповато,

яснополянский движущийся снимок:  
старик невзрачный, роста небольшого,  
с растрепанною ветром бородой,  
проходит мимо скорыми шажками,  
сердясь на оператора. И мы  
довольны. Он нам близок и понятен.  
Мы у него бывали, с ним сидели.  
Совсем не страшен гений, говорящий  
о браке или о крестьянских школах...  
И, чувствуя в нем равного, с которым  
поспорить можно, и зовя его  
по имени и отчеству, с улыбкой  
почтительной, мы вместе обсуждаем,  
как смотрит он на то, на се... Шумят  
витии за вечерним самоваром;  
по чистой скатерти мелькают тени  
религий, философий, государств,—  
отрада малых сих... Но есть одно,  
что мы никак вообразить не можем,  
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно  
корреспондентам на пожаре, вокруг  
его души. До некой тайной дрожи,  
до главного добраться нам нельзя.  
Почти нечеловеческая тайна!  
Я говорю о тех ночах, когда  
Толстой творил, я говорю о чуде,  
об урагане образов, летящих  
по черным небесам в час созиданья,  
в час воплощенья... Ведь живые люди  
родились в эти ночи... Так Господь  
избраннику передает свое  
старинное и благодное право  
творить миры и в созданную плоть  
вдыхать мгновенно дух неповторимый.  
И вот они живут; все в них живет —  
привычки, поговорки и повадка;  
их родина — такая вот Россия,  
какую носим мы в той глубине,  
где смутный сон примет невыразимых,—  
Россия запахов, оттенков, звуков,  
огромных облаков над сенокосом,  
Россия обольстительных болот,  
богатых дичью... Это все мы любим.  
Его созданья, тысячи людей,

сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,  
окрашивают даль воспоминаний,—  
как будто впрямь мы жили с ними рядом.  
Среди толпы Каренину не раз  
по черным завиткам мы узнавали;  
мы с маленькой Щербацкой танцевали  
заветную мазурку на балу...  
Я чувствую, что рифмой расцветаю,  
я предаюсь незримому крылу...  
Я знаю, смерть лишь некая граница:  
мне зрима смерть лишь в образе одном,  
последняя дописана страница,  
и свет погас над письменным столом.  
Еще виденье, отблеском продлившись,  
дрожит, и вдруг — немыслимый конец...  
И он ушел, разборчивый творец,  
на голоса прозрачные деливший  
гул бытия, ему понятный гул...  
Однажды он со станции случайной  
в неведомую сторону свернул,  
и дальше — ночь, безмолвие и тайна...

〈1928〉

## СТАНСЫ О КОНЕ

На полотнищах, озаренных  
игрой малиновых лучей,  
условный выгиб окрыленных  
наполеоновых коней.

И цирковое полнолуние,  
огромный, снежный круп, оплот  
сосредоточенной плясуньи;  
песок, и музыка, и пот.

И всадник, по лесу спешащий,  
седла поскрипыванье, хруст,  
волною счастья шуршащий  
по голенищу влажный куст.

И ты, лирическое имя  
в газете уличной, скакун,  
гнедым огнем летящий мимо  
тобою вспыхнувших трибун.

И столь покорный конь манежный,  
и фальконетов конь живой.  
Но самый жалостный и нежный,  
невыносимый образ твой:

обросший шерстью с голодухи,  
не чующий моей любви,  
и без конца щекочут мухи  
ресницы длинные твои.

1929

\* \* \*

Для странствия ночного мне не надо  
ни кораблей, ни поездов.  
Стоит луна над шашечницей сада.  
Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной,  
как ночью кот через плетень,  
на русский берег речки пограничной  
моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо  
ложусь на стены чередой,  
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,  
напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую —  
и кто поймет, что есть один,  
один живой на всю страну большую,  
один счастливый гражданин.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.  
Все тихо. Поздний пешеход,  
встречая тень средь площади пустынной,  
воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому,  
я только место узнаю...  
Там, в темных комнатах, все по-другому  
и все волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки  
я наклоняюсь, и тогда  
им снятся прежние мои игрушки,  
и корабли, и поезда.

1929

## ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ

Средь пустоты, над полем дальним,  
пласты закатных облаков  
казались призраком зеркальным  
океанических песков.

Как он блистает, берег гладкий,  
необитаемый... Толчок,  
дно поднимается под пяткой,  
и выхожу я на песок.

Дрожа от свежести и счастья,  
стою я, новый Робинзон,  
на этой отмели блестящей,  
пустой лазурью окружен.

И странно вспоминать минуту  
недоумения, когда  
нащупала мою каюту  
и хищно хлынула вода;

когда она, вращаясь зыбко  
в нетерпеливости слепой,  
внесла футляр от чьей-то скрипки  
и фляжку унесла с собой.

О том, как палуба трещала,  
приняв смертельную волну,  
о том, как музыка играла,  
пока мы бурно шли ко дну,

пожалуй, будет и нетрудно  
мне рассказать когда-нибудь...  
Да что ж мечтать, какое судно  
на остров мой направит путь.

Он слишком призрачен, воздушен.  
О нем не знают ничего.  
К нему создатель равнодушен.  
Он меркнет, тает... нет его.

И я охвачен темнотою,  
и, сладостно в ушах звеня  
и вздрагивая под рукою,  
проходят звезды сквозь меня.

1929

## НЕРОДИВШЕМУСЯ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,  
ты, старины любитель, в день урочный  
откроешь антологию стихов,  
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет на вкус  
моей эпохи фракной и сюртучной.  
Облокотись. Прислушайся. Как звучно  
былое время — раковина муз.

Шестнадцать строк, увенчанных овалом  
с неясной фотографией... Посмей  
побрезговать их слогом обветшалым,  
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.  
К тебе на грудь я прянул через мрак.  
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк  
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

1930

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В листве березовой, осиновой,  
в конце аллеи у мостка,  
вдруг падал свет от платья синего,  
от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий  
как на ладони я держу  
и бабочкой не улетающей  
благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо  
я прожил без тебя, а все ж  
порой я думаю опасно:  
жива ли ты и где живешь.

Но если встретиться нежданная  
судьба заставила бы нас,  
меня бы, как уродство странное,  
твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:  
ты чуждой жизнью обросла.  
Ни платья синего, ни имени  
ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено,  
и я молюсь, и ты молишь,  
чтоб на утоптанной обочине  
мы в тусклый вечер не сошлись.

1930

## УЛЬДАБОРГ

(перевод с зоорландского)

Смех и музыка изгнаны. Страшен  
Ульдаборг, этот город немой.  
Ни садов, ни базаров, ни башен,  
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,  
там — великий бильярдный игрок.  
Нет прикрас никаких у решетки.  
О, хотя бы железный цветок,

хоть бы кто-нибудь песней прославил,  
как на площади, пачкая снег,  
королевских детей обезглавил  
из Торвальта силач-дровосек.

И какой-то назойливый нищий  
в этом городе ранних смертей,  
говорят, все танцмейстера ищет  
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,  
сжег последнюю скрипку палач,  
и в Германию переселился  
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом  
(на молу фейерверки весной  
и балы перед ратушей летом),  
будет праздник, и праздник большой.

Справа горы и Воцберг алмазный,  
слева сизое море горит,  
а на площади шепот бессвязный:  
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно.  
Что за странные лица у всех!  
Дико слушают звук невозможный:  
я вернулся, и это мой смех —

над запретами голого цеха,  
над законами глухонемых,  
над пустым отрицанием смеха,  
над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые дюны,  
на алмазную в небе гряду,  
глубже руки в карманы засуну  
и со смехом на плаху взойду.

1930

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Еще темно. В оркестре стеснены  
скелеты музыки, и пусто в зале.  
Художнику еще не заказали  
густых небес и солнечной стены.

Но толстая растерзана тетрадь,  
и розданы страницы лицедеям.  
На чердаках уже не холодеем.  
Мы ожили, мы начали играть.

И вот сажусь на выцветший диван  
с невидимой возлюбленною рядом,  
и голый стол следит собачьим взглядом,  
как я беру невидимый стакан.

А утром собираемся в аду,  
где говорим и ходим, громыхая.  
Еще темно. Уборщица глухая  
одна сидит в тринадцатом ряду.

Настанет день. Ты будешь королем.  
Ты — поселянкой с кистью винограда.  
Вы — нищими. А ты, моя отрада,  
сама собой, но в платье дорогом.

И вот настал. Со стороны земли  
замрела пыль. И в отдаленье зримы,  
идут, идут кочующие мимы,  
и музыка слышна, и вот пришли.

Тогда-то небожителям нагим  
и золотым от райского загара,  
исполненные нежности и жара,  
представим мир, когда-то милый им.

1930

## ПРОБУЖДЕНИЕ

Спросонья вслушиваюсь в звон  
и думаю: еще мгновенье,—  
и вновь забудусь я... Но сон  
уже утратил дар забвенья,—

не может дочитать строку,  
восстановить страну ночную,  
обратно съехать по ледку...  
Куда там! — в оттепель такую.

Звон в отопленье по утрам —  
необычайно музыкальный:  
удар или двойной тра-рам,  
как по хрустальной наковальне.

Март, ветреник и скороход,  
должно быть, облака пугает:  
свет абрикосовый растет  
сквозь веки и опять сбегает.

Тут, перелившись через край,  
вся нежность мира накатила:  
пса молодого добрый лай,  
а в комнате — твой голос милый.

〈1931〉

## ПОМПЛИМУСУ

Прекрасный плод, увесистый и гладкий,  
ты светишься, как полная луна;  
глухой сосуд амброзии несладкой,  
душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,  
Миньону соблазняет апельсин,  
но ты один достоин жажды Музы,  
когда она спускается с вершин.

1931

ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ  
«НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)

От Меррифилда до Ольдгрова  
однообразен перегон:  
все лес да лес со всех сторон.  
Ночь холодна, луна багрова.  
Тяжелым черным кораблем  
проходит дилижанс, и в нем  
спят пассажиры, спят, умаясь:  
бессильно клонится чело  
и вздрагивает, поднимаясь,  
и снова никнет тяжело.  
И смутно слышатся средь мрака  
приливы и отливы снов,  
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю, однако,  
был у меня всего один  
попутчик: толстый господин  
в очках, в плаще, в дорожном пледе.  
По кашлю судя, он к беседе  
был склонен, и пока рыдван  
катился грузно сквозь туман,  
и жаловались на ухабы  
колеса, и скрипела ось,  
и все трещало и тряслось,  
разговорились мы.

«Когда бы  
(со вздохом начал он) меня  
издатель мой не потревожил,  
я б не покинул мест, где прожил  
все лето с Троицына дня.  
Вообразите гладь речную,  
березы, вересковый склон.  
Там жил я, драму небольшую  
писал из рыцарских времен;  
ходил я в сюртучке потертом,  
с соседом, с молодым Вордсвортом,  
удил форелей иногда  
(его стихам вредит вода,  
но человек он милый), — словом,

я счастлив был — и признаюсь,  
что в Лондон с манускриптом новым  
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,  
в изображении стихий  
люблю быть точным: щелкнул кий,  
и слово правильное в лузе;  
а вот изволь-ка, погрузясь  
в туман и лондонскую грязь,  
сосредоточить вдохновенье:  
все расплывается, дрожит,  
и рифма от тебя бежит,  
как будто сам ты привиденье.  
Зато как сладко для души  
в деревне, где-нибудь в глуши,  
внимая думам тиховейным,  
котенка за ухом чесать,  
ночь многозвездную вкушать  
и запивать ее портвейном,  
и, очинив перо острей,  
все тайное в душе своей  
певучей предавать огласке.  
Порой слежу не без опаски  
за резвою игрой стиха:  
он очень мил, он просит ласки,  
но далеко ли до греха?  
Так одномесячный тигренок  
по-детски мягок и пузат,  
но как он щурится спросонок,  
какие огоньки сквозят...  
Нет, я боюсь таких котят.

Вам темным кажется сравненье?  
Пожалуй, выразусь ясней:  
есть кровожадное стремленье  
у музы ласковой моей —  
пороки бичевать со свистом,  
тигрицей прядать огневой,  
впиваться вдруг стихом когтистым  
в загрибок пошлости людской.  
Да здравствует сатира! Впрочем,  
нет пищи для нее в глухом  
журнальном мире, где хлопочем

мы о бессмертии своем.  
Дни Ювенала отлетели.  
Не воспевать же, в самом деле,  
как за крапленую статью  
побили Джонсона шандалом?  
Нет воздуха в сем мире малом.  
Я музу увожу мою.  
Вы спросите, как ей живется,  
привольно ль, весело? О, да.  
Идет, молчит, не обернется,  
хоть пристают к ней иногда  
сомнительные господа.  
К иному критику в немилость  
я попадаю оттого,  
что мне смешна его унылость,  
чувствительное кумовство,  
суждений томность, слог жеманный,  
обиды отзвук постоянный,  
а главное — стихи его.  
Бедняга! Он скрипит костями,  
бренча на лире жестяной,  
он клонится к могильной яме  
адамовою головой.  
И вообще: поэты много  
о смерти ныне говорят;  
венки и выцветшая тога —  
обыкновенный их наряд.  
Ущерб, закат... Петроний новый  
с полуулыбкой на устах,  
с последней розой бирюзовой  
в изящно сложенных перстах,  
садится в ванну. Все готово.  
Уж вольной смерти близок час.  
Но погоди! Чем резать жилу,  
не лучше ль обратиться к мылу,  
не лучше ль вымыться хоть раз?»  
.....

Сей разговор литературный  
не занимал меня совсем.  
Я сам, я сам пишу недурно,  
и что мне до чужих поэм?  
Но этот облик, этот голос...

Нет, быть не может...

Между тем  
заря с туманами боролась,  
уже пронизывала тьму,  
и вот к соседу моему  
луч осторожный заструился,  
на пальце вспыхнуло кольцо,  
и подбородок осветился,  
а погода и все лицо.  
Тут я не выдержал: «Скажите,  
как ваше имя?» Смотрит он  
и отвечает: «Я — Ченстон».

Мы обнялись.

1931

\* \* \*

Сам треугольный, двукрылый, безногий,  
но с округленным, прелестным лицом,  
ижицей быстрой в безумной тревоге  
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,  
гость, по ошибке влетевший ко мне,  
дико метался, боясь человека,  
а человек прижимался к стене,

все еще в свадебном галстуке белом,  
выставив руку, лицо отклоня,  
с ужасом тем же, но оцепенелым:  
только бы он не коснулся меня,

только бы вылетел, только нашел бы  
это окно и опять, в неземной  
лаборатории, в синюю колбу  
сел бы, сложась, ангелочек ночной.

1932

## РУСАЛКА

Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»

БЕРЕГ

Князь

Печальные, печальные мечты  
вчерашняя мне встреча оживила.  
Отец несчастный! Как ужасен он!  
Авось опять его сегодня встречу,  
и согласится он оставить лес  
и к нам переселиться...

Русалочка выходит на берег.

Что я вижу!

Откуда ты, прелестное дитя?

Русалочка

Из терема.

Князь

Где ж терем твой? Отсюда  
до теремов далече.

Русалочка

Он в реке.

Князь

Вот так мы в детстве тщимся бытие  
сравнять мечтой с каким-то миром тайным.  
А звать тебя?

Русалочка

Русалочкой зови.

Князь

В причудливом ты, видно, мастерица,  
но слушатель я слишком суеверный,

и чудеса ребенку впрок нейдут  
вблизи развалин, ночью. Вот тебе  
серебряная денежка. Ступай.

Р у с а л о ч к а

Я б деду отнесла, да мудрено  
его поймать. Крылом мах-мах и скрылся.

К н я з ь

Кто — скрылся?

Р у с а л о ч к а

Ворон.

К н я з ь

Будет лепетать.

Да что ж ты смотришь на меня так кротко?  
Скажи... Нет, я обманут тенью листьев,  
игрой луны. Скажи мне... Мать твоя  
в лесу, должно быть, ягоду собирала  
и к ночи заблудилась... иль попав  
на топкий берег... Нет, не то. Скажи,  
ты — дочка рыбака, меньшая дочь,  
не правда ли? Он ждет тебя, он кличет.  
Поди к нему.

Р у с а л о ч к а

Вот я пришла, отец.

К н я з ь

Чур, чур меня!

Р у с а л о ч к а

Так ты меня боишься?  
Не верю я. Мне говорила мать,  
что ты силен, приветлив и отважен,  
что пересвищешь соловья в ночи,

что лань лесную пеший перегонишь.  
В реке Днепре она у нас царица;  
«Но,— говорит, в русалку обратясь,—  
я все люблю его, все улыбаюсь,  
как в ночи прежние, когда бежала,  
платок забывши впопыхах, к нему  
за мельницу».

### Князь

Да, этот голос милый  
мне памятен. И это все безумье —  
и я погибну...

### Русалочка

Ты погибнешь, если  
не навестишь нас. Только человек  
боится нежити и наважденья,  
а ты не человек. Ты наш, с тех пор  
как мать мою покинул и тоскуешь.  
На темном дне отчизну ты узнаешь,  
где жизнь течет, души не утруждая.  
Ты этого хотел. Дай руку. Видишь,  
луна скользит, как чешуя, а там —

### Князь

Ее глаза сквозь воду ясно светят,  
дрожащие ко мне струятся руки!  
Веди меня, мне страшно, дочь моя...  
*(Исчезает в Днепре.)*

### Русалки (поют)

Всплываем, играем  
и пеним волну.  
На свадьбу речную  
зовем мы луну.  
Все тише качаясь,  
туманный жених  
на дно опустился  
и вовсе затих.  
И вот осторожно,

до самого дна,  
до лба голубого  
доходит луна.  
И тихо смеется,  
склоняясь к нему,  
Царица-Русалка  
в своем терему.

Скрываются. Пушк и н пожимает плечами.

1942

\* \* \*

Минуты есть: «Не может быть,— бормочешь,—  
не может быть, не может быть, что нет  
чего-то за пределом этой ночи»,  
и знаков ждешь, и требуешь примет.

Касаясь до всего душою голой,  
на бесконечно милых мне гляжу  
со стоном умиления и, тяжелый,  
по тонкому льду счастья хожу.

27 декабря 1953

## СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### 1

Как над стихами силы средней  
эпиграф из Шенье,  
как луч последний, как последний  
зефир... comme un dernier

гауон<sup>1</sup>, так над простором голым  
моих нелучших лет  
каким-то райским ореолом  
горит нерусский свет!

1956

### 2

Целиком в мастерскую высокую  
входит солнечный вечер ко мне:  
он как нотные знаки, как фокусник,  
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,  
только пальцы в пастельной пыли.  
Смотрят с неба художники бывшие  
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители  
зажигается сто этажей  
и как американские жители  
там стойком поднимаются в ней.

---

<sup>1</sup> Как последний луч (фр.).

Все, от чего оно сжимается,  
миры в тумане, сны, тоска,  
и то, что мною принимается  
как должное — твоя рука;

все это под одну крышею  
в плену моем живет, поет,  
но сводится к четверостишию,  
как только ямб ко дну идет.

И оттого, что — как мне помнится —  
жильцы родного словаря  
такие бедняки и скромницы:  
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,  
а с музыкой я незнаком,  
и удовлетворяюсь, стало быть,  
ничьей меж смыслом и смычком.

---

«Но вместо всех изобразительных  
приемов и причуд, нельзя ль  
одной опушкой существительных  
и воздух передать, и даль?»

Я бы добавил это новое,  
но наподобие кольца  
сомкнуло строй уже готовое  
и не впустило пришлеца.

Вечер дымчат и долог:  
я с мольбою стою,  
молодой энтомолог,  
перед жимолостью.

О, как хочется, чтобы  
там, в цветах, вдруг возник,  
запуская в них хобот,  
райский сумеречник.

Содроганье — и вот он.  
Я по ангелу бью,  
и уж демон замотан  
в сетку дымчатую.

5

Какое б счастье или горе  
ни пело в прежние года,  
метафор, даже аллегорий  
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,  
что солнце меркнет в камышах,  
и рябь чешуйчатее к устью,  
и шум морской уже в ушах.

50-е гг.  
Итака

6

Есть сон. Он повторяется, как томный  
стук замурованного. В этом сне  
киркой работаю в дыре огромной  
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю  
след надписи и наготу червя.  
«Читай, читай!» — кричит мне кровь моя:  
P,O,C,— нет, я букв не различаю.

Зимы ли серые смыли  
очерк единственный? Эхо ли  
все, что осталось от голоса? Мы ли  
поздно приехали?

Только никто не встречает нас. В доме  
рояль — как могила на полюсе. Вот тебе  
ласточки. Верь тут, что кроме  
пепла есть оттепель.

1956

## СТИХИ ИЗ РАССКАЗОВ И РОМАНОВ

\* \* \*

Когда, слезами обливаясь,  
ее лобзая вновь и вновь,  
шептал я, с милой расставаясь,  
прощай, прощай, моя любовь,  
прощай, прощай, моя отрада,  
моя тоска, моя мечта,  
мы по тропам заглохшим сада  
уж не пройдемся никогда...

(Подражание романсу. Из рассказа «Адмирал-  
тейская игла» в сборнике «Весна в Фиальте» и  
другие рассказы»)   
Берлин, 1933

\* \* \*

Распротысь с пустой тревогой,  
палку толстую возьми  
и шагай большой дорогой  
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой  
вместе с добрыми людьми,  
без тревоги нелюдимой,  
без сомнений, черт возьми.

Километр за километром,  
ми-ре-до и до-ре-ми,  
вместе с солнцем, вместе с ветром,  
вместе с добрыми людьми.  
(Из рассказа «Облако, озеро, башня»)   
Берлин, 1937

\* \* \*

Хорошо-с,— а помните, граждане,  
как хирел наш край без отца?  
Так без хмеля сильнейшая жажда  
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,  
ни баклажанов, ни брюкв...  
Так и песня, что днесь у нас крепнет,  
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропинкой исторенной,  
горькие ели грибы,  
пока ворота истории  
не дрогнули от колотьбы.

Пока, белизною кительной  
сияя верным сынам,  
с улыбкой своей удивительной  
Правитель не вышел к нам!  
(Из рассказа «Истребление тиранов»)  
Париж, 1938

#### СТИХИ ИЗ РОМАНА «ДАР»

Из сборника Федора Годунова-Чердынцева

#### 1

Мяч закатился мой под нянин  
комод, и на полу свеча  
тень за концы берет и тянет  
туда, сюда — но нет мяча.  
Потом там кочерга кривая  
гуляет и грохочет зря,  
и пуговицу выбивает,  
а погода — полсухаря.  
Но вот выскакивает сам он  
в трепещущую темноту,  
через всю комнату, и прямо  
под неприступную тахту.

#### 2

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

и по углам нагледят ночью,  
своим законным образцам  
лишь подражая между прочим.

3

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

при музыке миниатюрной  
с произношением смешным.

4

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

И снова заряжаешь ствол  
до дна, со скрежетом пружинным  
в упругий вдавливая пол,  
и видишь, притаившись за дверью,  
как в зеркале стоит другой —  
и дыбом радужные перья  
из-за повязки головной.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

под лестницею винтовой  
 и за буфетом одиноким,  
 забытым в комнате пустой.

По четвергам старик приходит  
 учтивый, от часовщика,  
 и в доме все часы заводит  
 неторопливая рука.  
 Он на свои украдкой взглянет  
 и переставит у стенных.  
 На стуле стоя, ждать он станет,  
 чтоб вышел полностью из них  
 весь полдень. И благополучно  
 окончив свой приятный труд,  
 на место ставит стул беззвучно,  
 и, чуть ворча, часы идут.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Пожалуйста вставать. Гуляет  
 по зеркалам печным ладонь

истопника: определяет,  
дорос ли доверху огонь.  
Дорос. И жаркому гуденью  
день отвечает тишиной,  
лазурью с розовою тенью  
и совершенной белизной.

8

Как буду в этой же карете  
чрез полчаса опять сидеть?  
Как буду на снежинки эти  
и ветви черные глядеть?  
Как тумбу эту в шапке ватной  
глазами провожу опять?  
Как буду на пути обратном  
мой путь туда припоминать?  
(Нашупывая поминутно  
с брезгливой нежностью платок,  
в который бережно закутан  
как будто костяной брелок.)

9

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

так впечатление бывшее  
во льду гармонии живет...

Влезть на помост, облитый блеском,  
упасть с размаху животом  
на санки плоские — и с треском  
по голубому... А потом,  
когда меняется картина,  
и в детской сумрачно горит  
рождественская scarлатина  
или пасхальный дифтерит,  
съезжать по блещущему ломко,  
преувеличенному льду,  
в полутропическом каком-то,  
полутаврическом саду...

11

.....  
.....  
.....  
.....

Бювар с бумагою почтовой  
всего мне видится ясней,  
она украшена подковой  
и монограммою моей.  
Уж знал я толк в инициалах,  
печатках, сплюсненных цветках  
от девочки из Ниццы, алых  
и бронзоватых сургучах.

12

В канавы скрылся снег со склонов,  
и петербургская весна  
волнения, и анемонов,  
и первых бабочек полна.  
Но мне не надо прошлогодних,  
увядших за зиму ванесс,  
лимонниц, никуда не годных,  
летающих сквозь прозрачный лес.

Зато уж высмотрю четыре  
прелестных газовых крыла  
нежнейшей пяденицы в мире  
среди пятен белого ствола.

13

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Ни шапки надевать не надо,  
ни легких башмаков менять,  
чтоб на песок кирпичный сада  
весною выбежать опять.

14

О, первого велосипеда  
великолепье, вышина,  
на раме «Дукс» или «Победа»,  
надутой шины тишина.  
Дрожанье и вилы в аллее,  
где блики по рукам скользят,  
где насыпи кротов чернеют  
и низвержением грозят.  
А завтра пролетаешь через,  
и, как во сне, поддержки нет,  
и, этой простоте доверяясь,  
не падает велосипед.

15

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

синеет, синего синей,  
почти не уступая в сини  
воспоминанию о ней,

16

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... от валуна  
посередине от опушки  
еще как днем освещена.

17

Фарфоровые соты синий,  
зеленый, красный мед хранят.  
Сперва из карандашных линий  
слагается шершаво сад.  
Березы, флигельный балкончик —  
все в пятнах солнца. Обмакну

и заверну погуще кончик  
в оранжевую желтизну.  
Меж тем в наполненном бокале,  
в лучах граненого стекла —  
какие краски засверкали,  
какая радость зацвела!

18

Одни картины да киоты  
в тот год остались на местах,  
когда мы выросли, и что-то  
случилось с домом: второпях  
все комнаты между собою  
менялись мебелью своей,  
шкапами, ширмами, толпою  
неповоротливых вещей.  
И вот тогда-то, под тахтою,  
на обнажившемся полу,  
живой, невероятно милый,  
он обнаружился в углу.

\* \* \*

Благодарю тебя, отчизна,  
за злую даль благодарю!  
Тобою полн, тобой не признан,  
я сам с собою говорю.  
И в разговоре каждой ночи  
сама душа не разберет,  
мое ль безумие бормочет,  
твоя ли музыка растет...

\* \* \*

Во тьме в незамерзающую воду,  
сквозь тихо падающий снег,  
в обычную летейскую погоду  
вот этим я ступлю на брег.  
И к пристающему парому  
сук тянется, и медленно багром  
паромщик тянется к суку сырому,  
и медленно вращается паром.

\* \* \*

Здесь все так плоско, так непрочно,  
так плохо сделана луна,  
хотя из Гамбурга нарочно  
она сюда привезена...

### ЛАСТОЧКА

Однажды мы под вечер оба  
стояли на старом мосту.  
Скажи мне, спросил я, до гроба  
запомнишь вон ласточку ту?  
И ты отвечала: еще бы!  
И как мы заплакали оба,  
как вскрикнула жизнь на лету...  
До завтра, навеки, до гроба —  
однажды, на старом мосту...

\* \* \*

*О нет, мне жизнь не надоела,  
Я жить хочу, я жить люблю;*

*Душа не вовсе охладела,  
Утрата молодость свою.*

Еще судьба меня согреет,  
Романом гения упыюсь,  
Мицкевич пусть еще созреет,  
Кой-чем я сам еще займусь.

\* \* \*

«...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загнипотизировало меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений... и с той поры, в продолжение почти года — скверного, грешного года — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно  
распространяет аромат  
и неосуществимо нежно  
уж полуувядает сад,— »

\* \* \*

В полдень послышался клюнувший ключ и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна; шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами.

Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гексаметром автора «Москвы».

\* \* \*

Люби лишь то, что редкостно и мнимо,  
что крадется окраинами сна,  
что злит глупцов, что смердами казнимо,  
как родине, будь вымыслу верна.  
Наш час настал. Собаки и калеки

одни не спят. Ночь летняя легка.  
Автомобиль проехавший навеки  
последнего увез ростовщика.  
Близ фонаря, с оттенком маскарада,  
лист жилками зелеными сквозит.  
У тех ворот — кривая тень Багдада,  
а та звезда над Пулковом висит.  
Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина,  
полумерцанье в имени твоём,  
и странно мне по сумраку Берлина  
с полувиденьем странствовать вдвоем.  
Но вот скамья под липой освещенной...  
Ты оживаешь в судорогах слез:  
я вижу взор, сей жизнью изумленный,  
и бледное сияние волос.  
Есть у меня сравненье на примете  
для губ твоих, когда целуешь ты:  
нагорный снег, мерцающий в Тибете,  
горячий ключ и в иные цветы.  
Ночные наши бедные владенья,  
забор, фонарь, асфальтовую гладь  
поставим на туза воображенья,  
чтоб целый мир у ночи отыграть.  
Не облака, а горные отроги,  
костер в лесу, не лампа у окна.  
О, поклянись, что до конца дороги  
ты будешь только вымыслу верна...

Под липовым цветением мигает  
фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень  
прохожего по тумбе пробегает,  
как соболь пробегает через пень.  
За пустырем, как персик, небо тает:  
вода в огнях, Венеция сквозит,—  
а улица кончается в Китае,  
а та звезда над Волгою висит.  
О, поклянись, что веришь в небылицу,  
что будешь только вымыслу верна,  
что не запрешь души своей в темницу,  
не скажешь, руку протянув: стена.

\* \* \*

Виноград созрел, изваянья в аллеях синели.  
Небеса опирались на снежные плечи отчизны...

\* \* \*

Из темноты, для глаз всегда неожиданно,  
она, как тень, внезапно появлялась,  
от родственной стихии отделясь.  
Сначала освещались только ноги,  
так ставимые тесно, что казалось:  
она идет по тонкому канату.  
Она была в коротком летнем платье  
ночного цвета — цвета фонарей,  
темней стволов, лоснящейся панели,  
бледнее рук ее, темней лица.

\* \* \*

. . . . . ума большого  
не надобно, чтобы заметить связь  
между ученьем материализма  
о прирожденной склонности к добру,  
о равенстве способностей людских,  
способностей, которые обычно  
зовутся умственными, о влиянье  
на человека обстоятельств внешних,  
о всемогущем опыте, о власти  
привычки, воспитания, о высоком  
значении промышленности всей,  
о праве нравственном на наслажденье —  
и коммунизмом.

«Перевожу стихами, чтобы не было так скучно.  
Карл Маркс: «Святое семейство».

\* \* \*

Что скажет о тебе далекий правнук твой,  
то слава прошлое, то запросто ругая?  
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая  
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой  
в поэзию добра попутно обращая  
и белое чело кандальника венчая  
одной воздушною и замкнутой чертой?

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,  
все так же на ветру, в одежде оживленной,  
к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой,  
как будто в пригоршне рассматривая что-то,  
из-за плеча ее невидимое нам.

\* \* \*

Прощай же, книга! Для видений  
отсрочки смертной тоже нет.  
С колен поднимется Евгений,  
но удаляется поэт.  
И все же слух не может сразу  
расстаться с музыкой, рассказу  
дать замереть... судьба сама  
еще звенит, и для ума  
внимательного нет границы  
там, где поставил точку я:  
продленный призрак бытия  
синеет за чертой страницы,  
как завтрашние облака,  
и не кончается строка.

## ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Мы забываем, что влюбленность  
не просто поворот лица,  
а под купавами бездонность,  
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,  
но пробуждением не мучь,  
и лучше недоговоренность,  
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность  
не явь, что метины не те,  
что, может быть, потусторонность  
приотворилась в темноте.

(Стихотворение Вадима из романа «Look at the  
Harlequins!»)  
1973

## УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА

### 1

«Итак, вы русский? Я впервые  
встречаю русского...» Живые,  
слегка навывкате глаза  
меня разглядывают: «К чаю  
лимон вы любите, я знаю;  
у вас бывают образа  
и самовары, знаю тоже!»  
Она мила: по нежной коже  
румянец Англии разлит.  
Смеется, быстро говорит:  
«Наш город скучен, между нами,—  
но речка — прелесть.. Вы гребец?»  
Крупна, с покатыми плечами,  
большие руки без колец.

### 2

Так у викария за чаем  
мы, познакомившись, болтаем,  
и я старательно острою,  
и не без сладостной тревоги  
на эти скрещенные ноги  
и губы яркие смотрю,  
и снова отвожу поспешно  
нескромный взгляд. Она, конечно,  
явилась с теткою, но та  
социализмом занята,—  
и, возражая ей, викарий,—  
мужчина кроткий, с кадыком,—  
скосил по-песьи глаз свой карий  
и нервным давится смешком.

Чай крепче мюнхенского пива.  
 Туманно в комнате. Лениво  
 в камине слабый огонек  
 блестит, как бабочка на камне.  
 Но засиделся я,— пора мне...  
 Встаю, кивок, еще кивок,  
 прощаюсь я, руки не тыча,—  
 так здешний требует обычай,—  
 сбегая вниз через ступень  
 и выхожу. Февральский день,  
 и с неба вот уж две недели  
 непрекращающийся ток.  
 Неужто скучен в самом деле  
 студентов древний городок?

Дома,— один другого краше,—  
 чью старость розовую наши  
 велосипеды веселят;  
 ворота колледжей, где в нише  
 епископ каменный, а выше —  
 как солнце, черный циферблат;  
 фонтаны, гулкие прохлады,  
 и переулки, и ограды  
 в чугунных розах и шипах,  
 через которые впотьмах  
 перелезть совсем не просто;  
 кабак — и тут же антиквар,  
 и рядом с плитами погоста  
 живой на площади базар.

Там мяса розовые глыбы,  
 сырая вонь блестящей рыбы,

ножи, кастрюли, пиджаки  
из гардеробов безымянных;  
отдельно, в положеньях странных  
кривые книжные лотки  
застыли, ждут, как будто спрятав  
тému алхимических трактатов;  
однажды эту дребедень  
перебирая,— в зимний день,  
когда, изгнанника печалю,  
шел снег, как в русском городке,—  
нашел я Пушкина и Даля  
на заколдованном лотке.

6

За этой площадью щербатой  
кинематограф, и туда-то  
по вечерам мы в глубину  
туманной дали заходили,—  
где мчались кони в клубах пыли  
по световому полотну,  
волшебнó зрителя волнуя;  
где силуэтом поцелуя  
все завершалось в должный срок;  
где добродетельный урок  
всегда в трагедию был вкраплен;  
где семенил, носками врозь,  
смешной и трогательный Чаплин;  
где и зевать нам довелось.

7

И снова — улочки кривые,  
ворот громады вековые,—  
а в самом сердце городка  
цирюльня есть, где брился Ньютон,  
и древней тайною окутан  
трактирчик «Синего Быка».

А там, за речкой, за домами,  
дерн, утрамбованный веками,  
темно-зеленые ковры  
для человеческой игры,  
и звук удара деревянный  
в холодном воздухе. Таков  
был мир, в который я неожиданно  
упал из русских облаков.

8

Я по утрам, вскочив с постели,  
летел на лекцию; свистели  
концы плаща,— и наконец  
стихало все в холодноватом  
амфитеатре, и анатом  
всходил на кафедру,— мудрец  
с пустыми детскими глазами;  
и разноцветными мелками  
узор японский он чертил  
переплетающихся жил  
или коробку черепную;  
чертил,— и шуточку нет-нет  
да и отпустит озорную,—  
и все мы топали в ответ.

9

Обедать. В царственной столовой  
портрет был Генриха Восьмого —  
тугие икры, борода —  
работы пышного Гольбайна;  
в столовой той, необычайно  
высокой, с хорами, всегда  
бывало темновато, даром  
что фиолетовым пожаром  
от окон веяло цветных.  
Нагие скамьи вдоль нагих

столов тянулись. Там сидели  
мы в черных конусах плащей  
и переперченные ели  
супы из вялых овощей.

10

А жил я в комнате старинной,  
но в тишине ее пустынной  
теньями мало дорожил.  
Держа московского медведя,  
боксеров жалуя и бредя  
красой Италии, тут жил  
студентом Байрон хромоногий.  
Я вспоминал его тревоги,—  
как Геллеспонт он переплыл,  
чтоб похудеть... Но я остыл  
к его твореньям... Да простится  
неромантичности моей,—  
мне розы мраморные Китса  
всех бутафорских бурь милей.

11

Но о стихах мне было вредно  
в те годы думать. Винтик медный  
вращать, чтоб, в капельках воды,  
сияя, мир явился малый,—  
вот это день мой занимало.  
Люблю я мирные ряды  
лабораторных ламп зеленых,  
и пестроту таблиц мудреных,  
и блеск приборов колдовской.  
И углубляться день-деньской  
в колодец светлый микроскопа  
ты не мешала мне совсем,  
тоскующая Каллиопа,  
тоска неконченных поэм.

Зато другое отвлекало:  
 вдруг что-то в памяти мелькало,  
 как бы не в фокусе,— потом  
 ясней, и снова пропадало.  
 Тогда мне вдруг надоедало  
 иглой работать и винтом,  
 мерцанье наблюдать в узоре  
 однообразных инфузорий,  
 кишки разматывать в уже;  
 лаборатория уже  
 мне больше не казалась раем;  
 я начинал воображать,  
 как у викария за чаем  
 мы с нею встретимся опять.

Так! Фокус найден. Вижу ясно.  
 Вот он, каштаново-атласный  
 переливающийся лоск  
 прически, и немного грубый  
 рисунок губ, и эти губы,  
 как будто ярко-красный воск  
 в мельчайших трещинках. Прикрыла  
 глаза от дыма, докурила  
 и, жмурясь, тычет золотым  
 окурком в пепельницу... Дым  
 сейчас рассеется, и станут  
 мигать ресницы, и в упор  
 глаза играющие глянут,  
 и, первый, опушу я взор.

Не шло ей имя Виолета,  
 (вернее: Вийолет, но это

едва ли мы произнесем).  
С фиалкой не было в ней сходства,—  
напротив: ярко, до уродства,  
глаза блестели, и на всем  
подолгу, радостно и важно  
взор останавливался влажный,  
и странно ширились зрачки...  
Но речи, быстры и легки,  
не соответствовали взору,—  
и доверять не знал я сам  
чему — пустому разговору  
или значительным глазам...

15

Но знал: предельного расцвета  
в тот год достигла Виолета,—  
а что могла ей принести  
британской барышни свобода?  
Осталось ей всего три года  
до тридцати, до тридцати...  
А сколько тщетных увлечений,—  
и все они прошли, как тени,—  
и Джим, футбольный чемпион,  
и Джо мечтательный, и Джон,  
герой угрюмый интеграла...  
Она лукавила, влекла,  
в любовь воздушную играла,  
а сердцем большего ждала.

16

Но день приходит неминуемый,  
он уезжает, друг летучий:  
оплачен счет, экзамен сдан,  
ракетка теннисная в раме,—  
и вот блестящими замками,  
набитый, щелкнул чемодан.

Он уезжает. Из передней  
выносят вещи. Стук последний,—  
и тронулся автомобиль.  
Она вослед глядит на пыль:  
ну что ж — опять фаты венчальной  
напрасно призрак снился ей...  
Пустая улочка и дальний  
звук перебора скоростей...

17

От инфлуэнции презренной  
ее отец, судья почтенный,  
знаток портвейна, балагур,  
недавно умер. Виолета  
жила у тетки. Дама эта,  
одна из тех ученых дур,  
какими Англия богата,—  
была, в отличие от брата,  
высокомерна и худа,  
ходила с тросточкой всегда,  
читала лекции рабочим,  
культуры чтит идеал  
и полагала, между прочим,  
что Харьков — русский генерал.

18

С ней Виолета не бранилась,—  
порой могла бы, но ленилась,—  
в благополучной тишине  
жила, о мире мало зная,  
отца все реже вспоминая,  
не помня матери (но мне  
о ней альбомы рассказали,—  
о временах осиных талий,  
горизонтальных канотье.  
Последний снимок: на скамье

она сидит, по юбке длинной  
стекают тени на песок,  
скромна горжетка, взор невинный,  
в руке крокетный молоток.

19

Я приглашен был раза два-три  
в их дом радушный, да в театре  
раз очутилась невзначай  
со мною рядом Виолета.  
(Студенты ставили Гамлета,  
и в этот день был рай не в рай  
великой тени барда.) Чаше  
мы с ней встречались на кричащей  
вечерней улице, когда  
снует газетчиков орда,  
гортанно вести выкликая.  
Она гуляла в этот час.  
Два слова, шуточка пустая,  
великолепье темных глаз.

20

Но вот однажды, помню живо,  
в начале марта, в день дождливый,  
мы на футбольном были с ней  
соревнованье. Понемногу  
росла толпа,— отдавит ногу,  
пихнет в плечо,— и все тесней  
многоголовое кишенье.  
С самим собою в соглашенье  
я молчаливое вошел:  
как только грянет первый гол,  
я трону руку Виолеты.  
Меж тем, в короткие портки,  
в фуфайки пестрые одеты,—  
уж побежали игроки.

Обычный зритель: из-под кепки  
 губа брезгливая и крепкий  
 дымок Виргинии. Но вдруг  
 разжал он губы, трубку вынул,  
 еще минута — рот разинул,  
 еще — и воет. Сотни рук  
 взвились, победу понукая:  
 игрок искусный, мяч толкая,  
 вдоль поля ласточкой стрельнул,—  
 навстречу двое,— он вильнул,  
 прорвался,— чистая работа,—  
 и на бегу издалека  
 дубленный мяч кладет в ворота  
 ударом меткого носка.

И тихо протянул я руку,  
 доверясь внутреннему стуку,  
 мне повторяющему: тронь...  
 Я тронул. Я собрался даже  
 пригнуться, зашептать... Она же  
 непотеpleвшую ладонь  
 освободила молчаливо,  
 и прозвучал ее шуточный,  
 всегдашний голос, легкий смех:  
 «Вон тот играет хуже всех,—  
 все время падает, бедняга...»  
 Дождь моросил едва-едва;  
 мы возвращались вдоль оврага,  
 где прела черная листва.

Домой. С гербами на фронтонах  
 большое здание, в зеленых

просветах внутренних дворов.  
Там тихо было. Там в суровой  
(уже описанной) столовой  
был штат лакеев-стариков.  
Там у ворот швейцар был зоркий.  
Существовала для уборки  
глухой студенческой норы  
там с незапамятной поры  
старушек мелкая порода;  
одна ходила и ко мне  
сбивать метелкой пыль с комода  
и с этажерок на стене.

24

И с этим образом расстаться  
мне трудно. В памяти хранятся  
ее мышинные шажки,  
смешная траурная шляпка,—  
в какой, быть может, и прабабка  
ее ходила,— волоски  
на подбородке... Утром рано  
из желтоватого тумана  
она беззвучно, в черном вся,  
придет и, щепки принеся,  
согнетя куклою тряпичной  
перед холодным очагом,  
наложит кокс рукой привычной  
и снизу чиркнет огоньком.

25

И этот образ так тревожит,  
так бередит меня... Быть может,  
в табачной лавочке отца  
во дни Виктории, бывало,  
она румянцем волновала  
в жилетах клетчатых сердца —

сердца студентов долговязых...  
Когда играет в темных вязах  
звук драгоценный соловья,  
ее встречал такой, как я,  
и с этой девочкой веселой  
сирень персидскую ломал;  
к ее склоненной шее голой  
в смятенье губы прижимал.

26

Воображенье дальше мчится:  
ночь... лампа на столе... не спится  
больному старику... застыл,  
ночной подслушивает шепот:  
отменно важный начат опыт  
в лаборатории... нет сил...  
Она приходит в час урочный,  
поднимет с полу сор полночный —  
окурки, ржавое перо,  
из спальни вынесет ведро.  
Профессор стар. Он очень скоро  
умрет, и он давно забыл  
душистый табачок, который  
во дни Виктории курил.

27

Ушла. Прикрыла дверь без стука...  
Пылают угли. Вечер. Скука.  
И, оглушенный тишиной,  
я с кексом в родинках изюма  
пью чай, бездействуя угрюмо.  
В камине ласковый, ручной  
огонь стоит на задних лапах,  
и от тепла шершавый запах  
увядшей мебели слышней  
в старинной комнатке моей.

Горящей кочергою ямки  
в шипящей выжигать стене,  
играть с самим собою в дамки,  
читать, писать,— что делать мне?

28

Отставя чайничек кургузый,  
родной словарь беру — и с музой,  
моею вялой госпожой,  
читаю в тягостной истоме  
и нахожу в последнем томе  
меж «хананыгой» и «ханжой»  
«хандра: тоска, унынье, скука;  
сплин, ипохондрия». А ну-ка  
стихотворенье сочиню...  
Так час-другой, лицом к огню,  
сижусь я, рифмы подбирая,  
о Виолете позабыв,—  
и вот, как музыка из рая,  
звучит курантов перелив.

29

Открыв окно, курантам внемлю:  
перекрестили на ночь землю  
святые ноты четвертей,  
и бьют часы на башне дальней,  
считает башня, и печальней  
вдали другая вторит ей.  
На тяжелеющие зданья  
по складкам мантия молчанья  
спадает. Вслушиваюсь я,—  
умолкло все. Душа моя  
уже к безмолвию привыкла,—  
как вдруг со смехом громовым  
взмывает ветер мотоцикла  
по переулкам неживым!

С тех пор душой живу я шире:  
 в те годы понял я, что в мире  
 пред Богом звуки все равны.  
 В том городке под сенью Башен  
 был грохот жизни бесшабашен,  
 и смесь хмельная старины  
 и настоящего живого  
 мне впрок пошла: душа готова  
 всем любоваться под луной,  
 и стариной и новизной.  
 Но я в разладе с лунным светом,  
 я избегаю тосковать...  
 Не дай мне, Боже, стать поэтом,  
 земное сдуру прозевать!

Нет! Я за книгой в кресле сонном  
 перед камином озаренным  
 не пропустил, тоскуя зря,  
 весны прелестного вступленья.  
 Довольно угли и поленья  
 совать в камин — до октября.  
 Вот настезь небеса открыты,  
 вот первый крокус глянцевитый,  
 как гриб, сквозь мураву пророс,  
 и завтра, без обильных слез,  
 без сумасшедшего напева,  
 придет, усядется она, —  
 совсем воспитанная дева,  
 совсем не русская весна.

И вот пришла. Прозрачней, выше  
 курантов музыка, и в нише

епископ каменный сдает  
квартиры ласточкам. И, гулко  
дудя в пролете переулка,  
машина всякая снует.  
Шумит фонтан, цветет ограда.  
Лоун-теннис — белая отрада —  
сменяет буйственный футбол:  
в штанах фланелевых пошел  
весь мир играть. В те дни кончался  
последний курс — девятый вал,  
и с Виолетой я встречался  
и Виолету целовал.

33

Как в первый раз она метнулась  
в моих объятьях, — ужаснулась,  
мне в плечи руки уперев,  
и как безумно и уныло  
глаза глядели! Это было  
не удивленье и не гнев,  
не девичий испуг условный...  
Но я не понял... Помню ровный,  
остриженный по моде сад,  
шесть белых мячиков и ряд  
больших кустов рододендрона;  
я помню, пламенный игрок,  
площадку твердого газона  
в чертах и с сеткой поперек.

34

Она лениво — значит, скверно —  
играла; не летала серной,  
как лёгконогая Ленглен.  
Ах, признаюсь, люблю я, други,  
на всем разбеге взмах упругий  
богини в платье до колен!

Подбросить мяч, назад согнуться,  
молниеносно развернуться,  
и струнной плоскостью плеча  
скользнуть по темени мяча,  
и, ринувшись, ответ свистящий  
уничтожительно прервать,—  
на свете нет забавы слаще...  
В раю мы будем в мяч играть.

35

Стоял у речки дом кирпичный:  
плющом, глицинией обычной  
стена меж окон обвита.  
Но кроме плюшевой гостиной,  
где я запомнил три картины:  
одна — Мария у Креста,  
другая — ловчий в красном фраке,  
и третья — спящие собаки,—  
я комнат дома не видал.  
Камин и бронзовый шандал  
еще, пожалуй, я отмечу,  
и пианолу под чехлом,  
и ног нечаянную встречу  
под чайным чопорным столом.

36

Она смирилась очень скоро...  
Уж я не чувствовал укора  
в ее послушности. Весну  
сменило незаметно лето.  
В полях блуждаем с Виолетой:  
под черной тучей глубину  
закат, бывало, разрумянит,—  
и так в Россию вдруг потянет,  
обдаст всю душу тошный жар,—  
особенно когда комар

над ухом пропоет, в безмолвный  
вечерний час,— и ноет грудь  
от запаха черемух. Полно,  
я возвращусь когда-нибудь.

37

В такие дни, с такою ленью  
не до науки. К сожаленью,  
экзамен нудит, хошь не хошь.  
Мы поработаем, пожалуй...  
Но книга — словно хлеб лежалый,  
суха, тверда — не разгрызешь.  
Мы и не то одолевали...  
И вот верчусь средь вакханалий  
названий, в оргиях систем,  
и вспоминаю вместе с тем,  
какую лодочник знакомый  
мне шлюпку обещал вчера,  
и недочитанные томы —  
хлоп, и на полочку. Пора!

38

К реке воскресной, многолюдной  
местами сходит изумрудный  
геометрический газон,  
а то нависнет арка: тесен  
под нею путь — потемки, плесень.  
В густую воду с двух сторон  
вросли готические стены.  
Как неземные гобелены,  
цветут каштаны над мостом,  
и плющ на камне вековом  
тузами пиковыми жметя,—  
и дальше, узкой полосой,  
река вдоль стен и башен вьется  
с венецианскою ленцой.

Плоты, пироги да байдарки;  
там граммофон, тут зонтик яркий;  
и осыпаются цветы  
на зеленеющую воду.  
Любовь, дремота, тьма народу,  
и под старинные мосты,  
сквозь их прохладные овалы,  
как сон блестящий и усталый,  
все это медленно течет,  
переливается,— и вот  
уводит тайная излука  
в затон черемухи глухой,  
где нет ни отсвета, ни звука,  
где двое в лодке под ольхой.

Вино, холодные котлеты,  
подушки, лепет Виолеты;  
легко дышал ленивый стан,  
охвачен шелковой вязкой;  
лицо, не тронутое краской,  
пылало. Розовый каштан  
цвел над ольшаником высоко,  
и ветерок играл осокой,  
по лодке шарил, чуть трепал  
юмористический журнал;  
и в шею трепетную, в душу  
я целовал ее, смеясь.  
Смотрю: на яркую подушку  
она в раздумье оперлась.

Перевернула лист журнала  
и взгляд как будто задержала,

но взгляд был темен и тягуч:  
она не видела страницы...  
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы  
блестящий вылупился луч,  
и по щеке румяно-смуглой,  
играя, покатился круглый  
алмаз... «О чем же вы, о чем,  
скажите мне?» Она плечом  
пожала и небрежно стерла  
блистанье той слезы немой,  
и тихим смехом вздулось горло:  
«Сама не знаю, милый мой...»

42

Текли часы. Туман закатный  
спустился. Вдалеке невнятно  
пропел на пастбище рожок.  
Налетом сумеречно-мглистым  
покрылся мир, и я в слоистом,  
цветном фонарике зажег  
свечу, и тихо мы поплыли  
в туман,— где плакала не ты ли,  
Офелия, иль то была  
лишь граммофонная игла?  
В тумане звук неизъяснимый  
все ближе, и, плеснув слегка,  
тьнь лодки проходила мимо,  
алела капля огонька.

43

И может быть, не Виолета,—  
другая, и в другое лето,  
в другую ночь, плывет со мной...  
Ты здесь, и не было разлуки,  
ты здесь, и протянула руки,  
и в смутной тишине ночной

меня ты полюбила снова,  
с тобой средь марева речного  
я счастья наконец достиг...  
Но, слава Богу, в этот миг  
стремленье грезы невозможной  
звук речи английской прервал:  
«Вот пристань, милый. Осторожно».  
Я затабанил и пристал.

44

Там на скамье мы посидели...  
«Ах, Виолета, неужели  
вам спать пора?» И, заблистав  
преувеличенно глазами,  
она в ответ: «Судите сами,—  
одиннадцать часов»,— и, встав,  
в последний раз мне позволяет  
себя обнять. И поправляет  
прическу: «Я дойду одна.  
Прощайте». Снова холодна,  
печальна, чем-то недовольна,—  
не разберешь... Но счастлив я:  
меня подхватывает вольно  
восторг ночного бытия.

45

Я шел домой, пьянея в тесных  
объятых улочек прелестных,—  
и так душа была полна,  
и слов была такая скудность!  
Кругом — безмолвие, безлюдность  
и, разумеется, луна.  
И, блики на панели гладкой  
давя резиновую пяткой,  
я шел и пел «Алла верды»,  
не чуя близости беды...

Предупредительно и хмуро  
из-под невидимых ворот  
внезапно выросли фигуры  
трех неприятнейших господ.

46

Глава их — ментор наш упорный:  
осанка, мантия и черный  
квадрат покрышки головной, —  
весь вид его — укор мне строгий.  
Два молодца — его бульдоги —  
с боков стоят, следят за мной.  
Они на сыщиков похожи,  
но и на факельщиков тоже:  
крепки, мордасты, в сюртуках,  
в цилиндрах. Если же впотьмах  
их жертва в бегство обратится,  
спасет едва ли темнота, —  
такая злая в них таится  
выносливость и быстрота.

47

И тихо помянул я черта...  
Увы, я был одет для спорта,  
а ночью требуется тут  
(смотри такой-то пункт статута)  
ходить в плаще. Еще минута,  
ко мне все трое подойдут,  
и средний взгляд мой взглядом встретит,  
и спросит имя, и отметит, —  
«спасибо» вежливо сказав;  
а завтра — выговор и штраф.  
Я замер. Свет белесый падал  
на их бесстрастные черты.  
Надвинулись... И тут я задал,  
как говорится, лататы.

Луна... Погоня... Сон безумный...  
 Бегу, шарахаюсь бесшумно:  
 то на меня из тупика  
 цилиндра призрак выбегает,  
 то тьма плащом меня пугает,  
 то словно тянется рука  
 в перчатке черной... Мимо, мимо...  
 И все луною одержимо,  
 все исковеркано кругом...  
 И вот стремительным прыжком  
 окончил я побег бесславный,  
 во двор коллегии пролез,  
 куда не вхож ни ангел плавный,  
 ни изворотливейший бес.

Я запыхался... Сердце бьется...  
 и ночь томит, лениво льется...  
 И в холодок моих простынь  
 вступаю только в час рассвета,  
 и ты мне снишься, Виолета,  
 что просишь будто: «Плащ накинь...  
 не тот, не тот... он слишком узкий...»  
 Мне снится, что с тобой по-русски  
 мы говорим, и я во сне  
 с тобой на «ты»,— и снится мне,  
 что будто принесла ты щепки,  
 ломаешь их, в камин кладешь...  
 Ползи, ползи, огонь нецепкий,—  
 ужели дымом изойдешь?

Я поздно встал, проспал занятия...  
 Старушка чистила мне платье:

под щеткой — пуговицы стук.  
Оделся, покурил немного,  
зевая, в клуб Единорога  
пошел позавтракать,— и вдруг  
встречаю Джонсона у входа!  
Мы не видались с ним полгода —  
с тех пор, как он экзамен сдал.  
«С приездом, вот не ожидал!»  
«Я ненадолго, до субботы,  
мне нужно только разный хлам —  
мои последние работы —  
представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски  
и разговор о том, что русский  
прожить не может без икры;  
потом — изгиб форели синей  
и разговор о том, кто ныне  
стал мастер теннисной игры;  
за этим — спор довольно скучный  
о стачке и пирог воздушный.  
Когда же, мигом разыграв  
бутылку дружеского Грав,  
за обольстительное Асти  
мы деловито принялись,—  
о пустоте сердечной страсти  
пустые толки начались.

52

«Любовь...— и он вздохнул протяжно: —  
Да, я любил... Кого — не важно;  
но только минула весна,  
я замечаю,— плохо дело;  
воображенье охладело,  
мне опостылела она».

Со мной он чокнулся уныло  
и продолжал: «Ужасно было...  
Вы к ней нагнетесь, например,  
и глаз, как, скажем, Гулливер,  
гуляющий по великанше,  
увидит борозды, бугры  
на том, что нравилось вам раньше,  
что отвращает с той поры...»

53

Он замолчал. Мы вышли вместе  
из клуба. Говоря по чести,  
я был чуть с мухой, и домой  
хотелось. Солнце жгло. Сверкали  
деревья. Молча мы шагали, —  
как вдруг угрюмый спутник мой —  
на улице Святого Духа —  
мне локоть сжал и молвил сухо:  
«Я вам рассказывал сейчас... —  
Смотрите, вот она как раз...»  
И шла навстречу Виолета,  
великолепна, весела,  
в потоке солнечного света,  
и улыбнулась, и прошла.

54

В каком-то раздраженье тайном  
с моим приятелем случайным  
я распрощался. Хмель пропал.  
Так: поваландался, и баста!  
Я стал работать, — как не часто  
работал, днями утопал,  
ероша волосы, в науке,  
и с Виолетою разлуки  
не замечал; и, наконец,  
(как напрягается гребец

у приближающейся цели),  
уже я ночи напролет  
зубрил учебники в постели,  
к вискам прикладывая лед.

55

И началось. Экзамен длился  
пять жарких дней. Так накалился  
от солнца тягостного зал,  
что даже обморока случай  
произошел, и вид падучей  
сосед мой справа показал  
во избежание провала.  
И кончилось. Поцеловала  
счастливец Альма Матер в лоб,  
убрал я книги, микроскоп,—  
и вспомнил вдруг о Виолете,  
и удивился я тогда:  
как бы таинственных столетий  
нас разделила череда.

56

И я уже шатун свободный,  
душою легкой и голодной  
в другие улетал края,—  
в знакомый порт, и там в конторе  
вербует равнодушно море  
простых бродяг, таких, как я.  
Уже я прожил все богатства:  
портрет известного аббатства  
всего в двух копиях упас.  
И в ночь последнюю — у нас  
был на газоне, посредине  
венцианского двора,  
обычный бал, и в серпантине  
мы проскользили до утра.

Двор окружает галерея.  
 Во мраке синем розовея,  
 горят гирлянды фонарей —  
 Эола легкие качели.  
 Вот музыканты загремели —  
 пять черных яростных теней  
 в румяной раковине света.  
 Однако где же Виолета?  
 Вдруг вижу: вот стоит она,  
 вся фонарем озарена,  
 меж двух колонн, как на подмостках.  
 И что-то подошло к концу...  
 Ей это платье в черных блестках,  
 быть может, не было к лицу.

Прикосновеньем не волнуем,  
 я к ней прильнул, и вот танцуем:  
 она безмолвна и строга,  
 лицом сверкает недвижимым,  
 и поддается под нажимом  
 ноги упругая нога.  
 Послушны грохоту и стону,  
 ступают пары по газону,  
 и серпантин со всех сторон.  
 То плачет в голос саксофон,  
 то молоточки и трещотки,  
 то восклицание цимбал,  
 то длинный шаг, то шаг короткий,—  
 и ночь любуется на бал.

Живой душой не правит мода,  
 но иногда моя свобода  
 случайно с нею совпадет:  
 мне мил фокстрот, простой и нежный...  
 Иной мыслитель неизбежно  
 симптомы века в нем найдет,—

разврат под музыку бедлама;  
иная пишущая дама  
или копеечный пиит  
о прежних танцах возопит;  
но для меня, скажу открыто,  
особой прелести в том нет,  
что грубоватый и немый  
маркиз танцует менуэт.

60

Оркестр умолк. Под колоннаду  
мы с ней прошли, и лимонаду  
она глотнула, лепеча.  
Потом мы сели на ступени.  
Смотрю: смешные наши тени  
плечом касаются плеча.  
«Я завтра еду, Виолета».  
И было выговорить это  
так просто... Бровь подняв, она  
мне улыбнулась, и ясна  
была улыбка: «После бала  
легко все поезда проспять».  
И снова музыка стонала,  
и танцевали мы опять.

61

Прервись, прервись, мой бал прощальный!  
Пока роняет ветер бальный  
цветные ленты на газон  
и апельсиновые корки,—  
должно быть, где-нибудь в каморке  
старушка спит, и мирен сон.  
К ней пятна лунные прильнули;  
чернеет платьице на стуле,  
чернеет шляпка на крюке,  
будильник с искрой в куполке  
прилежно тикает, под шкапом  
мышь пошуршит и шуркнет прочь,  
и в тишине смиренным храпом  
исходит нищенская ночь.

Моя старушка в полдень ровно  
 меня проводит. Я любовно  
 ракету в раму завинтил,  
 нажал на чемодан коленом,  
 захлопнул. По углам, по стенам  
 душой и взглядом побродил:  
 да, взято все... Прощай, берлога!  
 Стоит старушка у порога...  
 Мотора громовая дрожь,—  
 колеса тронулись... Ну что ж,  
 еще один уехал... Свежий  
 сюда вселится в октябре,—  
 и разговоры будут те же  
 и тот же мусор на ковре...

И это все. Довольно, звуки,  
 довольно, муза. До разлуки  
 прошу я только вот о чем:  
 летя, как ласточка, то ниже,  
 то в вышине, найди, найди же  
 простое слово в мире сем,  
 всегда понять тебя готовом;  
 и да не будет этим словом  
 ни моль бичуема, ни ржа,  
 мгновеньем всяким дорожа,  
 благослови его движенье,  
 ему застыть не повели,  
 почувствуй нежное вращенье  
 чуть накренившейся земли.

<1927>

# СМЕРТЬ

Драма в двух действиях

*Действие происходит в университетском городке Кембридже, весной 1806 г.*

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната. В кресле, у огня — Г о н в и л, магистр наук.

Г о н в и л

...И эту власть над разумом чужим  
сравню с моей наукою: отраднo  
заране знать, какую смесь получишь,  
когда в стекле над пламенем лазурным  
медлительно сливаются две соли,  
туманную окрашивая колбу.  
Отраднo знать, что сложная медуза,  
в шар костяной включенная, рождает  
сны гения, бессмертные молитвы,  
вселенную...

Я вижу мозг его,  
как будто сам чернилами цветными  
нарисовал — и все же есть одна  
извилина... Давно я бьюсь над нею,—  
не выследить... И только вот теперь,  
теперь,— когда узнает он внезапно —  
А! в дверь стучат... Тяжелое кольцо  
бьет в медный гриб наружный: стук знакомый,  
стук беспокойный...

Открывает; вбегает Э д м о н д, молодой студент.

Э д м о н д

Гонвил! Это правда?..

Г о н в и л

Да... Умерла...

Э д м о н д

Но как же... Гонвил!..

Г о н в и л

Да...

Не ожидали... Двадцать лет сжималось  
и разжималось сердце, кровь живую  
закачивая в жилы и обратно  
вбирая... Вдруг — остановилось...

Э д м о н д

Страшно

ты говоришь об этом... Друг мой... Помнишь?..  
Она была так молода!..

Г о н в и л

Читала

вот эту книжку, выронила...

Э д м о н д

Жизнь —

безумный всадник. Смерть — обрыв неожиданный,  
немыслимый. Когда сказали мне —  
так, сразу — я не мог поверить. Где же  
она лежит? Позволь мне...

Г о н в и л

Унесли...

Э д м о н д

Как странно... Ты не понимаешь, Гонвил:  
она всегда ходила в темном... Стелла —  
мерцающее имя в темном вихре.  
И унесли... Ведь это странно,— правда?..

Г о н в и л

Садись, Эдмонд. Мне сладко, что чужая  
печаль в тебе находит струны... Впрочем,  
с моей женой ты, кажется, был дружен?

Э д м о н д

Как ты спокоен, Гонвил, как спокоен!..  
Как утешать тебя? Ты — словно мрамор:  
торжественное белое страданье...

Г о н в и л

Ты прав — не утешай. Поговорим  
о чем-нибудь простом, земном. Неделю  
ведь мы с тобой не виделись. Что делал?  
О чем раздумывал?

Э д м о н д

О смерти.

Г о н в и л

Полно!

Ведь мы о ней беседовали часто.  
Нет — будем жить. В темницу заключенный  
за полчаса до казни, паука  
рассматривает беззаботно. Образ  
ученого пред миром.

Э д м о н д

Как ты спокоен, Гонвил. Говорил ты,  
что наша смерть —

Г о н в и л

— быть может, удивленье,  
быть может — ничего. Склоняюсь, впрочем,  
к последнему, но есть одно: крепка  
земная мысль: прервать ее стремленье  
не так легко...

## Э д м о н д

Вот видишь ли,— я мучусь...  
Мне кажется порой: душа — в плену —  
рыдающая буря в лабиринте  
гудящих жил, костей и перепонок.  
Я жить боюсь. Боюсь я ощущать  
под пальцами толчки тугие сердца,  
здесь — за ребром, и здесь, на кисти,— отзвук.  
И видеть, мыслить я боюсь — опоры  
нет у меня,— зацепки нет. Когда-то  
я тихо верил в облачного старца,  
сидящего средь призраков благих.  
Потом в опустошительные книги  
качнулся я. Есть книги как пожары...  
Сгорело все. Я был один. Тянуло  
пустынной гарью сумрачных сомнений,—  
и вот, в дыму, ты, Гонвил, появился —  
большеголовый, тяжкий, напряженный,  
в пронзительно сверкающих очках,  
с распоротой жабой на ладони...  
Ты щипчиками вытащил за узел  
мои слепые слипшиеся мысли,  
распутал их — и страшной простотой  
мои сомненья заменил... Наука  
сказала мне: «Вот — мир» — и я увидел  
ком земляной в пространстве непостижном —  
червивый ком, вращеньем округленный,  
тут плесенью, там инеем покрытый...  
И стала жизнь от этой простоты  
еще сложнее. По ледяной громаде  
я заскользил. Догадки мировые —  
все, древние и новые,— о цели,  
о смысле сущего — все, все исчезли  
пред выводом твоим неуязвимым:  
ни цели нет, ни смысла; а меж тем  
я втайне знал, что есть они!.. Полгода  
так мучусь я. Бывают, правда, утра  
прозрачные, восторженно-земные,  
когда душа моя — подкидыш хилый —  
от солнца розовеет и смеется  
и матери неведомой прощает...  
Но, с темнотой, чудовищный недуг  
меня опять охватывает, душит:

среди ужаса и гула звездной ночи  
теряюсь я; и страшно мне не только  
мое непониманье,— страшен голос,  
мне шепчущий, что вот еще усилье —  
и все пойму я... Гонвил, ты любил  
свою жену?..

Г о н в и л

Незвучною любовью,  
мой друг,— незвучной, но глубокой... Что ж  
меня ты спрашиваешь?

Э д м о н д

Так... Не знаю...  
Прости меня... Не надо ведь о мертвых  
упоминать... О чем мы говорили?  
Да — о моем недуге: я боюсь  
существовать... Недуг необычайный,  
мучительный,— и признаки его  
озноб, тоска и головокруженье.  
Приводит он к безумию. Лекарство,  
однако, есть. Совсем простое. Гонвил,  
решил я умереть.

Г о н в и л

Похвально. Как же  
ты умереть желаешь?

Э д м о н д

Дай мне яду.

Г о н в и л

Ты шутишь?

Э д м о н д

Там, вон там, в стене, на полке,  
за черной занавеской,— знаю, знаю,—  
стоят, блестят наполненные склянки,  
как разноцветные оконца — в вечность...

Гонвил

...Иль в пустоту. Но стой, Эдмонд, послушай,—  
кого-нибудь ведь любишь ты на свете?  
Иль, может быть, любовью ты обманут?

Эдмонд

Ах, Гонвил, знаешь сам!.. Друзья мои  
дивятся все и надо мной смеются,  
как, может быть, цветущие каштаны  
над траурным смеются кипарисом.

Гонвил

Но в будущем... Как знать? На перекрестке...  
нечаянно... Есть у тебя приятель —  
поэт: пусть скажет он тебе, как сладко  
над женщиной задумчивой склоняться,  
мечтать, лежать с ней рядом,— где-нибудь  
в Венеции, когда в ночное небо  
скользит канал серебряною рябью  
и, осторожно, черный гриф гондолы  
проходит по лицу луны...

Эдмонд

Да, правда,  
в Италии бывал ты и оттуда  
привез —

Гонвил

жену...

Эдмонд

Нет,— сказочные смерти,  
играющие в полых самоцветах...  
Я, Гонвил, жду... Но что же ты так смотришь,  
гигантский лоб наморщив? Гонвил, жду я,  
ответь же мне! Скорее!

Г о н в и л

Вот беспечный!  
Ведь до того, как друга отравлять,  
мне нужно взвесить кое-что, не правда ль?

Э д м о н д

Но мы ведь выше дружбы — и одно  
с тобою чтим: стремленье голой мысли...  
А! Просветлел... Ну, что же?

Г о н в и л

Хорошо,  
согласен я, согласен... Но поставлю  
условие: ты должен будешь выпить  
вот здесь, при мне. Хочу я росчерк смерти  
заметить на твоём лице. Сам знаешь,  
каков твой друг: он, как пытливый Плиний,  
смотреть бы мог в разорванную язву  
Везувия, пока бы, вытекая,  
гной огненный шипел и наступал...

Э д м о н д

Изволь... Но только...

Г о н в и л

Или ты боишься,  
что свяжут смерть твою со смертью... Стеллы?

Э д м о н д

Нет, — о тебе я думал. Вот что! Дай мне  
чернил, бумаги. Проще будет.

*(Пишет.)*

Слышишь,  
перо скрипит, как будто по листу  
гуляет смерть костлявая...

Г о н в и л

Однако!

Ты весел...

Э д м о н д

Да... Ведь я свою свободу  
подписываю... Вот... Я кончил, Гонвил,  
прочти.

Г о н в и л

(читает про себя)

«Я умираю — яд — сам взял —  
сам выпил»... Так.

Э д м о н д

Теперь давай, готов я...

Г о н в и л

Не вправе я удерживать тебя.  
Вот — пузырек. Он налит зноем сизым,  
как утро флорентийское... Тут старый  
и верный яд. В четырнадцатом веке  
его совали герцогам горячим  
и пухлым старцам в бархате лиловом.  
Ложись сюда. Так. Вытянись. Он сладок  
и действует мгновенно, как любовь.

Э д м о н д

Спасибо, друг мой... Жил я тихо, просто,  
и вот не вынес страха бытия...  
Спасаясь я в неведомую область.  
Давай же мне, скорей...

Г о н в и л

Эдмонд, послушай,  
быть может, есть какая-нибудь тайна,  
которую желал бы ты до смерти...

Э д м о н д

Я тороплюсь... Не мучь меня...

Г о н в и л

Так пей же!

Э д м о н д

Прощай. Потом — плащом меня накроешь.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната. Прошло всего несколько мгновений.

Э д м о н д

Смерть... Это — смерть. Вот это — смерть...

*(Медленно привстает.)*

В тумане

дрожит пятно румяное... Иначе  
быть не могло... О чем же я при жизни  
тревожился? Пятно теперь яснее.  
Ах! Это ведь пылающий провал  
камина... Да,— и отблески летают.  
А там, в углу — в громадном смутном кресле —  
кто там сидит, чуть тронутый мерцаньем?  
Тяжелый очерк выпуклого лба,  
торчащая щетина брови, узел  
змеиных жил на каменном виске...  
Да полно! Узнаю! Ведь это...

Человек в кресле

Эхо

твоих предсмертных мыслей...

Э д м о н д

Гонвил, Гонвил,  
но как же так? Как можешь ты быть здесь,  
со мною, в смерти? Как же так?..

Г о н в и л

Мой образ

продлен твоею памятью за грань  
земного. Вот и все.

Э д м о н д

Но как же, Гонвил:  
вот комната... Все знаю в ней... Вон — череп  
на фолианте, вон — змея в спирту,  
вон — скараabei в ящике стеклянном,  
вон — брызги звезд в окне, а за окном,—  
чу! слышишь,— бьют над городом зубчатым  
далекие и близкие куранты,  
скликаются — и падают на дно  
зеркальное червонец за червонцем...  
Знакомый звон... И сам я прежний, прежний,—  
порою только странные туманы  
проходят пред глазами... Но я вижу  
свои худые руки, плащ и сборки  
на нем, и даже, вот,— дыру: в калитку  
я проходил,— плащом задел цветок  
чугунный на стебле решетки... Странно,—  
все то же, то же...

Г о н в и л

Мнимое стремление,  
Эдмонд... Колеблющийся отзвук...

Э д м о н д

Так!

Я начинаю понимать... Постой же,  
постой, я сам...

Г о н в и л

Жизнь — это всадник. Мчится.  
Привык он к скорости свистящей. Вдруг  
дорога обрывается. Он с края  
проскакивает в пустоту. Ты слушай,  
внимательно ты слушай! Он — в пространстве,

над пропастью, но нет еще паденья,  
нет пропасти! Еще стремленье длится,  
несет его, обманывает, ноги  
еще в тугие давят стремяна,  
глаза перед собою видят небо  
знакомое. Хоть он один в пространстве,  
хоть срезан путь... Вот этот миг,— пойми,  
вот этот миг. Он следует за гранью  
конечного земного бытия:  
скакала жизнь, в лицо хлестала грива,  
дул ветер в душу — но дорога в бездну  
оборвалась, и чем богаче жизнь,  
чем конь сильнее —

#### Э д м о н д

— тем явственней, тем дольше  
свист в пустоте, свист и размах стремленье,  
не прерванного роковым обрывом,—  
да, понял я... Но пропасть, как же пропасть?

#### Г о н в и л

Паденье неизбежно. Ты внезапно  
почувствуешь под сердцем пустоту  
сосущую, и, завертевшись, рухнет  
твой мнимый мир. Успей же насладиться  
тем, что унес с собою за черту.  
Все, что знавал, что помнишь из земного —  
вокруг тебя и движется земными  
законами, знакомыми тебе.  
Ведь ты слышал, что раненый, очнувшись,  
оторванную руку ощущает  
и пальцами незримиыми шевелит?  
Так мысль твоя еще живет, стремится,  
хоть ты и мертв: лежишь, плащом покрытый,  
сюда вошли, толпятся и вздыхают  
и мертвецу подвязывают челюсть...  
А может быть, и больший срок прошел:  
ведь ты теперь вне времени... Быть может,  
на кладбище твой Гонвил смотрит молча  
на плоский камень с именем твоим.  
Ты там, под ним, в земле живой и сочной,  
уста гниют, и лопаются мышцы,

и в трещинах, в глубокой черной слизи  
шуршат, кишат белесые личинки...  
Не все ль равно? Твое воображенье,  
поддержанное памятью, привычкой,  
еще творит. Цени же этот миг,  
благодари стремительность разбега...

Э д м о н д

Да, мне легко... Покойно мне. Теперь  
хоть что-нибудь я знаю точно,— знаю,  
что нет меня. Скажи, мое виденье,  
а если я из комнаты твоей —  
стой! Сам скажу: куранты мне напели;  
все будет то же — встречу я людей,  
запомнившихся мне. Увижу те же  
кирпичные домишки, переулки,  
на площади — субботние лотки  
и циферблат на ратуше. Узнаю  
лепные, величавые ворота,  
в просвете — двор широкий, разделенный  
квадратами газона, посередке  
фонтан журчащий в каменной оправе  
и на стенах пергаментных кругом  
узорный плющ, а дальше — снова арка,  
и в небе стрелы серого собора,  
и крокусы вдоль ильмовых аллей,  
и выпуклые мостики над узкой  
земной речонкой,— все узнаю,—  
а на местах, мной виденных не часто  
иль вовсе не замеченных — туманы,  
пробелы будут, как на старых картах,  
где там и сям стоит пометка: *Terra  
incognita*<sup>1</sup>. Скажи мне, а умерших  
могу я видеть?

Г о н в и л

Нет. Ты только можешь  
соображать, сопоставлять явленья  
обычные, понятные, земные,—  
ведь призраков ты не встречал при жизни...  
Скажи, кого ты вызвать захотел?

<sup>1</sup> Неизвестная земля (лат.).

Э д м о н д

Не знаю...

Г о н в и л

Нет, подумай...

Э д м о н д

Гонвил, Гонвил,  
я что-то вспоминаю... что-то было  
мучительное, смутное... Постой же,  
начну я осторожно, потихоньку,—  
я дома был, друзья ко мне явились,  
к дубовому струился потолок  
из трубок дым, вращающийся плавно.  
Все мелочи мне помнятся: вино  
испанское тепло и мутно рдело.  
Постой... Один описывал со вкусом,  
как давеча он ловко ударял  
ладонью мяч о каменные стенки,  
другой втыкал сухие замечанья  
о книгах, им прочитанных, о цифрах  
заученных, но желчно замолчал,  
когда вошел мой третий гость,— красавец  
хромой, ведя ручного медвежонка  
московского, и цепью зверь ни разу  
не громыхнул, пока его хозяин,  
на стол поставив локти и к прозрачным  
вискам прижав манжеты кружевные,  
выплакивал стихи о кипарисах.  
Постой... Что было после? Да, вбежал  
еще один — толстяк в веснушках рыжих —  
и сообщил мне на ухо с ужимкой  
таинственной... Да, вспомнил все! Я несся,  
как тень, как сон, по переулкам лунным  
сюда, к тебе... Исчезла... Как же так?..  
...она всегда ходила в темном, Стелла...  
мерцающее имя в темном вихре,  
души моей бессонница...

Г о н в и л

Друг друга  
любили вы?..

Э д м о н д

Не знаю, было ль это  
любовью или бурей шумных крыльев...  
Я звездное безумие свое,  
как страшного, пронзительного бога  
от иноверцев, от тебя — скрывал.  
Когда порой в тиши амфитеатра  
ты взмахивал крылатым рукавом,  
чертя скелет на грифеле скрипучем,  
и я глядел на голову твою,  
тяжелую, огромную, как ноша  
Атланта,— странно было думать мне,  
что ты мою бушующую тайну  
не можешь знать... Я умер — и с собою  
унес ее. Ты так и не узнал...

Г о н в и л

Как началось?

Э д м о н д

Не знаю. Каждый вечер  
я приходил к тебе. Курил и слушал  
и ждал, томясь,— и Стелла проплывала  
по комнате и снова возвращалась  
к себе наверх по лестнице витой,  
а изредка садилась в угол с книгой,  
и призрачная пристальность была  
в ее молчанье. Ты же, у камина  
проникновенно пальцами хрустя,  
доказывал мне что-нибудь,— *Systema  
naturae*<sup>1</sup> сухо осуждал... Я слушал.  
Она в углу читала, и когда  
страницу поворачивала, в сердце  
моем взлетала молния... А после,

---

<sup>1</sup> «Система природы» (лат.).

придя домой,— пред зеркалом туманным  
я длительно глядел себе в глаза,  
отыскивал запечатленный образ...  
Затем свечу, шатаясь, задувал,  
и до утра мерещилось мне в бурях  
серебряных и черных сновидений  
ее лицо склоненное, и веки  
тяжелые, и волосы ее  
глубокие и гладкие, как тени  
в ночь лунную; пробор их разделял,  
как бледный луч, и брови вверх стремились  
к двум облачкам, скрывающим виски...  
Ты, Гонвил, управлял моею мыслью  
отчетливо и холодно. Она же  
мне душу захлестнула длинным светом  
и ужасом невыносимым... Скажи мне,  
смотрел ли ты порою, долго, долго,  
на небеса полночные? Не правда ль,  
нет ничего страшнее звезд?

Г о н в и л

Возможно,  
но продолжай. О чем вы говорили?

Э д м о н д

Мы говорили мало... Я боялся  
с ней говорить. Был у нее певучий  
и странный голос. Английские звуки  
в ее устах ослабевали зыбко.  
Слова слепые плыли между нами,  
как корабли в тумане... И тревога  
во мне росла. Душа моя томилась:  
там бездны раскрывались, как глаза...  
Невыносимо сладостно и страшно  
мне было с ней, и Стелла это знала.  
Как объясню мой ужас и виденья?  
Я слышал гул бесчисленных миров  
в ее случайных шелестах. Я чуял  
в ее словах дыханье смутных тайн,  
и крики, и заломленные руки  
неведомых богов! Да, шумно, шумно  
здесь было, Гонвил, в комнате твоей,

хоть ты и слышал, как скребется мышь за шкафом и как маятник блестящий мгновенья костит. Знаешь ли, когда я выходил отсюда, ощущал я внезапное пустынное молчанье, как после оглушительного вихря!..

#### Г о н в и л

Поторопи свое воспоминанье, Эдмонд. Кто знает, может быть, сейчас стремленье жизни мнимое прервется,— исчезнешь ты и я — твой сон — с тобою. Поторопись. Случайное откинь, сладчайшее припомни. Как признался? Чем кончилось признание?

#### Э д м о н д

Это было здесь, у окна. Мне помнится, ты вышел из комнаты. Я раму расшатал, и стекла в ночь со вздохом повернули. Все небо было звездами омыто, и в каменном туманном переулке, рыдая, поднималась тишина. И в медленном томленьи я почувал, что кто-то встал за мною. Наполнялась душа волнами шума, голосами растущими. Я обернулся. Близко стояла Стелла. Дико и воздушно ее глаза в мои глядели,— нет, не ведаю,— глаза ли это были иль вечность обнаженная... Окно за нами стукнуло, как бы от ветра... Казалось мне, что, стоя друг пред другом, громадные расправили мы крылья, и вот концы серпчатых крыльев наших — пылающие длинные концы — сошлись на миг... Ты понимаешь, сразу отхлынул мир, мы поднялись, дышали в невероятном небе, но внезапно она одним движеньем темных век пресекла наш полет,— прошла. Открылась

дверь дальняя, мгновенным светом брызнув,  
закрылась... И стоял я весь в дрожанье  
разорванного неба, весь звенящий.  
Звенящий...

Г о н в и л

Так ли? Это все, что было,  
один лишь взгляд?

Э д м о н д

Когда бы он продлился,  
душа бы задохнулась. Да, мой друг,  
один лишь взгляд. С тех пор мы не видались.  
Ты помнишь ведь — я выбежал из дома,  
ты из окна мне что-то крикнул вслед.  
До полночи по городу я бредил,  
со звездами нагими говорил...  
Все отошло. Не выдержал я жизни,  
и вот теперь —

Г о н в и л

Довольно!

Э д м о н д

— я за гранью  
теперь,— и все, что вижу,—

Г о н в и л

Я сказал:  
довольно!

Э д м о н д

Гонвил, что с тобой?..

Г о н в и л

Я долго  
тебя морочил — вот и надоело...  
Да, впрочем, ты с ума сошел бы, если  
я продолжал бы так шутить... Не яду

ты выпил — это был раствор безвредный:  
он, правда, вызывает слабость, смутность,  
колеблет он чувствительные нити,  
из мозга исходящие к глазам,—  
но он безвреден... Вижу, ты смеешься?  
Ну что ж, я рад, что опыт мой тебе  
понравился...

Э д м о н д

Ах, милый Гонвил, как же  
мне не смеяться? Посуди! Ведь это  
я сам сейчас придумываю, сам!  
Играет мысль моя и ткет свободно  
цветной узор из жизненных явлений,  
из случаев неожиданных — но возможных,  
возможных, Гонвил!

Г о н в и л

Это бред... Очнись!  
Не думал я... Как женщина, поддался...  
Поверь — ты так же жив, как я, и вдвое  
живучей...

Э д м о н д

Так! Не может быть иначе!  
В смёрть пролетя, моя живая мысль  
себе найти старается опору —  
земное объясненье... Дальше, дальше,  
я слушаю...

Г о н в и л

Очнись! Мне нужно было,  
чтоб спотыкнулся ты, весь ум, всю волю  
я приложил... Сперва не удавалось,—  
уж мыслил я: «В Милане мой учитель  
выкалывал глаза летучей мыши —  
затем пускал — и все же при полете  
она не задевала тонких нитей,  
протянутых через комнату: быть может,  
и он мой минует нити». Нет!  
Попался ты, запутался!..

## Э д м о н д

Я знак,  
я знаю все, что скажешь! Оправдать,  
унизить чудо — мысль моя решила.  
Но подожди... в чем цель была обмана?  
А, понял! Испытующая ревность  
таилась под личиной ледяной...  
Нет, погляди, как выдумка искусна!  
Напиток тот был ядом в самом деле,  
и я в гробу, и все кругом — виденье,  
но мысль моя лепечет, убеждает,  
нет, нет,— раствор безвредный! Он был нужен,  
чтоб тайну ты свою открыл. Ты жив,  
и яд — обман, и смерть — обман, и даже —

## Г о н в и л

А если я тебе скажу, что Стелла  
не умерла?

## Э д м о н д

Да! Вот она — ступень  
начальная... Ударом лжи холодной  
ты вырвать мнил всю правду о любви.  
Подослан был тот рыжий, твой приятель,  
ты мне внушил — сперва чужую смерть,  
потом — мою, чтоб я проговорился.  
Так,— кончено: подробно восстановлен  
из сложных вероятностей, из хитрых  
догадок, из обратных допущений  
знакомый мир... Довольно, не трудись,  
ведь все равно ты доказать не можешь,  
что я не мертв и что мой собеседник  
не призрак. Знай — пока в пустом пространстве  
еще стремится всадник, вызываю  
возможные виденья. На могилу  
слетает цвет с тенистого каштана.  
Под муравой лежу я, ребра вздув,  
но мысль моя, мой яркий сон загробный  
еще живет, и дышит, и творит.  
Постой, куда же ты?

Г о н в и л

А вот сейчас

увидишь...

*(Открывает дверь на лестницу и зовет.)*

Стелла!..

Э д м о н д

Нет... не надо... слушай...

мне почему-то... страшно... Не зови!

Не смей! Я не хочу!

Г о н в и л

Пусти, рукав

порвешь... Вот сумасшедший, право...

*(Зовет.)*

Стелла!..

А, слышишь: вниз по лестнице легко шуршит, спешит...

Э д м о н д

Дверь, дверь закрой! Прошу я!

Ах, не впускай. Дай продумать... Страшно...

Повремени, не прерывай полета,—

ведь это есть конец... паденье—...

Г о н в и л

Стелла!

Иди же...

*ЗАНАВЕС*

6—17 марта 1923

## ПЕРЕВОДЫ

## ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

### СОНЕТ 17

Сонет мой за обман века бы осудили,  
когда б он показал твой образ неземной,—  
но в песне, знает Бог, ты скрыта, как в могиле,  
и жизнь твоих очей не выявлена мной.

Затем ли волшебство мной было бы воспето  
и чистое число всех прелестей твоих,—  
чтоб молвили века: «Не слушайте поэта;  
божественности сей нет в обликах мирских»?

Так высмеют мой труд, поблекнувший и сирый,  
так рассказы смешны речистых стариков,—  
и правду о тебе сочтут за прихоть лиры,  
за древний образец напыщенных стихов...

Но если бы нашлось дитя твое на свете,  
жила бы ты вдвойне,— в потомке и в сонете.

### СОНЕТ 27

Спешу я, утомясь, к целительной постели,  
где плоти суждено от странствий отдохнуть,—  
но только все труды от тела отлетели,  
пускается мой ум в паломнический путь.

Потоки дум моих, отсюда, издалика,  
настойчиво к твоим стремятся чудесам,—  
и держат, и влекут измученное око,  
открытое во тьму, знакомую слепцам.

Зато моей души таинственное зреньё  
торопится помочь полночной слепоте:  
окрашивая ночь, твое отображенье  
дрожит, как самоцвет, в могильной темноте.

Так, ни тебе, ни мне покоя не давая,  
днем тело трудится, а ночью мысль живая.

## ДВА ОТРЫВКА ИЗ «ГАМЛЕТА»

### 1

(Из сцены 7 действия 4)

#### К о р о л е в а

Одна беда на пятки наступает  
другой — в поспешной смене: утонула  
твоя сестра, Лаэрт.

#### Л а э р т

Сестра! О, где?

#### К о р о л е в а

Есть ива у ручья; к той бледной иве,  
склонившейся над ясною водой,  
она пришла с гирляндами ромашек,  
крапивы, лютиков, лиловой змейки,  
зовущейся у вольных пастухов  
иначе и грубее, а у наших  
холодных дев — перстами мертвых. Там  
она взбиралась, вешая на ветви  
свои венки, завистливый сучок  
сломался, и она с цветами вместе  
упала в плачущий ручей. Одежды  
раскинулись широко и сначала  
ее несли на влаге, как русалку.  
Она обрывки старых песен пела,  
как бы не чуя гибели — в привычной  
родной среде. Так длиться не могло.  
Тяжелый груз напившихся покровов  
несчастную увлек от сладких звуков  
на илистое дно, где смерть.

(Из сцены 1 действия 5)

Л а э р т

*(прыгает в могилу,  
вырытую для Офелии)*

...Теперь заройте с мертвого живого,  
сыпучий прах нагромоздите выше  
седого Пелиона и главы  
Олимпа синего.

Г а м л е т

*(подходя)*

Кто сей, чье горе  
так выпренне? Чья печаль  
блуждающие звезды заклиняет  
и слушателей делает из них,  
пронзенных изумленьем? Я — Гамлет,  
принц Датский.

*(Прыгает в могилу.)*

Л а э р т

К дьяволу пускай пойдет  
твоя душа!

*(Схватывается с ним.)*

Г а м л е т

Дурна твоя молитва.  
Сними ты пальцы с горла моего,  
прошу тебя, хоть вовсе я не вспылчив,  
но что-то есть опасное во мне,—  
ты будь благоразумнее. Прочь руку!

К о р о л ь

Растащите их!

К о р о л е в а

Гамлет! Гамлет!

В с е  
Мы просим вас...

Г о р а ц и о  
Мой принц, мой друг, не надо!  
Их разъединяют, и они выходят из могилы.

Г а м л е т  
Я с ним готов на эту тему спорить,  
покамест у меня моргают веки.

К о р о л е в а  
О чем, мой сын, о чем ты?

Г а м л е т  
Я любил  
Офелию, и сорок тысяч братьев,  
свою любовь слагая, мой итог  
набрать бы не могли. Что для нее  
ты сделаешь?

К о р о л ь  
Лаэрт, ведь он безумен.

К о р о л е в а  
Молю, будь терпелив...

Г а м л е т  
Что можешь ты?  
Рыдать? Терзать себя? Поститься? Драться?  
Испить отравы? Крокодила съесть?  
Все сделаю. Зачем пришел? Чтоб выть?  
Чтоб посрамить меня прыжком в могилу?  
Ложись в могилу к ней,— я лягу тоже.  
Болтаешь о горах? Так пусть навалит  
на нас с тобой земли такую грудку,  
что темя опалит она о солнце

и Оссу обратит в волдырь. Как видишь,  
и я речист.

### К о р о л е в а

Все это лишь безумье.  
Так с ним бывает, на него находит,—  
а погода, смиреннее голубки,  
уж выведшей птенцов своих златых,  
он замолчит, потупясь.

### МОНОЛОГ ГАМЛЕТА

Быть иль не быть — вот в этом  
вопрос; что лучше для души — терпеть  
пращи и стрелы яростного рока  
или, на море бедствий ополчившись,  
покончить с ними? Умереть: уснуть,  
не более, и если сон кончает  
тоску души и тысячу тревог,  
нам свойственных, — такого завершения  
нельзя не жаждать. Умереть, уснуть;  
уснуть: быть может, сны увидеть; да,  
вот где затор, какие сновиденья  
нас посетят, когда освободимся  
от шелухи сует? Вот остановка.

Вот почему напасти так живучи;  
ведь кто бы снес бичи и глум времен,  
презренье гордых, притеснение сильных,  
любви напрасной боль, закона леность,  
и спесь властителей, и все, что терпит  
достойный человек от недостойных,  
когда б он мог кинжалом тонким сам  
покой добыть? Кто б стал под грузом жизни  
кряхтеть, потеть, — но страх, внушенный чем-то  
за смертью — неоткрытою страной,  
из чьих пределов путник ни один  
не возвращался, — он смущает волю  
и заставляет нас земные муки  
предпочитать другим, безвестным. Так

всех трусами нас делает сознание,  
на яркий цвет решимости природной  
ложится бледность немощная мысли,  
и важные, глубокие затеи  
меняют направленье и теряют  
названье действий. Но теперь — молчанье...  
Офелия...

В твоих молитвах, нимфа,  
ты помяни мои грехи.

## ПЬЕР РОНСАР

### СОНЕТ

Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам  
стихов моих дивясь и грезя у огня,  
вы скажете, лицо над пряжею склоня:  
весна моя была прославлена Ронсаром,—

при имени моем, служанка в доме старом,  
уже дремотою работу заменя,—  
очнется, услышав, что знали вы меня,  
вы,— озаренная моим бессмертным даром.

Я буду под землей, и, призрак без костей,  
покой я обрету средь миртовых теней.  
Вы будете, в тиши, склоненная, седая,

жалеть мою любовь и гордый холод свой.  
Не ждите — от миртовых дней, цените день живой,  
спешите розы взять у жизненного мая.

## АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

### МАЙСКАЯ НОЧЬ.

#### Муза

Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай,  
шиповник ждет цветка из каждой почки узкой.  
В ночи грядет весна, он близок, знойный май,  
и вот уж до зари — воздушной трясогузкой  
зазеленевший куст разбужен невзначай.  
Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай.

#### Поэт

Как почернела ночь в долине!  
А мнилось — облик смутно-синий  
вот там струился через лес.  
Он облетел луга ночные;  
едва задел цветы сырые;  
неизъяснимы сны такие;  
и он погас, и он исчез.

#### Муза

Тронь лютню, о поэт, вуалью благовоной  
ночь зыблет на лугах эолову росу.  
И роза чистая закрылась непреклонно,  
замкнув и опьянив блестящую осу.  
Послушай: все молчит; возлюбленную вспомни.  
Сегодня, в темноте, под липами, укромней,  
зари прощальный луч нежнее там затих.  
Сегодня все цветет: вся ширь природы Божьей  
любовью полнится и шепотом, как ложе  
благоуханное супругов молодых.

#### Поэт

Как сердца трепетно биенье!  
Как слушаю свое смятенье,  
дыханье в страхе затая!  
Кто там стучит, войти желает?

Меня, как солнце, ослепляет  
свеча неяркая моя.  
Откуда страх и слабость эта?  
Кто там? Кто кличет? Нет ответа.  
Обман: то полночь била где-то;  
как я один! как беден я!

### Муза

Тронь лютню, о поэт, хмель юности небесной  
играет в эту ночь по жилам Божества.  
Тревожно я дышу, мне сладостно, мне тесно,  
мне ветер губы жжет, дышу, полужива.  
Ленивое дитя! Прекрасна я, смотри же.  
Наш первый поцелуй... О нет, не позабудь,  
как я пришла к тебе, крылом скользя все ближе,  
и, бледный, плачущий, ты пал ко мне на грудь.  
О, я спасла тебя! Ты умирал, я знаю,  
от горестной любви. Теперь тебя зову,  
надеждою томлюсь, без песен умираю.  
Спаси,— я до утра без них не доживу.

### Поэт

Так это ты, твое дыханье?  
Бедняжка муза, это ты?  
Бессмертие, благоуханье,  
одно мне верное созданье  
среди враждебной темноты!  
Друг белокурый, друг мой чистый,  
моя любовь, сестра моя!  
И в сердце мне, средь ночи мгливой,  
с твоей одежды золотистой  
скользит лучистая струя.

### Муза

Тронь лютню. Это я. Увидела я, милый,  
что ты один в ночи, унылый и немой.  
К тревожному гнезду я птицей быстроекрылой  
спустилась с облаков посетовать с тобой.  
Так ты страдаешь, друг? Какую-то случайность,  
какую-то любовь оплакиваешь ты;  
измучила тебя земная обычайность,—

ть наслаждения, подобие мечты.  
Так пой же! Внемлет Бог. Все песней будет взято,—  
минувшая печаль, сердечная утрата.  
Давай в безвестный мир, обнявшись, улетим.  
Разбудим наугад мы жизненное эхо.  
Коснемся славы мы, безумия и смеха.  
Забвения страну с тобою создадим.  
Сон выберем любой, лишь был бы он бесценен.  
Умчимся. Мы одни. Вселенная нас ждет.  
Италия смугла, и край Шотландский зелен,  
Эллада, мать моя, хранит сладчайший мед.  
Вот Аргос, Птелеон, как жертвенник огромный,  
и Месса дивная, отрада голубей;  
косматый Пелион, то солнечный, то темный,  
и — чище серебра и неба голубей —  
залив, где лебедь спит, один в зеркальном мире,  
и снится белый сон белеющей Камире.  
Поведай мне, над чем рыдания прольем?  
Какие вымыслы напевом раскачем?  
Сегодня, только свет в твои ударил вежды,  
не правда ль, серафим был над тобой склонен,  
сирени просыпал на легкие одежды  
и о любви шептал, которой грезил он?  
Надежда, счастье, грусть — какое скажем слово?  
Стальной ли батальон мы кровью заплеснем?  
Любовника ль взовьем на лестнице шелковой?  
Иль пену скакуна мы по ветру метнем?  
Поведаем ли, кто в обитель ночи синей  
приходит зажигать лампы без числа,  
чтоб теплилась любовь, чтоб жизнь была светла?  
Воскликнем ли: «Пора, вот сумрак, о Тарквиний!»?  
Сберем ли жемчуга, где океан глубокий?  
Пойдем ли коз пасти, где горько пахнет дрок?  
Укажем ли тоске небесные селенья?  
Возьмет ли нас ловец в скалистый горный край?  
Взирает на него, грустит душа оленья,  
жалея оленят и вересковый рай;  
но он вонзает нож и тот кусок добычи,  
то сердце теплое бросает жадным псам.  
Изобразим ли мы румяный жар девичий?  
В сопутствии пажы вошла она во храм  
и подле матери садится, но забыла  
молитвы, замерла, уста полуоткрыла  
и слушает, дрожа, как гулко меж колонн

проходит чей-то шаг и дерзкой шпоры звон.  
Прикажем ли взойти на башни боевые  
героям Франции, героям древних лет,  
чтоб песни воскресить пленительно-простые,  
что славе посвящал кочующий поэт?  
Ленивую ли мы элегию напишем?  
От Корсиканца ли про Ватерло услышим,  
и сколько ковыля людского он скосил,  
пока не налетел дух ночи безрассветной,  
не сбил его крылом на холмик неприметный  
и руки павшему на сердце не скрестил?  
К столбу ли громовой сатиры в назиданье  
прибьем продажное памфлетчика прозвание,  
который с голоду из темного угла  
выходит крадучись, от зависти трепещет,  
на веру гения беспомощно клеветает  
и к лаврам тянется венчанного чела?  
Тронь лютню! Лютню тронь! Молчать мне нестерпимо.  
Вздувают мне крыло весенние ветра.  
Сейчас я улечу, покину мир любимый.  
Дай мне одну слезу! Бог слушает, пора!

### П о э т

О, если, милая, тоскуя,  
ты просишь только поцелуя,  
одной слезы из глаз моих,  
я услужу тебе охотно;  
и о любви мимолетной  
ты вспомнишь в небесах родных.  
Я не пою ни упованья,  
ни славы, ни счастливых дней,  
ни даже верного страданья.  
Мои уста хранят молчанье,  
чтоб шепот сердца был слышной.

### М у з а

Не думаешь ли ты, что я, как ветер грубый,  
надгробных жажду слез осеннею порой,  
что горе кажется мне каплей дождевой?  
Поэт, ведь я сама тебя целую в губы.  
Те плевелы, что рву, придя на твой порог,  
то лень души твоей, а горем правит Бог.

Что ж, если молодость печалью обуяна?  
Пусть разгорается божественная рана,  
где чернй серафим к душе твоей приник.  
Чье горе велико, тот истинно велик.  
Но если ты познал страдание, не думай,  
что должен ты, поэт, немотствовать угрюмо.  
Чем горестней напев, тем сладостнее он.  
Есть песни вечные, — рыданий чистый звон.  
Как только пеликан спускается тяжелый,  
из странствий возвратясь, к туманным тростникам,  
голодные птенцы бегут на берег голый,  
узнав его вдали по плещущим крылам.  
Уже обильную добычу предвкушая,  
на радостях крича и клювами качая,  
зобастые птенцы торопятся к нему.  
Но он, на берегу, застыв на камне вышем,  
он покрывает их крылом своим повисшим,  
как горестный рыбак, глядит в ночную тьму.  
Сквозь жесткое перо сочится кровь из раны.  
Бесцельно было ночь пучинную пытаться:  
безжизненны пески, безрыбны океаны,  
и он своим птенцам лишь сердце может дать.  
На камень опустясь, угрюмый, неуклюжий,  
деля между детьми живую плоть свою же,  
всей силою любви боль заглушает он,  
и, глядя, как бежит горячий ток багряный,  
среди пира падает, шатается, как пьяный,  
блаженством, ужасом и нежностью пронзен.  
Но иногда среди высокой этой казни,  
наскуча смертию столь длительной, в боязни,  
что сытые птенцы его оставят жить,  
он поднимается, чтоб крылья распустить,  
и, яростно себя по сердцу ударяя,  
с такою дикою унылостью кричит,  
что в трепете со скал взмывает птичья стая,  
и путник, в поздний час по берегу блуждая,  
почуя смерть вблизи, молитву вслух твердит.  
Поэт, так делают великие поэты.  
На время любу им, чтоб веселился мир,  
но песнопенья их, парнасские банкеты,  
похожи иногда на пеликаний пир.  
Когда они твердят о ложном упованье,  
поют забвение, любовь или печаль,  
душа от песен их раскроется едва ль.

Как шпага быстрая, их звонкое взыванье  
кольцеобразное сияние чертит,  
но капля крови там дрожащая блестит.

### П о э т

О Муза, многого не требуй,  
о жадный призрак, полно звать!  
Когда клубятся вихри к небу,  
кто станет на песке писать!  
Как птица, молодость, бывало,  
у самых губ моих витала,  
запеть готова каждый миг.  
Но столько выстрадал я в мире,  
что если первые четыре  
стиха сложил бы я на лире,  
она б сломалась, как тростник.

### ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

Однажды, в детстве, после школы,  
я в нашей зале невеселой  
один читал на склоне дня;  
вошел и сел со мною рядом  
ребенок в черном, с кротким взглядом,  
как брат, похожий на меня.

Склоняясь, печальный и прекрасный,  
к свече, плавающей неясно,  
он в книгу стал глядеть со мной;  
к моей руке челом прижался  
и до рассвета так остался —  
в мечтах, с улыбкою немой.

В мое пятнадцатое лето  
по вереску в дубраве где-то  
однажды брел я наугад;  
прошел и сел в тени древесной  
весь в черном юноша безвестный,  
похожий на меня, как брат.

Я у него спросил дорогу;  
держал он лютню и немного  
шиповника в пучок связал;  
с очаровательным приветом,  
слегка оборотясь, букетом  
на ближний холм он показал.

Во дни слепой сердечной жажды  
я у огня рыдал однажды,  
измену первую кляня;  
поближе к трепетному свету  
сел кто-то, в черное одетый,  
как брат, похожий на меня.

Дышал он сумрачной тоскою;  
он твердь указывал рукою,  
в другой руке блестел кинжал,  
он знал мои глухие думы,  
но испустил лишь вздох угрюмый  
и, как видение, пропал.

Во дни, когда, гуляка вольный,  
подняв бокал, под гул застольный,  
любому госту был я рад,—  
одетый в черное, нежданно,  
сел рядом собутыльник странный,  
похожий на меня, как брат...

Он плащ стряхнул, на тощем теле  
лохмотья пурпура висели,  
и был он в миртовом венке,—  
символ бесплодия, он склонился;  
мы чокнулись, бокал разбился  
в моей трепещущей руке.

А год спустя, порой ночью,  
лежал недвижно предо мною  
отец мой, вечностью объят;  
у ложа смертного покорно  
сел сирота в одежде черной,  
похожий на меня, как брат.

Глядел он влажными очами,  
увит терновыми шипами,

как ангел, нежен и уныл;  
и лютия на земле лежала,  
и в грудь вошел клинок кинжала,  
и пурпур цвета крови был.

Его запомнил я так ясно,  
что после в жизни я всечасно,  
повсюду — узнавал его;  
поистине то — призрак странный,  
друг пасмурный и безымянный,  
не демон и не божество.

Когда же, не стерпев страданья,  
задумав дальние скитанья,  
чтоб смерть найти иль вновь расцвести,  
я вышел из родного края,  
нетерпеливо настигая  
надежды призрачную весть,—

на склонах Пизы, в Апеннинах,  
на Рейне, в Кельне, и в долинах  
пологих Ниццы, и тиши  
дворцов Флоренции священной,  
в шале, стареющих смиренно  
в альпийской горестной глуши,

и в Генуе, в садах лимонных,  
в Вевэ, меж яблоней зеленых,  
и в атлантическом порту,  
и в Лидо, на траве могильной,  
где Адриатика бессильно  
лобзает хладную плиту,—

повсюду, где, среди простора,  
оставил сердце я и взоры,  
терзаясь раной роковой;  
повсюду, где хандра хромая,  
на посмеянье выставляя,  
меня тащила за собой;

повсюду, где, тоской суровой  
тоскуя по отчизне новой,  
я шел за тенью снов моих;  
повсюду, где, пожив так мало,

я видел все, что сердце знало,—  
все ту же ложь личин людских;

повсюду, где в пустыне пыльной  
я, словно женщина, бессильно  
рыдал, закрывшись рукавом;  
повсюду, где в лесу тернистом  
душа цеплялась шелковистым,  
легко теряемым руном;

повсюду, где дрема долила,  
повсюду, где звала могила,  
повсюду, где коснулся я  
земли,— садился при дороге,  
весь в черном, человек убогий,  
как брат, похожий на меня.

Откройся мне, ты, знающий все дали,  
все колеи моих дорог!  
Так скорбен ты, что я могу едва ли  
в тебе признать мой злобный рок.  
В твоей улыбке кротости так много,  
так сердобольно слезы льешь...  
Когда ты здесь, любовно чую Бога;  
твоей тоске близка моя тревога,  
на образ дружбы ты похож.

Но кто же ты? Не ангел, Богом данный,  
руководитель душ людских.  
Вот мучусь я, но ты — и это странно! —  
молчишь при виде слез моих.  
Я двадцать лет знаком с твоею властью,  
неведомое существо,  
меня жалеешь, но твое участие  
не греет; улыбаешься, но счастья  
не разделяешь моего.

Сегодня вновь явился ты ко сроку;  
лилась ночная темнота,  
крылом в окно бил ветер одиноко,  
моя печаль была пуста:  
но там остался отпечаток томный,  
еще лобзанья жар тая;  
и думал я о страсти вероломной,

и медленно, подобно ткани темной,  
рвалась на части жизнь моя.

Собрал я письма, прядь волос — обломки  
любви недавней, — все собрал;  
и голос прошлого, не в меру громкий,  
пустые клятвы повторял.  
Прелестный прах, не смея с ним расстаться,  
я гладил, трепетен и тих.  
Плачь, сердце, плачь! Слезами напитаться  
поторопись! Ведь завтра, может статься,  
ты не узнаешь слез своих.

Я завернул остатки счастья эти  
в обрывок бурого сукна.  
Среди недолговечного на свете,  
пожалуй, прядь волос вечна.  
Как бы в подводный сумрак погруженный,  
я глубь забвения пытал;  
мой лот терялся в этой тьме бездонной,  
я над моей любовью погребенной,  
над бледным счастьем рыдал.

И вот уже сургуч я выбрал черный,  
чтоб запечатать нежный клад,  
еще не веря, в скорби непокорной,  
что я отдам его назад.  
Ты — слабая, надменная, слепая,  
былого не сорвешь с себя!  
О Господи, зачем же ложь такая?  
Как страстно задыхалась ты, рыдая,  
зачем рыдала — не любя?

Да, ты грустишь, томишься, но меж нами —  
преграда прихоти твоей.  
Ну что ж, прощай! Ты будешь со слезами  
считать часы пустых ночей.  
Уйди, уйди! В холодный сон гордыни  
твоя душа погружена...  
Моя же не стареет и не стынет,  
и кроме горя, узанного ныне,  
немало мук вместит она.

Уйди, уйди! Не все от полновластной  
природы получила ты,  
увы, дитя, ты хочешь быть прекрасной —  
что красота без доброты?  
Пускай судьба тебя уносит мимо,  
моей души ты не взяла...  
Развей золу любви неповторимой...  
Как я любил, и как непостижимо,  
что ты любила и ушла!

Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула,  
затрепетала по стене,  
по занавеске медленно скользнула  
и села на постель ко мне.  
О, кто ты, образ бледный и печальный,  
одетый в черное двойник?  
Чего ты ищешь здесь, паломник дальний?  
Иль это сон, иль в глубине зеркальной  
я отражением возник?

О, кто ты, спутник юности обманной,  
упорный, призрачный ходок?  
Зачем тебя я вижу постоянно  
среди мрака, где мой путь пролег?  
О, соглядатай скорби и заботы!  
За что ты, горестная тень,  
осуждена считать все повороты  
моей стези? О, кто ты, брат мой, кто ты,  
являющийся в черный день?

#### В и д е н и е (отвечает)

Друг, мы — дети единого лона.  
Я не ангел, к тебе благосклонный,  
я не злая судьбина людей.  
Я иду за любимыми следом,  
но, увы, мне их выбор неведом,  
мне чужда суета их путей.

Я не Бог и не демон крылатый;  
но ты дал мне название брата,  
и название это верней.

Где ты будешь, там буду я рядом  
до последнего дня — когда сяду  
я на камень могилы твоей.

Небо сердце твое мне вручило.  
Я хочу, чтоб ко мне приходила  
без боязни кручина твоя.  
Я с тобой не расстанусь. Но помни,  
прикоснуться к тебе не дано мне:  
о мой друг, одиночество я.

〈1928〉

## ШАРЛЬ БОДЛЕР

### АЛЬБАТРОС

Бывало, по зыбям скользющие матросы  
среди плавания берут, чтоб стало веселей,  
великолепных птиц, ленивых альбатросов,  
сопровождающих стремленье кораблей.

Как только он людьми на палубу поставлен,  
лазури властелин, неловок и уныл,  
старается ступать, и тащатся бесславно  
громады белые отяжелевших крыл.

Воздушный странник тот,— какой он неуклюжий!  
Та птица пышная,— о, как смешит она!  
Эй, трубкою тупой мазни его по клюву,  
шагнув, передразни калеку-летуна...

Поэт похож на них,— царей небес волнистых:  
им стрелы не страшны и буря им мила.  
В изгнанье,— на земле,— среди хохота и свиста  
мешают им ходить огромные крыла.

〈1924〉

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

В стране бесстрастных рек спускаясь по течению,  
хватился я моих усердных бурлаков:  
индейцы ярые избрали их мишенью,  
нагими их сковав у радужных столбов.

Есть много кораблей, фламандский хлеб везущих  
и хлопок английский,— но к ним я охладел.  
Когда прикончили тех пленников орущих,  
открыли реки мне свободнейший удел.

И я,— который был, зимой недавней, глуше  
младенческих мозгов,— бежал на зов морской,  
и полуостровам, оторванным от суши,  
не зная таких боев и удали такой.

Был штормом освящен мой водный первопуток.  
Средь волн, без усталы влачащих жертв своих,  
протанцевал и я, как пробка, десять суток,  
не помня глупых глаз огней береговых.

Вкусней, чем мальчику плоть яблока сырая,  
вошла в еловый трюм зеленая вода,  
меня от пятен вин и рвоты очищая  
и унося мой руль и якорь навсегда.

И вольно с этих пор купался я в поэме  
кишащих звездами лучисто-млечных вод,  
где, очарованный и безучастный, время  
от времени ко дну утопленник идет,

где, в пламенные дни, лазурь сквозную влаги  
окрашивая вдруг, кружатся в забытьи,—  
просторней ваших лир, разымчивее браги,—  
туманы рыжие и горькие любви.

Я знаю небеса в ополохах, и глубины,  
и водоверть, и смерч, покой по вечерам,

рассвет восторженный, как вылет голубиный,  
и видел я подчас, что мнится морякам;

я видел низких зорь пятнистые пожары,  
в лиловых сгустках туч мистический провал,  
как привидения из драмы очень старой,  
волнуясь чередой, за валом веял вал,

я видел снежный свет ночей зеленооких,  
лобзанья долгие медлительных морей,  
и ваш круговорот, неслыханные соки,  
и твой цветной огонь, о фосфор-чародей!

По целым месяцам внимал я истерии  
скотоподобных волн при взятии скалы,  
не думая о том, что светлые Марии  
могли бы обуздать бодливые валы.

Уж я ль не приставал к немыслимой Флориде,—  
где смешаны цветы с глазами, с пестротой  
пантер и тел людских и с радугами, в виде  
натянутых вожжей над зеленью морской!

Брожения болот я видел,— словно мрежи,  
где в тине целиком гниет левиафан,  
штиль и крушение волн, когда всю даль прорежет  
и опрокинется над бездной ураган.

Серебряные льды, и перламутр, и пламя,  
коричневую мель у берегов гнилых,  
где змеи тяжкие, едомые клопами,  
с деревьев падают смолистых и кривых.

Я б детям показал огнистые созданья  
морские,— золотых, певучих этих рыб.  
Прелестной пеною цвели мои блужданья,  
мне ветер придавал волшебных крыл изгиб.

Меж полюсов и зон устав бродить без цели,  
порой качался я нежнее. Подходил  
рой теневых цветов, присоски их желтели,  
и я как женщина молящаясь был,—

пока, на палубе колыша нечистоты,  
золотоглазых птиц, их клики, кутерьму,  
я плыл, и сквозь меня, сквозь хрупкие пролеты,  
дремотно пятился утопленник во тьму.

Но я, затерянный в кудрях травы летеиской,  
я, бурей брошенный в эфир глухонемой,  
шатун, чьей скорлупы ни парусник ганзейский,  
ни зоркий монитор не сыщет под водой,—

я, вольный и живой, дымно-лиловым мраком  
пробивший небеса, кирпичную их высь,  
где б высмотрел поэт все, до чего он лаком,—  
лазури лишай и солнечную слизь,—

я, дикою доской в трескучих пятнах ярких  
бежавший среди морских изогнутых коньков,  
когда дубинами крушило солнце арки  
ультрамариновых июльских облаков,—

я, трепетавший так, когда был слышен топот  
Мальстромов вдалеке и Бегемотов бег,  
паломник в синеве недвижной,— о, Европа,  
твой древний парапет запомнил я навек!

Я видел звездные архипелаги! Земли,  
приветные пловцу, и небеса, как бред.  
Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь,  
о, стая райских птиц, о, мощь грядущих лет?

Но, право ж, нету слез. Так безнадежны зори,  
так солнце солоно, так тягостна луна...

Любовью горькою меня раздуло море...  
Пусть лопнет остов мой! Бери меня, волна!

Из европейских вод мне сладостна была бы  
та лужа черная, где детская рука,  
среди грустных сумерек, челнок пускает слабый,  
напоминающий сквозного мотылька.

О, волны, не могу, исполненный истомы,  
пересекать волну купеческих судов,  
победно проходить среди знамен и грома  
и проплывать вблизи ужасных глаз мостов.

〈1928〉

ПОСВЯЩЕНИЕ К «ФАУСТУ»

Вы снова близко, реющие тени.  
Мой смутный взор уже вас видел раз.  
Хочу ль теперь безумия видений?  
Запечатлеть попробую ли вас?  
Теснитесь вы! Средь дымных испарений —  
да будет так! — вы явитесь сейчас;  
по-юному мне сердце потрясает  
туман чудес, что вас сопровождает.

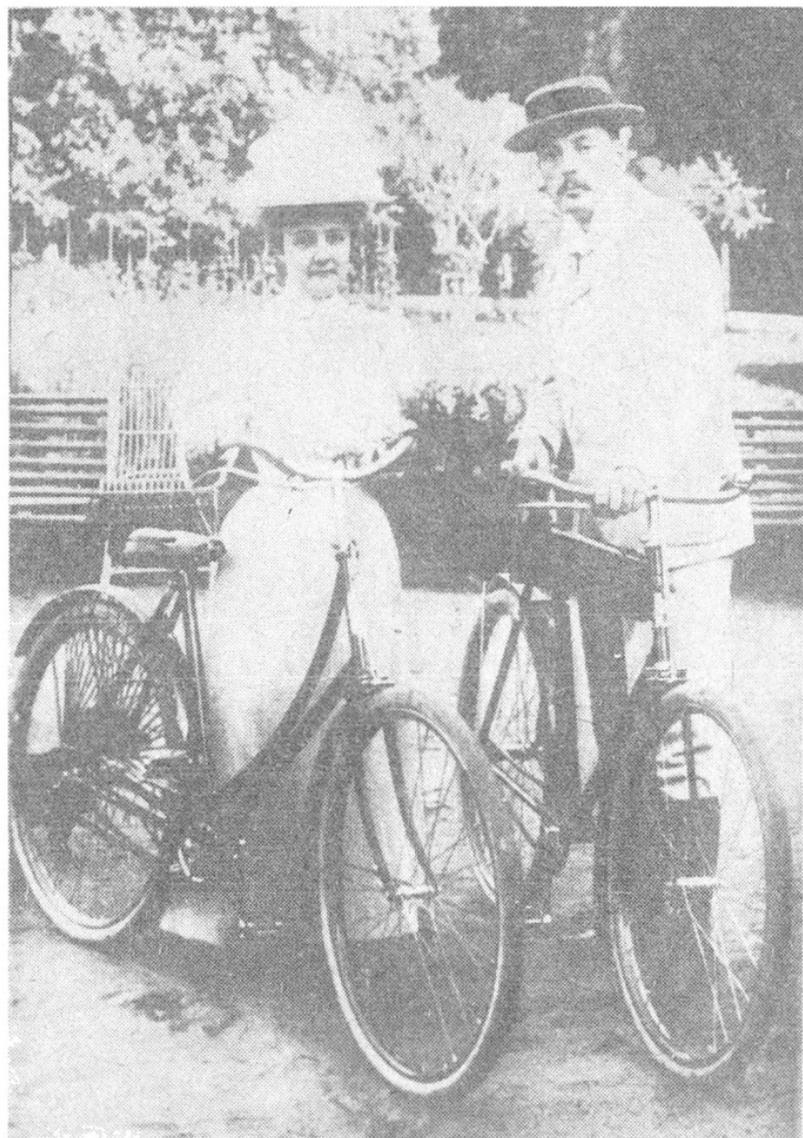
Отрада в вас мне чудится былая,  
а тень встает родная не одна,  
встает любовь и дружба молодая,  
как полузвук, преданье, старина,  
и снова — боль, и жалуясь, блуждая  
по лабиринту жизненного сна,  
зову я милых, счастьем жестоко  
обмеренных, исчезнувших до срока.

Те, для кого я пел первоначально,  
не слышат песен нынешних моих,  
ушли друзья, и замер отзвук дальний  
их первого привета. Для чужих,  
неведомых, звучит мой стих печальный,  
боюсь я даже одобренья их,  
а верные мне души, если живы,  
скитаются в изгнание сиротливо.

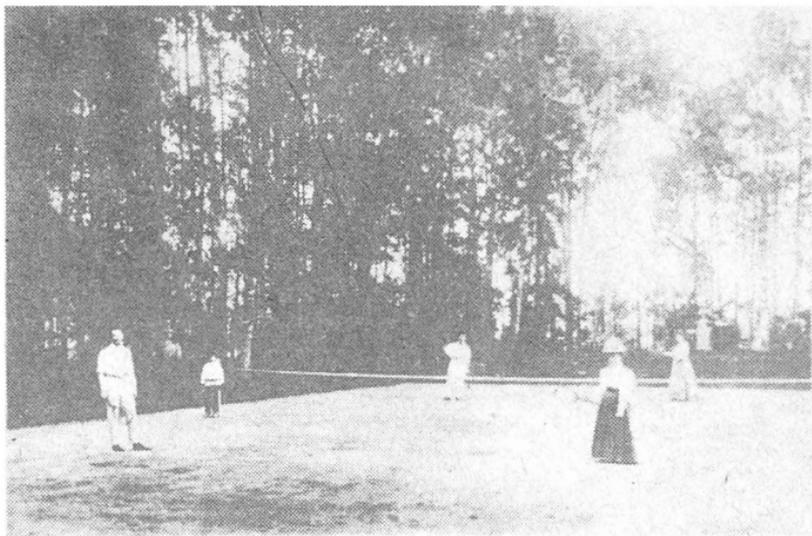
По истовом и тихом царстве духа  
во мне тоска забытая зажглась,  
трепещет песнь, неясная для слуха,  
как по струнам эоловым струясь,

и плачу я, и ужасаюсь глухо,  
в суровом сердце нежность разлилась;  
все настоящее вдали пропало,  
а прошлое действительностью стало.

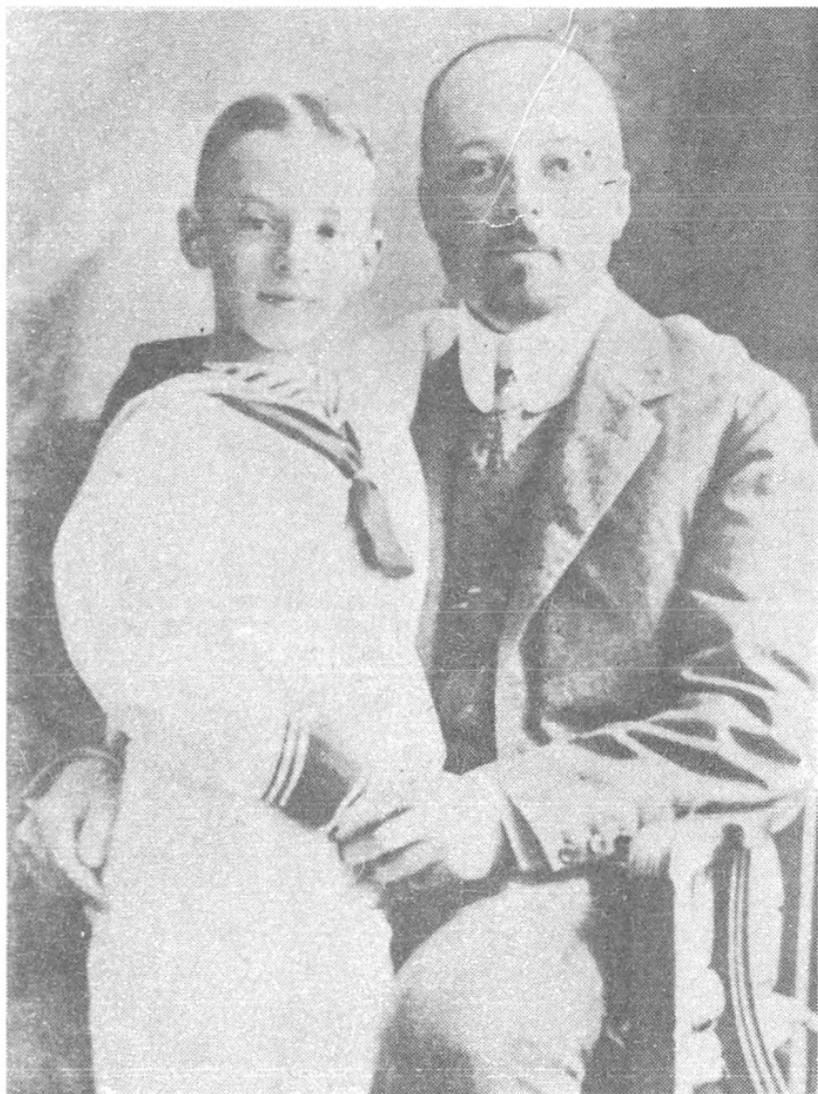
〈 1932〉



Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич Набоковы (1897?)



**Теннисный корт в Рожествено. На переднем плане справа — мать В. Набокова Елена Ивановна, на заднем плане слева — дядя писателя — Василий Иванович Рукавишников (1897?)**



**В. Набоков с отцом. Петербург, 1906**



**В. Набоков с атласом бабочек. 1907. Фото К. К. Буллы**



**Петербург, 1915**



Кембридж, весна 1920

В. СИРИНЪ

# ГОРНИЙ ПУТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАНИ“ БЕРЛИНЪ  
1923

В. СИРИНЪ

# ГРОЗДЪ

СТИХИ

БЕРЛИНЪ

1 9 2 3



**В. Сиринь.**

Шарж-портрет В. Сирина в рижской газете «Сегодня» от 26 августа  
1924 г. Художник С. А. Цивинский (Civis)



На праздновании Дня русской культуры. Берлин, июнь 1925 г.



«Конго подь Берлиномъ» — (Поэть В. Си  
ринь на балтійскомъ пляжѣ).

«Поэт В. Сирин на балтийском пляже». Фотография в воскресном приложении к «Рулю» «Жизнь и Шарж» от 18 сентября 1927 г. С газетой — В. Набоков, в центре — жена поэта Вера Набокова



Над «Защитой Лужина». Восточные Пиренеи, 1929



**Портрет В. Набокова работы Магды Нахман-Ачарья. Утерян во время гитлеровской оккупации Парижа**



Париж, 1938



В музее сравнительной зоологии. Гарвард, 1947

## ПРИМЕЧАНИЯ

В это собрание стихотворений и поэм В. Набокова вошли прижизненные книги стихов, а также стихотворения и поэмы разных лет, в них не входившие. По причинам, связанным с авторским правом, мы не смогли, к сожалению, включить в это собрание те стихотворения из книги «Стихи», изданной Верой Набоковой в 1979 году (изд-во «Ардис», Анн Арбор, Мичиган), более ранние публикации которых нами не обнаружены.

Первый сборник В. Набокова «Стихи» (Петроград, 1916) — по его собственному признанию, «банальная любовная лирика», — в настоящей книге не представлен — публиковать эти стихи не хотел ни сам В. Набоков, ни его наследники.

Сборник «Стихотворения 1929 — 51 гг.» (Париж, изд-во «Рифма», 1952) и русские стихотворения из сборника «Poesie» (Милан, 1962) позднее полностью вошли в использованный нами сборник «Poems and Problems» (New-York, McGraw-Hill, 1970).

Во всех случаях, когда нам удалось установить дату и место первой публикации, эти данные приводятся сразу после названия или первой строки стихотворения. Даты написания стихотворений из сборников «Горний путь» и «Гроздь» даны по старому стилю и приводятся по библиографии Э. Филда (Nabokov: A bibliography, New-York, 1973), который при установлении дат пользовался записными книжками В. Набокова. Даты написания остальных стихотворений даны в соответствии с пометами автора в публикациях и по сборнику «Стихи» 1979 года (с исправлениями, когда указанная дата противоречит дате публикации). Даты в угловых скобках < > означают год, не позднее которого написано стихотворение.

Мы использовали также примечания В. Набокова к сборнику «Poems and Problems».

Краткие сведения о газетах и журналах, в которых печатался В. Набоков:

«Руль», Берлин (1920 — 1931) — ежедневная газета, основанная В. Д. Набоковым, А. И. Каминкой и И. В. Гессеном.

«Наш мир», Берлин (1924 — 1925) — воскресное приложение к «Рулю».

«Жар-Птица», Берлин (1921 — 1926) — литературно-художест-

венный журнал; литературный редактор Саша Черный (А. М. Гликберг).

«Сполохи», Берлин (1921 — 1923) — литературный журнал, издававшийся А. Дроздовым, впоследствии вернувшимся в Советский Союз.

«Русская мысль», София — Прага — Берлин (1921 — 1927) — журнал, выходивший под редакцией П. Б. Струве.

«Современные записки», Париж (1920 — 1940) — один из основных журналов эмиграции. Вышло 70 книг под редакцией И. Фондаминского, Н. Авксентьева, М. Вишняка, А. Гуковского и В. Руднева.

«Последние новости», Париж (1931 — 1940) — ведущая газета русской эмиграции под редакцией П. Н. Милюкова.

«Звено», Париж (1923 — 1928) — еженедельник, затем журнал под редакцией П. Милюкова и М. Винавера.

«Возрождение», Париж (1925 — 1940) — одна из самых влиятельных газет русской эмиграции, с 1936-го — еженедельник.

«Россия», Париж (1927 — 1928) — еженедельная газета под редакцией П. Струве.

«Россия и Славянство», Париж (1927 — 1931) — еженедельник под редакцией К. Зайцева.

«Сегодня», Рига (1919 — 1936, с перерывами) — ежедневная газета.

«Новый Журнал», Нью-Йорк (с 1942 по наст. время) — «толстый» журнал, преемник «Современных записок», первые редакторы М. Алданов и М. Цетлин.

«Новое Русское Слово», Нью-Йорк (с 1920 по наст. время) — ежедневная газета.

«Воздушные Пути», Нью-Йорк — серия из пяти литературных альманахов, вышедших в 1960 — 1967 гг. под редакцией Романа Гринберга.

## ГОРНИЙ ПУТЬ

Сборник был подготовлен к печати В. Д. Набоковым и Сашей Черным, когда автор еще учился в Кембридже, и опубликован под псевдонимом В. Сирин. Печатается полностью по изданию: «Горний путь». Берлин. «Грани», 1923.

«О ночь, я твой, всё злое позабыто...» «Руль», 15 февраля 1922.

«И видел я: стемнели неба своды...» «Руль», 7 января 1921

под назв. «Видение Иосифа». *Евангелие Иакова Еврея* — т.н. «Протоевангелие Иакова», апокриф, написанный от имени Иакова, брата Иисуса и сына Иосифа от первого брака.

Солнце бессонных. Перевод фрагмента неоконченного стих. Джорджа Гордона Байрона (1788 — 1824), который включил его в цикл «Еврейские мелодии» как самостоятельный стих. *Солнце бессонных*. — Имеется в виду Луна.

Большая Медведица. Диаграмма полуударений в стих. образует форму этого созвездия (указано Э. Филдом).

«Если вьется мой стих, и летит, и трепещет...» Эпиграф — из стих. Жуковского В. А. (1783 — 1852) «Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814). В сборнике в предпоследней строке очевидная опечатка: «безбрежной» вместо «небрежной».

Осенняя пляска. *Дриады* — лесные нимфы, богини лесов в греч. мифологии. *Фавны* — в рим. мифологии боги полей, лесов и гор; изображались с козлиными ногами и острыми ушами.

Башмачок. *Эльф* — дух воздуха в германской и кельтской мифологиях, красивый маленький человечек в шапочке из цветков.

Новый Год. Перепечатано в отрывном эмигрантском календаре под 31 декабря 1936 г. (указано Э. Филдом).

Ю. Р. Ю. Р. — Юрий Рауш фон Траубенберг (?—1919), двоюродный брат В. Набокова.

«Я был в стране Воспоминанья...» «Руль», 23 ноября 1921 под назв. «В Египте». *Сфинкс* — в древнем Египте фантастическое существо с телом льва и головой человека. *Рамзес* — имя 14 египетских царей; наиболее известен Рамзес II (1388 — 1322 гг. до н.э.). *Изида* — египетская богиня плодородия, изображалась с головой или рогами коровы.

Петр в Голландии. Перекликается с одноименным стих. Георгия Иванова. *Стук далеких топоров*. — Будучи инкогнито в Голландии в составе русского посольства, одно время Петр работал на тамошних верфях простым работником.

«Россия» («Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей...»). «Русская мысль», София, 1921, кн. 5 — 7. *Ектенья* — молитва, возглашаемая дьяконом, на которую певчие отвечают: «Господи, помилуй».

«Еще безмолвствую и крепну я в тиши...» В «Poems and Problems» дана дата по новому стилю — 4 апреля 1919.

Памяти друга. Посвящено Юрию Раушу фон Траубенбергу. В «Других берегах» Набоков писал: «...он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль,

убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет».

«Простая песня, грусть простая...» «Руль», 22 декабря 1921. Вьюга. «Грядущая Россия», 1920, № 1.

«Звон, и радугой росистой...» «Грядущая Россия», 1920, № 1, под назв. «После грозы». Подписано «В. В. Набоков».

М. W. Адресат стих. не установлен.

Яблони. «Руль», 12 апреля 1921, без назв.

«La morte de Arthur». *Артур* — вождь бриттов, защитник кельтов, боровшийся против англосаксов, герой легенд о рыцарях Круглого стола.

Наполеон в изгнании. Речь идет о пребывании Наполеона Бонапарта (1769 — 1821) на острове Святой Елены (1815 — 1821) под надзором англичан.

Детство. *Ричард* — Ричард I Львиное Сердце, английский король (1157 — 1199), на престоле с 1189. *Робин Гуд* — герой английских баллад. *Ланцелот* — герой французских рыцарских романов.

Ангелы. Согласно учению Псевдо-Дионисия Ареопагита (V или нач. VI вв.), иерархия *ангелов* образует девять чинов ангельских, каждому из которых посвящено в цикле отдельное стих.

Крым. «Жар-Птица», 1921, № 1.

Странствия. «Русская Мысль», София, 1921, кн. 5 — 7 (май — июль).

«Безвозвратная, вечно-родная...» «Руль», 27 марта 1921.

Каштаны. «Руль», 4 июня 1922.

Тайная Вечеря. «Руль», 29 апреля 1921. *Тайная Вечеря* — последняя совместная трапеза (ужин) Иисуса Христа и двенадцати апостолов в канун «страстной пятницы», дня крестной смерти Христа.

Е. Л. Е. Л. — по-видимому, *Элизабет Лютьенс*, знакомая Набокова кембриджской поры.

М. Ш. М. Ш. — по-видимому, *Марианна Шрайбер*, знакомая Набокова по Петербургу и Кембриджу.

«Кто меня повезет...» «Руль», 2 октября 1921.

Павлины. «Руль», 7 января 1921.

Лес. «Руль», 27 ноября 1920, подписано «*Cantab*». *Cantab* или *Cantabrigian* (*анг.*) — здесь студент Кембриджского университета. Первый номер газеты, в котором напечатаны литературно-художественные материалы — «Третьи петухи» И. Бунина и это стих. (сама газета стала выходить с 16 ноября 1920).

Возвращение. «Руль», 10 декабря 1920, подписано «Cantab». Осень. «Руль», 2 октября 1921.

Бабочка. *Vanessa antiopa* (лат.) — траурница, бабочка из семейства нимфалид; современное название *Nymphalis antiopa*.

На Голгофе. «Руль», 1 мая 1921. *Голгофа* — место распятия Иисуса Христа.

Березы. «Руль», 1 мая 1921.

В.Ш. «Руль», 4 декабря 1921, с опечаткой в первой строке. Предполагаемая дата в сборнике 1979 г. противоречит дате первой публикации. В.Ш. — Шульгина Валентина Евгеньевна (1899 — 1967), «Тамара» в «Других берегах».

Облака. «Руль», 22 мая 1921.

Пир. «Руль», 7 января 1922.

Белый рай. «Руль», 29 января 1922.

Перо. «Жар-Птица», 1921, № 4 — 5. Перепечатано в «Красной панораме», 1923, № 5 (указано С. В. Шумихиным) — возможно, единственная прижизненная публикация В. Набокова в Советском Союзе.

«Мы столпились в туманной церковенке...» «Руль», 29 июля 1921. *Клирос* — место в храме, где стоят певчие.

Русь. «Современные записки», Париж, 1921, № 7.

## ГРОЗДЬ

Текст сборника печатается полностью по изданию: «Гроздь», Берлин, (изд.) «Гамаюн», 1923.

«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит?» «Руль», 4 июня 1922. *Вертоград* — сад, особенно плодовый.

«На черный бархат лист кленовый...» «Руль», 7 декабря 1921.

«Нас мало — юных, окрыленных...» «Руль», 29 января 1922.

«Садом шел Христос с учениками...» «Руль», 11 ноября 1921 под назв. «Сказание (из апокрифа)».

На смерть А. Блока

1. «За туманами плыли туманы...» «Руль», 14 августа 1921.

2. «Пушкин — радуга по всей земле...» «Руль», 20 сентября 1921.

«Как воды гор, твой голос горд и чист...» «Руль», 1 октября 1922.

Сонет («Весенний лес мне чудится... Пстой...») «Руль», 25 июня 1922.

Глаза. «Сегодня», Рига, 18 ноября 1922.

«Пускай все горестней и глуше...» «Руль», 22 августа 1922.

Пасха, «Руль», 16 апреля 1922.

«Молчи, не вспенивай души...» «Руль», 22 августа 1922.

Тристан. «Сполохи», Берлин, 1921, № 1. *Тристан* — герой кельтской саги, повествующей о его любви к Изольде, жене корнуэльского короля.

Рождество. «Сполохи», 1921, № 2.

На сельском кладбище. «Руль», 19 ноября 1922.

*Viola tricolor*. «Руль», 21 августа 1921.

В зверинце. «Сегодня», 3 октября 1922.

Ночные бабочки. «Руль», 15 марта 1922.

В поезде. «Руль», 10 июля 1921.

### ИЗ КНИГИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА»

Стихи печатаются по изданию: «Возвращение Чорба» (Рассказы и стихи), Берлин: «Слово», 1930. В репринтном издании американского издательства «Ардис» 1976 года стихи не воспроизводились.

«От счастья влюбленному не спится...» «Руль», 14 июня 1928.

Тихий шум. «Руль», 10 июня 1926. В сообщении о праздновании дня русской культуры в Берлине газета писала в этом номере: «...ниже приводим стихотворение В. Сирина, прочитанное вчера автором. Стихотворение это имело огромный успех, и несомненно аплодисментами публика заставила талантливого поэта продекламировать свое произведение два раза». Указанная в сборнике 1979 года дата написания — 1929 — противоречит дате публикации.

Кирпичи. «Руль», 1 апреля 1928.

Почтовый ящик. «Руль», 24 мая 1925, без назв., как вторая часть стих. «Берлинская весна».

Прелестная пора. «Руль», 17 октября 1926.

Снимок. «Руль», 28 августа 1927.

Аэроплан. «Руль», 25 июля 1926.

Крушение. «Руль», 16 августа 1925.

Святки. «Сегодня», 26 августа 1924, под назв. «Гаданье», с измененными первой, четвертой и последней строфами. Пятая строфа:

*На выцветшей лазури  
ты карты приготовь...  
И дедушка то хмурит,  
то вскидывает бровь —*

в «Возвращении Чорба» опущена. Первая редакция стих. воспроизведена в сборнике 1979 года. Светлана — героиня одноименной баллады В. А. Жуковского, с которой перекликается данное стих.

Расстрел. «Руль», 8 января 1928. «В строках 17 — 20 фрейдисты усмотрели «жажду смерти», а марксисты, не менее нелепо, «жажду искупления феодального греха». Могу заверить и тех и других, что возглас в этой строфе — чисто риторический, стилистический прием, нарочито подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя». (Примеч. В. Набокова.)

Гость. «Руль», 6 июля 1924, с небольшими изменениями.

La Bonne Lorraine. «Руль», 16 сентября 1924 под назв. «La Belle Lorraine». La Bonne Lorraine — Жанна д'Арк, Орлеанская Дева, национальная героиня Франции (1412 — 1431). При осаде Компьена попала в плен к англичанам, которые сожгли ее как колдунью.

Годовщина. «Руль», 7 ноября 1926.

Сирень. «Руль», 13 мая 1928.

Паломник. «Руль», 13 февраля 1927. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872 — 1928) — литературовед и критик; наиболее известны его «Силуэты русских писателей». В сборнике 1979 года посвящение снято.

Сновиденье. «Руль», 1 мая 1927.

Прохожий с елкой. «Руль», 25 декабря 1925.

Тень. «Руль», 13 сентября 1925.

Солнце. «Руль», 2 сентября 1923, как вторая часть стих. «Прованс».

Сны. «Руль», 8 августа 1926.

Комната. «Руль», 11 июля 1926.

Мать. «Руль», 19 апреля 1925. В «Poems and Problems» В. Набоков указывает ошибочную дату публикации — 4 апреля 1925. Иоанн, Евангелист Иоанн, Иоанн Богослов — любимый ученик Иисуса Христа, наряду с Петром занимающий центральное место среди двенадцати апостолов. После смерти Христа был усыновлен Девой Марией. *Светящуюся плоть занимает Фома.* — Один из двенадцати апостолов, Фома отсутствовал, когда к ученикам приходил воскресший Христос, и отказался поверить в воскресение,

пока сам не увидит ран от гвоздей и не вложит в них персты. Спустя несколько дней Христос вновь пришел к ученикам и предложил Фоме прикоснуться к ранам на своем теле (Евангелие от Иоанна, 20, 27). *Лепивший воробьев на солнцепеке, в Назарете.*— Имеется в виду эпизод из апокрифического «Евангелия детства» («Евангелия от Фомы» — см. выше), когда пятилетний Иисус, нарушив обычай субботнего отдыха, вылепил из глины двенадцать воробьев. В ответ на обвинения своего отца Иосифа в осквернении субботы «Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча» (Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 142). *Назарет* — городок в Галилее, где Иисус Христос провел детство.

Весна («Помчал на дачу паровоз...») «Руль», 10 мая 1925.

В раю («Моя душа, за смертью дальней...») «Руль», 18 марта 1928, под назв. «К душе».

#### ИЗ КНИГИ «POEMS AND PROBLEMS»

Книга вышла в Нью-Йорке (McGraw-Hill, 1970). В сборник вошли 39 русских стихотворений с параллельными английскими переводами, 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач.

Дождь пролетел. «Выражение «летит дождь» заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в «Других берегах», который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, «Два пути», вышедшем в Петрограде, в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г.». (*Примеч. В. Набокова.*)

К Свободе. «Главный — в сущности единственный — интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полувека, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта. Возможно, что оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло». (*Примеч. В. Набокова.*)

Номер в гостинице. «Гостиница «Метрополь», комната 7, Севастополь, 8 апреля 1919 г. (за несколько дней до отъезда из России)». (Примеч. В. Набокова.) В. Набоков покинул Россию 15 апреля 1919 г.

Герб. «Русское Эхо (берлинский эмигрантский еженедельник), 3 марта 1925». (Указание В. Набокова.)

Люблю я гору. «Руль», 19 сентября 1925, под назв. «Вершина».

Лилит. «Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворение не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой». (Примеч. В. Набокова.) Лилит — в иудейской демонологии злой дух, обычно женского пола, овладевающий мужчинами против их воли. Согласно одному преданию, Лилит была первой женой Адама; в европейской литературе обрела облик прекрасной, соблазнительной женщины. Эол — в греч. мифологии бог ветров, повелитель бурь. Фавн — в рим. мифологии бог полей, лесов и гор; в греч. мифологии ему соответствует Пан.

К Музе. «Руль», 24 сентября 1929.

Снег. «Руль», 7 февраля 1930.

Формула. «Руль», 5 апреля 1931. Алембик — стеклянный перегонный куб небольшого размера.

Неоконченный черновик. В сборнике «Poems and Problems» опубликовано впервые (указано В. Набоковым). Зоил — греческий ритор, живший за 250 лет до н. э., занимавшийся порицанием Гомера; его имя стало нарицательным прозвищем всякого озлобленного несправедливого критика. Здесь имеется в виду Георгий Адамович, постоянно критиковавший В. Сирина в печати. Литератор площадной. — Имеется в виду Георгий Иванов, поэт, написавший в 1931 году скандальную статью о В. Сирине (см. примеч. к стих. «Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие»).

Вечер на пустыре. «Последние новости», 31 июля 1932. Английский перевод стих. в сборнике дан с посвящением «Памяти В. Д. Н.» (отца поэта — Владимира Дмитриевича Набокова).

Безумец. «Последние новости», 29 января 1933.

Как я люблю тебя. «Последние новости», 3 мая 1934, без назв. и двух последних стрóf; стрóфы даются под римскими цифрами I — III.

L'inconnue de la Seine. «Последние новости», 28 июня 1934,

без назв. с пометкой «Из Ф.Г.Ч.». Ф.Г.Ч.— Федор Годунов-Чердынцев — один из псевдонимов В. Набокова, позже — герой романа «Дар».

Поэты. «Современные записки», Париж, 1939, № 69. «Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом «Василий Шишков», было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, «Последние новости»), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление «таинственного нового поэта», что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича. *Строки 26 — 27*: расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на противоположном берегу Сены». (Примеч. В. Набокова.) В рассказе «Василий Шишков», опубл. в «Последних новостях» 12 сентября 1939 года, Набоков писал: «Стихи были очень хороши,— я надеюсь как-нибудь поговорить о них подробнее. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога — вроде, например, «в солдатских мундирах».

К России («Отвяжись, я тебя умоляю!..»). «Современные записки», 1940, № 70, под псевдонимом «Василий Шишков», и назв. «Обращение».

Слава. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942, № 3. «*Строки 47 — 48*: это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в *строках 45 — 47. Строки 75 — 76*: подражание пушкинскому «Памятнику». *Строка 91*: анисовое масло употребляется в парфорсной охоте, чтобы намеренно сбить с пути собак, преследующих дичь». (Примеч. В. Набокова.) *И виденье*: на родине — отголосок давней беседы с советским писателем Тарасовым-Родионовым А. И. (1885 — 1938), уговаривавшим Набокова вернуться на родину.

Парижская поэма. «Новый журнал», 1944, № 7. «*Строка 13*: подражание некрасовской строке «От ликующих, праздно болта-

ющих...». *Строки 25 — 26: «Так он думал»* — подражание пушкинским строкам «Так думал молодой повеса...» и т. д. *Строка 64:* до совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания. *Строка 69:* подражание описанию Днепра в «Страшной мести» Гоголя — «Чуден Днепр при тихой погоде...» и т. д. (*Примеч. В. Набокова.*) *Овидий* (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский поэт.

Каким бы полотном. Указание Э. Филда, что стих. впервые опубликовано без ведома автора в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк, 1944, № 37), ошибочно.

О правителях. «Новый журнал», 1945, № 10. *«Строки 14 — 15:* туристы, посещавшие советские театры, оставались под глубоким впечатлением от увиденного там диктатора. *Строка 35:* вспоминается комическое заявление Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» *Строки 44 — 48:* здесь на мгновение появляются советский генерал и Адольф Гитлер. *Строки 49 — 50:* наша последняя остановка — Тегеран. *Строка 52:* мелкокалиберный советский поэт, не лишенный некоторого блеска и хватки, но роковым образом развращенный режимом, которому верно служил (В. В. Маяковский.— В. Ф.). *Строки 58 — 59:* «Монументален» рифмуется довольно точно со «Сталин», а «переперчил» забавным образом перекликается с фамилией британского политического деятеля в неряшливом русском произношении». (*Примеч. В. Набокова.*)

К кн. С. М. Качурину. «Новый журнал», 1947, № 15. *«Строка 1:* Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии; умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена. *Строка 7:* ссылка на известное стихотворение Лермонтова («В полдневный жар в долине Дагестана...»). (*Примеч. В. Набокова.*) *Чапараль* — заросли вечнозеленых кустарников в Сев. Америке.

Был день как день. «Стихотворения 1929 — 51 гг.». Париж: «Рифма», 1952.

Неправильные ямбы. «Опыты», Нью-Йорк, 1953, № 1; без деления на строфы. «Заглавие «Неправильные ямбы» основано на том, что, по правилам русской просодии, полуударение никогда не падает на «если», меж тем как на слове «между» полуударение разрешается, по старой традиции. Нет, однако, причины обращаться с первым из этих двух легких, плавных двусложных

слов так же, как и со вторым, особенно в начале ямбической строки». (Примеч. В. Набокова.)

Какое сделал я дурное дело. «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1961, № 2. «*Строки 1 — 4*: первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, первая строка которого заимствована полностью». (Примеч. В. Набокова.)

С серого севера. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 21 января 1968. *Дом с колоннами* — усадьба Рожественно Василия Ивановича Рукавишникова (1874 — 1916), дяди В. Набокова. В «Других берегах» Набоков писал: «Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры». *Батово* — «преlestное бабушкино Батово» — усадьба баронессы Марии фон Корф (1842 — 1926); в первой четверти XIX века принадлежала К. Ф. Рылееву (1795 — 1826), поэту-декабристу. В английской версии автобиографии «*Speak, Memoir*» Набоков писал: «На схеме три фамильных имения на Оредежи, в пятидесяти милях от Санкт-Петербурга, можно представить как три звена десятимильной цепи, пересекающей с запада на восток Лужское шоссе: с Вырой, именем моей матери, в центре, Рожественно, ее брата — справа и бабушкиным Батово — слева, соединенных мостами через Оредежь, которая своими излучками омывала Выру с обеих сторон».

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

При отсутствии даты написания, тексты печатаются в хронологическом порядке первых публикаций. Исключение сделано для стихотворений «Поэт» («Являюсь в черный день родной моей земли...») и «России» («Не предаюсь пустому гневу...»), впервые опубликованным в журнале «Театральная жизнь», 1989, № 18. Обнаруженные в архиве П. Б. Струве, они относятся, вероятнее всего, к 1921 — 1923 гг., когда в журнале «Русская мысль», редактировавшемся П. Б. Струве, печатались стихи В. Сирина. Тематика и стилистика стихов позволяют отнести их условно к 1921 году.

Акрополь. «Руль», 13 ноября 1921. *Акрополь* — укрепленная часть города в Древней Греции; особенно известен Афинский

Акрополь, о котором и идет речь в стихотворении. *Виссон* — дорогая плотная ткань темно-красного или пурпурового цвета, употреблявшаяся в древности. *Эрехтейон* — памятник древнегреч. архитектуры (421 — 406 до н. э.), храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах.

Панихида. «Грядущая Россия», январь 1920, № 1.

У камина. «Руль», 22 декабря 1921.

Тихая осень. «Руль», 20 февраля 1921.

«Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...» «Руль», 20 февраля 1921.

Родина («Как весною мой север призывает...»). «Руль», 27 марта 1921.

Моя весна («Все загудело, все блеснуло...»). «Руль», 1 мая 1921.

Беженцы. «Руль», 19 июня 1921.

Знаешь веру мою? «Руль», 22 июня 1921. Дата написания в сборнике — 1929 г. — 1922 — противоречит дате публикации.

Петербург («Так вот он, прежний чародей...»). «Руль», 17 июля 1921.

Храм. «Руль», 4 декабря 1921.

Осенние листья (1. «В переулке на скрипке играет слепой...»; 2. «Стою я на крыльце. Напротив обитает...»). «Руль», 7 декабря 1921.

Ночь («Уж догорел лучистый край...»). «Руль», 22 декабря 1921.

Поэт («Являюсь в черный день родной моей земли...»). «Театральная жизнь», 1929, № 18.

России («Не предаюсь пустому гневу...»). «Театральная жизнь», 1929, № 18. Беловые автографы этого и предыдущего стих. обнаружены в архиве П. Б. Струве, вывезенном после второй мировой войны из Праги в Москву.

Суфлер. «Театр и жизнь», Берлин, май 1922, № 10.

Петербург («Он на трясине был построен...»). «Русская мысль», Прага, 1922, кн. 6 — 7.

Весна («Ты снишься миру снова, снова...»). «Жар-Птица», Берлин, 1922, № 7.

Россия («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...»). «Сполохи», март 1922, № 5. *Немезида* — богиня мщения в греч. мифологии.

Грибы. «Руль», 19 ноября 1922.

Снежная ночь. «Руль», 3 декабря 1922.

Невеста рыцаря. «Руль», 3 декабря 1922. *Трувэр* — франц.— средневековый придворный поэт (XII—XIII вв.).

Пегас. «Сегодня», 6 декабря 1922.

Волчонок. «Наш мир», 4 января 1925, № 1.

Жук. «Руль», 17 декабря 1922. *Пэон (неон)* — особая разновидность силлаботонического размера.

Легенда о старухе, искавшей плотника. «Руль», 24 декабря 1922. *Иосиф* — согласно Евангелию, земной отец, кормилец и воспитатель Иисуса Христа в его детские и юношеские годы. *Плотника жена* — Дева Мария, Богородица, земная мать Иисуса Христа. *Вифлеем* — город в Палестине, в котором родился Иисус Христос.

Петербург («Мне чудится в Рождественское утро...»). «Руль», 14 января 1923. *Пушкин ясноглазый беседует с другим поэтом.* — Имеется в виду А. Блок (см. стих. «На смерть А. Блока»). *Оленина Анна Алексеевна* (1808 — 1888) — знакомая А. С. Пушкина, которую он был пылко увлечен в 1828 г. *Данзас Константин Карлович* (1800 — 1870) — друг Пушкина, его секундант на дуэли с Дантесом.

Жемчуг. Альманах «Медный всадник», Берлин, кн. 1, без даты, вероятно, 1923.

Сон («Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...»). «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. 3 — 5.

Через века. Альманах «Медный всадник», Берлин, кн. 1, без даты, вероятно, 1923. В сборнике 1979 без назв. *Август* (63 — 14 до н. э.) — первый римский император. *Левретка* — небольшая комнатная собака. *Эльдорадо* — мифическая страна, богатая золотом и драгоценностями, которую искали в Южной Америке испанские завоеватели. *Был генуэзским гением гоним* — речь идет о Христофоре Колумбе, родом из Генуи. *Калиостровой науки.* *Калиостро Александр* (1743 — 1795) — известный авантюрист. *Термидор* — 11-й месяц франц. республиканского календаря; здесь — переворот, свергший якобинскую диктатуру и положивший конец франц. революции. *Кобленц* — город в Пруссии (ныне в ФРГ). *Лепаж* — дуэльный пистолет. *Делия* — условное имя возлюбленной, встречается в стихах Пушкина.

«Я где-то за городом, в поле...» «Руль», 27 февраля 1923.

Узор. Альманах «Медный всадник», Берлин, кн. 1, без даты, вероятно, 1923. В сборнике 1979 без назв.

«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...» «Русская мысль», 1923, кн. 6 — 8.

«И утро будет: песни, песни...» «Руль», 27 февраля 1923.

Размеры. «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. 1 — 2. *Струве Глеб Петрович* (род. 1898) — поэт, литературовед, критик;

учился вместе с Набоковым в Кембридже. Ответом на это стихотворение были стихи Г. Струве, опублик. в «Руле» 3 марта 1923:

## ДАКТИЛИ

В. Сирину

### I

*Медленно капают капли  
дней как янтарь золотых.  
В небе напомнит мой стих  
крылья серебряной цапли.  
Медленно капают капли  
дней как янтарь золотых.*

### II

*Рек серебристые струи  
к устью несут паруса.  
Смерти стальная коса  
срежет упругие туи.  
Рек серебристые струи  
к устью несут паруса.*

### III

*Солнце, высокий вожатый,  
в небе ведет корабли,  
ввысь улетает с земли  
вечер, как вестник крылатый.  
Солнце, высокий вожатый,  
в небе ведет корабли.*

Гексаметры («Чудо», «Очки Иосифа», «Сердце», «Памяти Гумилева»). «Руль», 6 мая 1923. *Гумилев Николай Степанович* (1886 — 1921) — русский поэт. Расстрелян за недонесение о заговоре. В тиши *Елисейской* — Елисейские поля, в греч. мифологии обитель блаженных, куда попадают после смерти герои, любимцы богов; то же, что элизиум.

Гексаметры («Смерть — это утренний луч, пробуждение весеннее. Верю...»). «Руль», 30 марта 1923.

Родине («Воркующею теплотой шестая...»). «Руль», 8 апреля 1923. *Моей сестре Елене* — Елене Владимировне Сикорской (урожд. Набоковой), род. 1906. В 1985 году издательство «Ардис» опубликовало переписку В. Набокова с сестрой (на русском языке).

Властелин. «Сегодня», 8 апреля 1923. В сборнике 1979 без назв.

Река. «Наш мир», 14 сентября 1924, № 26.

«Когда я по лестнице алмазной...» «Руль», 28 апреля 1923.

«О, как ты рвешься в путь крылатый...» «Русская мысль», 1923, кн. 6 — 8.

Барс. «Руль», 10 мая 1923.

Гроза («Стоишь ли, смотришь ли с балкона...»). «Руль», 10 июня 1923.

«Живи, звучи, не поминай о чуде...» «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. 6 — 8.

Прованс. «Руль», 2 сентября 1923, со второй частью «Слоняюсь переулками без цели...», которая опубл. в «Возвращении Чорба» (1930) под назв. «Солнце».

Родина («Когда из родины звенит нам...»). «Руль», 23 сентября 1923.

Олень. «Руль», 23 сентября 1923. *Диана* — в древнерим. мифологии богиня охоты и лесов. *Ловитва* — охота.

«И в Божий рай пришедшие с земли...» «Жар-Птица», 1923, № 11. *Серафимы* — ангелы первого ангельского чина, особо приближенные к Богу; «у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал...» (Ветхий Завет, книга пророка Исайи, гл. 6, 2 — 3).

«Из мира уползли — и воют на луне...» «Жар-Птица», 1923, № 11. *Ланнеровский вальс*. *Ланнер Йозеф* (1801 — 1843) — австрийский скрипач, дирижер и композитор; один из создателей венского вальса.

Встреча. «Руль», 24 июня 1924. Эпиграф — из стих. А. Блока «Незнакомка» (1906).

Песня. «Руль», 29 августа 1924.

Видение («В снегах полуночной пустыни...»). «Руль», 27 января 1924.

Скитальцы («За громадные годы изгнания...»). «Руль», 2 марта 1924. *Бискра* — город в Алжире.

Кубы. «Руль», 9 марта 1924.

Окно («При луне, когда косую крышу...»). «Руль», 23 марта 1924. В сборнике 1979 без назв.

Стихи («Блуждая по запущенному саду...»). «Руль», 3 апреля 1924.

Стансы. «Руль», 18 апреля 1924.

Автомобиль в горах. «Руль», 20 апреля 1924.

Подруга боксера. «Наш мир», Берлин, 11 мая 1924, № 8.

Санкт-Петербург («Ко мне, туманная Лейла!..»). «Руль», 1 июня

1924. *Леила* (Лейла) — условное имя возлюбленной; встречается у Пушкина в стих. «От меня вечер Леила...», представляющем собою подражание арабской песне, помещенной в прозаическом франц. переводе в сборнике «Из восточной и французской поэзии», Париж, 1835.

Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...»). «Руль», 18 июня 1924.

Об ангелах. «Руль», 20 июля 1924.

Молитва. «Руль», 24 августа 1924.

Исход. «Руль», 26 октября 1924.

Три шахматных сонета. «Наш мир», 30 ноября 1924, № 37. *Карамба* (исп.) — восклицание, означающее удивление, возмущение, протест и т. д.; русский эквивалент «черт возьми!» *Филидор Франсуа-Андре* (1726 — 1795) — французский композитор и шахматист.

Страна стихов. «Руль», 7 декабря 1924. *Кастальский ключ* — родник на горе Парнас в Греции. В Древней Греции почитался как священный ключ, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам.

Овца. Берлин, «Наш мир», 1925, № 1. В сборнике 1979 без назв.

К Родине («Ночь дана, чтоб думать и курить...»). «Руль», 25 декабря 1924.

Великан. «Сегодня», 25 декабря 1924.

Шекспир. «Жар-Птица», 1925, № 12. *Елизавета Тюдор* (1533—1603) — английская королева. *Брыжи* — отложной воротник, сбранный в складки. *Фальстаф* — комический персонаж в пьесах В. Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы». *Лета* — в греч. мифологии река забвения в подземном царстве. *Инглез* (исп., итал.) — англичанин. *Брантом Пьер* (1540 — 1614) — французский мемуарист, автор «Жизни знаменитых людей и великих полководцев» и «Жизни знаменитых женщин».

Конькобежец. «Руль», 5 февраля 1925. *Терпсихора* — в греч. мифологии муза танца.

Берлинская весна. «Руль», 24 мая 1925; вторая часть «Когда весеннее мечтанье...» опубл. в «Возвращении Чорба» под назв. «Почтовый ящик».

Изгнание («Я занят странными мечтами...»). «Руль», 14 июня 1925. *Вздыхать о сумрачной России* — стих из «Евгения Онегина», глава I, строфа L.

Сон («Однажды ночью подоконник...»). «Руль», 30 июня 1925.

Воскресение мертвых. «Возрождение», 19 июля 1925.

Рай («Любимы ангелами всеми...»). «Руль», 26 июля 1925.

*Эдем* — в библейской мифологии земной рай, где жили Адам и Ева до грехопадения. *Книга Бытия* — первая книга Ветхого Завета, излагающая мифологические представления древних евреев о создании Вселенной, Земли и человечества.

Путь. «Руль», 13 декабря 1925.

Лыжный прыжок. «Руль», 24 января 1926.

«*Ut pictura poesis*». «Руль», 25 апреля 1926. *Ut pictura poesis* — начало стиха из «Науки поэзии» римского поэта Горация (65—8 до н. э.). *Добужинский Мстислав Валерианович* (1875 — 1957) — русский художник, у которого юный Набоков брал уроки рисования.

«Пустяк — название мачты, план — и следом...» «Звено», Париж, 4 июля 1926.

Родина («Бессмертное счастье наше...»). «Руль», 15 июня 1927.

Билет. «Руль», 26 июня 1927.

Шахматный конь. «Руль», 23 октября 1927. В это время проходил матч Капабланка — Алехин. *Кизерицкий Л.* (1806 — 1853) — шахматист, с которым знаменитый А. Андерсен (1818 — 1879) сыграл «бессмертную» партию, вошедшую в шахматные учебники.

Кинематограф. «Руль», 25 февраля 1928.

Острова. «Руль», 25 марта 1928.

Разговор. «Россия», Париж, 14 апреля 1928. Стих. перекликается с написанным в то же время «Рождественским рассказом» (1928) — единственным в творчестве В. Набокова на «советскую» тему. «*Алая Заря*», «*Кряж*», «*Маховик*» — пародийные названия советских журналов. *Цементов*, *Молотов*, *Серпов* — условно-пародийные фамилии советских литераторов; в первой из них можно угадать *Гладкова Федора Васильевича* (1883 — 1958) — сов. писателя, автора романа «Цемент» (1925). *Писарев Дмитрий Иванович* (1840 — 1868) — русский критик, революционный демократ. *Лидняк* — пародийная фамилия литератора, образованная из фамилий *Лидин* и *Пильняк*, известных в то время советских писателей; Б. А. Пильняк посетил Японию, о чем написал книжку. *Греч Николай Иванович* (1787 — 1867) — русский писатель и издатель.

Оса. «Руль», 24 июня 1928.

К России («Мою ладонь географ строгий...»). «Руль», 1 июля 1928.

Толстой. «Руль», 16 сентября 1928. *Пушкин: плац, скала, морская пена* — реминисценция известной картины И. К. Айвазовского и И. Е. Репина «Прощай, свободная стихия» (1887). *Дельви*

*Антон Антонович* (1798 — 1831) — поэт, друг Пушкина. *Данзас* — см. примеч. к стих. «Петербург» («Мне чудится в Рождественское утро...»). *Делия* — условное имя, распространенное во франц. любовной лирике XVII — нач. XIX в., восходящее к имени героини элегий римского поэта Тибулла (1 в. до н. э.). У Пушкина есть два стих. «Делия» и «К Делии». *Чертков В. Г.* (1854 — 1936) — друг Л. Н. Толстого, издатель его произведений.

Стансы о коне. «Руль», 2 февраля 1929.

«Для странствия ночного мне не надо...» «Руль», 11 августа 1929.

Воздушный остров. «Руль», 8 сентября 1929.

Неродившемуся читателю. «Руль», 7 февраля 1930. В сборнике 1979 г. опубл. под назв. «Будущему читателю».

Первая любовь. «Россия и Славянство», 19 апреля 1930.

Ульдаборг. «Руль», 4 мая 1930. *Зоорландия* — страна, придуманная героями романа В. Набокова «Подвиг» (1932) Мартыном Эдельвейсом и Соней Зилановой. «Они изучали зоорландский быт и законы, страна была скалистая, ветренная, и ветер признан был благою силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И, конечно, искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригласить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно».

Представление. «Россия и Славянство», 25 октября 1930.

Пробуждение. «Современные записки», 1931, № 47.

Помплимусу. «Современные записки», 1931, № 47. *Помплимус* (*помпельмус*) — грейпфрут. *Амброзия* — в греч. мифологии пища богов. *Сиракузы* — итальянская провинция в юго-восточной части о-ва Сицилия; известна торговлей лимонами, апельсинами и пр. *Миньона* — героиня романа И.-В. Гете «Вильгельм Мейстер» (1795), поющая песню:

*Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,  
где пурпур королька прильнул к листу...*

(Перевод Б. Пастернака)

Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие»: «Руль», 5 июля 1931. *Вивиан Калмбруд* (Vivian Calmbrood) — один из псевдонимов В. Набокова, английская анаграмма его имени и фамилии. *Вордсворт Уильям* (1770 — 1850) — английский поэт-романтик, представитель «озерной школы» — на это намекает строчка «его стихам вредит вода». *Ювенал* (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик. *Как за крапленую статью побили Джонсона шандалом*. *Джонсон* (перевод на англ. язык русской фамилии Иванов) — имеется в виду русский поэт Георгий Иванов (1894 — 1958), напечатавший в парижском журнале «Числа», 1930, № 1, «крапленую» статью о В. Сирине (см. предисловие). *Шандал* — подсвечник, в прежние времена обычное средство выяснения отношений при игре в карты, когда «игра стоила свеч». *К иному критику в немилость...* — имеется в виду Георгий Адамович (1894 — 1972), русский критик и поэт. *Петроний* (? — 66) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», рисующего яркую картину распущенности римских нравов. *Петроний новый*. — Имеется в виду Георгий Иванов (см. выше), роман которого «Третий Рим» печатался в «Современных записках», 1929, № 39, 40 (1-я часть) и в «Числах» 1931, № 2, 3 (2-я, неоконченная, часть).

*Ченстон* — вымышленный английский автор, которому Пушкин приписал своего «Скупого рыцаря».

«Сам треугольный, двукрылый, безногий...» «Последние новости», 8 августа 1932. *Ижица* — последняя буква дореволюционного русского алфавита, исключена орфографической реформой 1917 — 1918.

Русалка. (Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»). «Новый журнал», 1942, № 2.

«Минуты есть: «Не может быть», бормочешь...» «Воздушные Пути», Нью-Йорк, 1961, № 2.

Семь стихотворений. «Новый журнал», 1956, № 46. *Шенье Мари-Андре* (1762 — 1794) — франц. поэт, казненный якобинцами.

## СТИХИ ИЗ РАССКАЗОВ И РОМАНОВ

В «Стихах из рассказов и романов» повторены состав и композиция соответствующего раздела сборника «Стихи», «Ардис», 1979.

Стихи из романа «Дар». *Ванессы* — старое название бабочек из семейства нимфалид (см. примеч. к стих. «Бабочка», сб. «Гор-

ний путь»). *Пяденицы* — семейство сумеречных и ночных бабочек; гусеницы ползают, как бы измеряя путь пядями (отсюда название). *Киот* — ящик, куда ставятся иконы. *Так плохо сделана луна...* — аллюзия на строки из повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835): «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается». «*О нет, мне жизнь не надоела...*» Первая строфа этого стих. — из стих. Пушкина «О нет, мне жизнь не надоела...» (дат. 1830 — 1836), с измененной Набоковым 2-й строкой. *Монументальное исследование Андрея Белого о ритмах* — имеется в виду книга русского поэта и стиховеда Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев: 1880 — 1934) «Символизм» (1910).

*Автор «Москвы»* — А. Белый, написавший роман «Москва» (1925). *Ты — полу-Мнемозина, полумерцанье в имени твоём* — стих. обращено к героине романа Зине Мерц. *Мнемозина* — в греч. мифологии мать муз, богиня памяти. «*Святое семейство, или Критика критической критики*» (1844) — сочинение К. Маркса и Ф. Энгельса.

Университетская поэма. «Современные записки», 1927, № 33. *Викарий* — помощник священника в протестантской церкви. *Генрих Восьмой* (1491 — 1547) — англ. король с 1509. *Гольбайн* (*Гольбейн, Хольбейн*) *Ханс Младший* (1497 или 1498 — 1543) — нем. живописец и график. *Геллеспонт* — древнегреч. название Дарданелл. *Каллиопа* — в греч. мифологии муза эпической поэзии. *С фиалкой не было в ней сходства* — фиалка по-английски «violet». *Инфлуэнция, инфлюэнца* — грипп. *Дымок Виргинии* — сорт табака. *Виктория* (1819 — 1901) — английская королева с 1837. *Пианола* — механическое фортепиано. *Альма Матер* (лат. «кормящая мать») — традиционное образное название учебных заведений (чаще высших) по отношению к их питомцам. *Ленглен Сюзанна* (1899 — 1938) — знаменитая теннисистка. *Портрет известного аббатства* — изображение Вестминстерского аббатства на английских банкнотах. *Ни моль бичуема, ни ржа...* — перифраз евангельского: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют...» (Евангелие от Матфея, гл. 6, 19 — 20).

Смерть. «Руль», 20 и 24 мая 1923. *Плиний Старший* (23 — 79) — знаменитый римский естествоиспытатель. *Красавец хромой, ведя*

*ручного медвежонка московского* — Байрон Д. Г. «Systema naturae» — сочинение Карла Линнея (1707 — 1778), шведского естествоиспытателя.

## ПЕРЕВОДЫ

### С АНГЛИЙСКОГО

#### ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Вильям Шекспир (1564 — 1616) — английский поэт.

Сонет 17 и Сонет 27. «Руль», 18 сентября 1927.

Два отрывка из «Гамлета». «Руль», 19 октября 1930.

Монолог Гамлета. «Руль», 23 ноября 1930.

### С ФРАНЦУЗСКОГО

#### ПЬЕР РОНСАР

Пьер де Ронсар (1524 — 1585) — французский поэт.

Сонет («Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам...»). «Руль», 13 августа 1922. Сонет — из второй книги «Сонетов к Елене» (1578).

#### АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

Альфред де Мюссе (1810 — 1857) — французский поэт-романтик.

Майская ночь. «Руль», 20 ноября 1927. *Аргос*, *Птелеон* и *Месса* — города в Пелопоннесе, Южной Греции. *Пелион* — гора в Средней Греции (Фессалия), ныне гора Плессиди; упоминается в ряде мифов. *Камира* — город неподалеку от острова Родос. Все названные выше имена заимствованы Мюссе из второй песни «Илиады». *Тарквиний Секст* — сын Тарквиния Гордого (534 — 510 до н. э.), последнего царя Древнего Рима. *Корсиканец* — император Франции Наполеон Бонапарт; в 1815 г. был разбит Англией и Пруссией в битве при Ватерлоо.

Декабрьская ночь. «Руль», 7 октября 1928. *Миртовый венок*. Мирт — цветок, почитаемый в античности, посвящался Венере; миртовый венок возлагался на чело победителей. *Шале* — загородный дом, дача.

## ШАРЛЬ БОДЛЕР

Шарль Бодлер (1821 — 1867) — французский поэт.

Альбатрос. «Руль», 3 сентября 1924. Историю русских переводов «Альбатроса» см.: Е. Витковский. Очень крупная дичь, или Реквием по одной птице. Литературная учеба, 1987, № 5.

## АРТЮР РЕМБО

Артюр Рембо (1854 — 1891) — французский поэт.

Пьяный корабль. «Руль», 16 декабря 1928.

## С НЕМЕЦКОГО

### И.-В. ГЕТЕ

Иоганн Вольфганг Гете (1749 — 1832) — немецкий писатель.

Посвящение к «Фаусту». Последние новости, 15 декабря 1932.

## СОДЕРЖАНИЕ

О жизни и литературной судьбе  
Владимира Набокова 5

### ГОРНИЙ ПУТЬ

Поэту 18

«Живи. Не жалуйся, не числи...» 19

«Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!...» 20

«Когда с небес на этот берег дикий...» 22

Элегия 23

Два корабля 24

«Цветет миндаль на перекрестке...» 25

«О ночь, я твой! Все злое позабыто...» 26

«Ты войдешь и молча сядешь...» 27

«Вот дачный сад, где счастливы мы были...» 28

Береза в Воронцовском парке 29

Орешник и береза 30

После грозы («Все реже, реже влажный звон...») 31

«Как пахнет липой и сиренью...» 32

Лестница 33

«Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь...» 34

Озеро 35

«О чем я думаю? О падающих звездах...» 36

«И видел я: стемнели неба своды...» 37

Солнце бессонных (из Байрона) 38

Лунная ночь 39

Большая Медведица 40

«Вдали от берега, в мерцании морском...» 41

Поэт («Среди обугленных развалин...») 42

Журáвли 43

«За полночь потушив огонь мой запоздалый...» 44

«Разгорается вьсь...» 45

«В хрустальный шар заключены мы были...» 46

«Если вьется мой стих, и летит, и трепещет...» 47

Осенняя пляска 48

Башмачок 49

Сторожевые кипарисы 50

- «Ты многого, слишком ты многого хочешь!..» 51  
 «Феина дочь утонула в росинке...» 52  
 «Ты на небе облачко нежное...» 53  
 На качелях 54  
 Новый год 55
- Ю.Р. («Как ты, я с отроческих дней...») 56  
 Утро 57  
 «На ярком облаке покоясь...» 58  
 Скиф 59  
 «Я был в стране Воспоминанья...» 60  
 «О, встречи дивное волнение!..» 61  
 Пчела 62  
 Петр в Голландии 63
- Россия («Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей...») 64  
 «Эту жизнь я люблю испуганной любовью...» 65  
 Кипарисы 66  
 «Еще безмолвствую и крепну я в тиши...» 67  
 Стамбул 68  
 «По саду бродишь и думаешь ты...» 69  
 «Что нужно сердцу моему...» 70  
 Вербa 71
- Русалка («Пахнуло с восходом огромной луны...») 72  
 «Разбились облака. Алмазы дождевые...» 73  
 «Мне так просто и радостно снилось...» 74  
 Памяти друга 75  
 «Простая песня, грусть простая...» 76  
 Вьюга 77  
 «Катится небо, дыша и блистая...» 78
- Осень («И снова, как в милые годы...») 79  
 М.В. («Часы на башне распевали...») 80  
 «Звон, и радугой росистой...» 82  
 «Будь со мной прозрачнее и проще...» 83  
 Зима («Только елочки упрямы...») 84  
 «Мой друг, я искренно жалею...» 85
- Весна («Взволнован мир весенним дуновеньем...») 86  
 «Маркиза маленькая знает...» 87  
 Смерть («Выйдут ангелы навстречу...») 88

#### КАПЛИ КРАСОК

1. Всепрощающий 89
2. Joie de vivre 89
3. Крымский полдень 89

4. Былинка 90
  5. Художник 90
  6. Яблони 91
  7. Речная лилия 91
  8. В лесу 91
  9. Вдохновенье 92
  10. La morte de Arthur 92
  11. Decadence 93
  12. Крестоносцы 93
  13. Кимоно 93
  14. Meretrix 94
  15. Достоевский 94
  16. Аэроплан 95
  17. Наполеон в изгнании 95
  - Детство 96
- АНГЕЛЫ («О лучезарных запою...») 101
1. Серафимы 101
  2. Херувимы 102
  3. Престолы 103
  4. Господства 104
  5. Силы 104
  6. Власти 105
  7. Начала 106
  8. Архангелы 106
  9. Ангел Хранитель 107
- Крым («Назло неистовым тревогам...») 109
- Сон на Акрополе 113
- Странствия 115
- «Над землю стоит голубеющий пар...» 116
- Football 117
- «Безвозвратная, вечно-родная...» 118
- Движенье («Искусственное тел передвиженье...») 119
- Телеграфные столбы 120
- Каштаны 121
- «Люблю в струящейся дремоте...» 122
- «Твоих одежд воздушных я коснулся...» 123
- Романс 124
- Ласточки 125
- Тайная Вечеря 126
- Е.Л. («Она давно ушла, она давно забыла...») 127
- М.Ш. («Я видел, ты витала меж алмазных...») 128

- «Кто меня повезет...» 129  
 Павлины 130  
 В раю («Здравствуй, смерти! — и спутник крылатый...») 131  
 «Мерцательные тикают пружинки...» 132  
 Лес 133  
 Возвращение 135  
 Поэт («Он знал: отрада и тревога...») 136  
 Осень («Вот листопад. Бесплотным перезвоном...») 137  
 Подражание древним 138  
 Lawn-tennis 139  
 Бабочка 140  
 Велосипедист 141  
 «Вдохновение — это сладострастье...» 142  
 «Обезьяну в сарафане...» 143  
 «Карлик безрукий во фраке...» 144  
 Итальянке 145  
 На Голгофе 146  
 «Блаженство мое, облака и блестящие воды...» 147  
 «Я без слез не могу...» 148  
 Домой («На мызу, милые! Ямщик...») 149  
 Березы 150  
 Поэты («Что ж! В годы грохота и смрада...») 151  
 Biology 152  
 В.Ш. («Если ветер судьбы, ради шутки...») 153  
 Художник-нищий 154  
 Облака 155  
 Пир 156  
 Белый рай 157  
 Кони 158  
 Зеркало 159  
 Ночь («Как только лунные протянутся лучи...») 160  
 La Belle Dame Sans Merci (Из John Keats) 161  
 Пьяный рыцарь 163  
 «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» 164  
 Перо 165  
 «Мы столпились в туманной церковенке...» 167  
 «Людам ты скажешь: настало!..» 168  
 Русь («Пока в тумане странных дней...») 169  
 Жизнь 170

## ГРОЗДЬ

### 1. ГРОЗДЬ

- «Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!..» 172  
    «Придавлен душною дремотой...» 173  
    «Есть в одиночестве свобода...» 174  
    «Из блеска в тень и в блеск из тени...» 175  
    «Я на море гляжу из мраморного храма...» 176  
«Туман ночного сна, налет истомы пыльной...» 177  
    «На черный бархат лист кленовый...» 178  
    «Нас мало — юных, окрыленных...» 179  
    «Садом шел Христос с учениками...» 180  
        На смерть А. Блока 181  
    I. «За туманами плыли туманы...» 181  
    II. «Пушкин — радуга по всей земле...» 181  
    «Как воды гор, твой голос горд и чист...» 183

### II. ТЫ

- «Когда, туманные, мы свиделись впервые...» 184  
    «Мечтал я о тебе так часто, так давно...» 185  
Сонет («Весенний лес мне чудится... Постой!...») 186  
    «Позволь мечтать. Ты первое страданье...» 187  
    «Ее душа, как свет необычайный...» 188  
    «Когда захочешь, я уйду...» 189  
    «О, светлый голос, чуть печальный...» 190  
    «Все окна открыв, опустив занавески...» 191  
«В полнолуние, в гостинной пыльной и пышной...» 192  
    «О, любовь, ты светла и крылата...» 193  
        Глаза 194  
    «Пускай все горестней и глуше...» 195

### III. УШЕДШЕЕ

- Пасха («Я вижу облако сияющее, крышу...») 196  
    «Молчи, не вспенивай души...» 197  
        Тристан 198  
«Ты видишь перстень мой? За звезды, за камня...» 200  
    «Я помню только дух сосновый...» 201  
        Рождество 202  
        На сельском кладбище 203  
        Viola tricolor 204  
        В зверинце 205  
        Ночные бабочки 206

#### IV. ДВИЖЕНИЕ

В поезде 209

Экспресс 210

«Как часто, как часто я в поезде скором...» 212

#### ИЗ КНИГИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА» (1924 — 1928)

От счастья влюбленному не спится 214

Тихий шум 215

Кирпичи 216

Почтовый ящик («Когда весеннее мечтанье...») 218

Прелестная пора 219

Снимок 220

Аэроплан 221

Крушение 222

Святки («Под окнами полозья...») 224

Расстрел («Бывают ночи: только лягу...») 226

Гость 227

La Bonne Loggaine 228

Годовщина 229

Сирень 230

Паломник 231

Сновиденье 233

Прохожий с елкой 235

Тень 236

Солнце («Слоняюсь переулками без цели...») 238

Сны 239

Комната 240

Мать 242

Весна («Помчал на дачу паровоз...») 243

В раю («Моя душа, за смертью дальней...») 244

#### ИЗ КНИГИ «POEMS AND PROBLEMS»

Дождь пролетел 246

К свободе 247

Номер в гостинице 248

Герб 249

«Люблю я гору в шубе черной...» 250

Лилит	251
К музе	253
Снег	254
Формула	255
Неоконченный черновик	256
Вечер на пустыре	257
Безумец	259
Как я люблю тебя	260
L'inconnue de la Seine	262
На закате	264
Мы с тобою так верили	265
Что за ночь с памятью случилось	266
Поэты («Из комнаты в сени свеча переходит...»)	267
К России («Отвяжись, я тебя умоляю!..»)	269
Око	270
Слава	271
Парижская поэма	275
Каким бы полотном	279
О правителях	280
К кн. С. М. Качурину	282
Был день как день	285
Неправильные ямбы	286
Какое сделал я дурное дело	287
С серого севера	288

#### СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Акрополь	290
Панихида	291
У камина	292
Тихая осень	293
«Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...»	294
Родина («Как весною мой север призывен!..»)	295
Моя весна («Все загудело, все блеснуло...»)	296
Беженцы	297
Знаешь веру мою?	298
Петербург («Так вот он, прежний чародей...»)	299
Храм	304
Осенние листья	305
Ночь («Уж догорел лучистый край...»)	306
Поэт («Являюсь в черный день родной моей земли...»)	307

- России («Не предаюсь пустому гневу») 308  
     Суфлер 309  
 Петербург («Он на трясине был построен...») 310  
     Весна («Ты снишься миру снова, снова...») 311  
 Россия («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...») 313  
     Грибы 315  
     Снежная ночь 316  
     Невеста рыцаря 317  
     Пегас 318  
     Волчонок 319  
     Жук 320  
     Легенда о старухе, искавшей плотника 321  
 Петербург («Мне чудится в Рождественское утро...») 323  
     Жемчуг 326  
 Сон («Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...») 327  
     Через века 328  
     «Я где-то за городом, в поле...» 330  
     Узор 331  
     «Ты все глядишь из тучи темно-сизой...» 332  
     «И утро будет: песни, песни...» 333  
     Размеры 334  
 Гексаметры («Чудо», «Очки Иосифа», «Сердце», «Памяти Гуми-  
     лева») 335  
 Гексаметры («Смерть — это утренний луч...») 336  
     Родине 337  
     Властелин 338  
     Река 339  
     «Когда я по лестнице алмазной...» 343  
     «О, как ты врешь в путь крылатый...» 344  
     Барс 345  
     Гроза 346  
     «Живи, звучи, не поминай о чуде...» 347  
     Прованс 348  
 Родина («Когда из родины звенит нам...») 349  
     Олень 350  
     «И в Божий рай пришедшие с земли...» 351  
     «Из мира уползли — и ноют на луне...» 352  
     Встреча 353  
     Песня 355  
 Видение («В снегах полуночной пустыни...») 357  
     Скитальцы 358  
     Кубы 359

- Окно 360
- Стихи («Блуждая по запущенному саду...») 361
- Стансы 362
- Автомобиль в горах 363
- Подруга боксера 364
- Санкт-Петербург («Ко мне, туманная Леила!..») 366
- Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...») 367
- Об ангелах 368
- Молитва 370
- Исход 371
- Костер 373
- Три шахматных сонета 374
- Страна стихов 376
- Овца 377
- К Родине («Ночь дана, чтоб думать и курить...») 378
- Великан 379
- Шекспир 380
- Конькобежец 382
- Берлинская весна («Нищетою необычной...») 383
- Изгнание 384
- Сон («Однажды ночью подоконник...») 385
- Воскресение мертвых 386
- Рай («Любимы ангелами всеми...») 387
- Путь 388
- Лыжный прыжок 389
- Ut pictura poesis 390
- «Пустяк — название мачты, план — и следом...» 391
- Родина («Бессмертное счастье наше...») 392
- Билет 393
- Шахматный конь 394
- Кинематограф 396
- Острова 398
- Разговор 399
- Оса 403
- К России («Мою ладонь географ строгий...») 404
- Толстой 405
- Стансы о коне 408
- «Для странствия ночного мне не надо...» 409
- Воздушный остров 410
- Неродившемуся читателю 412
- Первая любовь 413
- Ульдаборг 414

- Представление 416  
Пробуждение 417  
Помплимусу 418  
Из калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие» 419  
«Сам треугольный, двукрылый, безногий...» 423  
Русалка. (ЗаклЮчительная сцена к пушкинской «Русалке») 424  
«Минуты есть: «Не может быть,— бормочешь...» 428

#### СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- 1 «Как над стихами силы средней...» 429
2. «Целиком в мастерскую высокую...» 429
3. «Все, от чего оно сжимается...» 430
4. «Вечер дымчат и долог...» 430
5. «Какое б счастье или горе...» 431
6. «Есть сон. Он повторяется, как томный...» 431
7. «Зимы ли серые смыли...» 432

#### СТИХИ ИЗ РАССКАЗОВ И РОМАНОВ

- «Когда, слезами обливаясь...» 434  
«Распростясь с пустой тревогой...» 434  
«Хорошо-с,— а помните, граждане...» 434

#### СТИХИ ИЗ РОМАНА «ДАР»

- Из сборника Федора Годунова-Чердынцева 435  
«Благодарю тебя, отчизна...» 442  
«Во тьме в незамерзающую воду...» 443  
«Здесь все так плоско, так непрочное...» 443  
Ласточка 443  
«О нет, мне жизнь не надоела...» 443  
«...монументальное исследование Андрея Белого  
о ритмах...» 444  
«В полдень послышался клюнувший ключ и характерно...» 444  
«Люби лишь то, что редкостно и мнимо...» 444  
«Виноград созрел, изваянья в аллеях синели...» 446  
«Из темноты, для глаз всегда неожиданно...» 446  
«..... ума большого не надобно...» 446  
«Что скажет о тебе далекий правнук твой...» 447  
«Прощай же, книга! Для видений...» 447  
Влюбленность 448

- УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА 449  
СМЕРТЬ (драма в двух действиях) 477

## ПЕРЕВОДЫ

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Сонет 17 498

Сонет 27 498

Два отрывка из «Гамлета» 499

Монолог Гамлета 502

ПЬЕР РОНСАР

Сонет 504

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

Майская ночь 505

Декабрьская ночь 510

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Альбатрос 517

АРТЮР РЕМБО

Пьяный корабль 518

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

Посвящение к «Фаусту» 522

Примечания 539

**Набоков В. В.**

**Н14** Стихотворения и поэмы /Сост., вступ. ст.,  
подгот. текстов и примеч. В. С. Федорова.— М.:  
Современник, 1991.— 574 с.— (Феникс. Из  
поэтического наследия XX века).

**ISBN 5-270-00565-4**

Книга стихотворений и поэм В. В. Набокова (1899—1977) — наиболее полное собрание его поэтических произведений из всех, выходявших не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее составили книги стихов «Горный путь», «Гроздь», стихотворения из сборников «Возвращение Чорба», «Poems and Problems», а также произведения, публиковавшиеся лишь в эмигрантской периодике.

**Н** 4702010000-107 20-91  
**М106(03)-91**

**ББК 84Р7**

Литературно-художественное издание

**Набоков Владимир Владимирович**

**СТИХОТВОРЕНИЯ  
И ПОЭМЫ**

Редактор

**Б. Н. Романов**

Художники

**А. Т. Троянker, Г. М. Грозная**

Художественный редактор

**Е. В. Андреева**

Технический редактор

**Н. В. Ганина**

Корректоры

**Т. Г. Люборец, М. Г. Курносенкова**

ИБ № 6135

Сдано в набор 15.05.90. Подписано к печати 13.05.91. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага офсет. № 2. Усл. краск.-отт. 53,47. Усл. печ. л. 28,08. Уч.-изд. л. 19,44. Тираж 100 000 экз. Заказ 226. Цена 6 р. 30 к.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР  
и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР  
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

6 р. 30 к.